

СТРАННИК

ЛИТЕРАТУРА

выпуск

первый 1991

ИСКУССТВО
ПОЛИТИКА



СТО ДЕСЯТЬ ЛЕТ назад Федор Михайлович Достоевский поразил публику пылким описанием русского скитальца, которому «необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться; дешевле он не примирится». Этот тип, увлеченный и воспетый Пушкиным, зародился, по словам Достоевского, «как раз в начале второго столетия после великой петровской реформы», в среде оторванной от народа российской интеллигенции, и с его «фантастическим геланием» писатель связывал виды на будущее не только России, но и всего мира, ибо «довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать чрез них покоя».

Русская литература много десятилетий искала в фигурах странников исхода и утешения. Герой, бежавший от общества, неожиданным образом оказывался большой совестью этого самого общества. Презревший свои государственные, военные, помещичьи обязанности — истинным гражданином. У Достоевского в романе «Подросток» кульминацией трагических скитаний загадочного и обаятельного Версилова, жаждающего веры, становится расколотый им об угол печки образок. Странник — человек, позволивший себе в условиях России некоторую свободу, мыслящий, чувствующий и страдающий. Часто непоследовательный в своих исканиях, всегда «лишний», он, однако, чудесным образом превращает от века безобразную, бездушную российскую действительность в нечто более или менее человеческое. Убегая от ущербного мира, он возвращается в него всечеловеком. У него гостает воображения воспринимать разлитую повсюду боль. Странник — это именно интеллигент в традиционном русском понимании, человек, вечно терзаемый неполнотой и недостаточностью жизни...

Он же и бродяга.

«Кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства», — обронил однажды Пушкин, разделивший странническую судьбу своих героев и не избежавший, по свидетельству Достоевского, затаенного, глубоко внутреннего неуважения к себе.

СРЕДИ НЫНЕШНИХ НЕСМЕТНЫХ полчищ изнуренных и отчаявшихся кочевников с трудом различаются странствующие по велению своего духа, однако их куда больше, чем это может казаться, — не коммунистов и не монархистов, не православных и не воинствующих безбожников, равно обходящих стороной «прогрессивные» и «консервативные» собрания, до абсурда упорных в жизни — наперекор всему, — стыдящихся присоединить свой голос к слову, уже сказанному другим, сколь бы ни казалось оно справедливым, стыдящихся и самим договаривать до конца, до точки, до «мысли изреченной». Ложь и пошлость в любом обличье — вот что их страшит. За это их гнали и продолжают гнать, но более того они гонят сами себя. Их никогда не полюбит ни одна власть, сколько бы ни учиняли в России новых революций и переворотов, ибо функционирование даже самой «демократической» власти неразрывно связано с обманом и пошлостью. В этой изначально отверженности странников — надежда на спасение такой хрупкой, противоречивой, самоубийственной вещи, как русская культура. Перефразируя классика, можно сказать: откуда бы мы взяли тот жар и ту страсть, с которыми постоянно ратуем за просвещение, если бы сами не испытали всю горечь невежества? откуда бы эти нескончаемые вопросы, обращенные к небесам, если б на земле из нас не выгравливали всякое представление о человеческой правде? откуда бы такая тоска по дому, разумно налаженной жизни, по ясным мыслям и душевному покою, если бы не холод и голод, не плач да скрежет зубов?

Читатель найдет в этом издании длинную повесть о русском странствии, написанную самими странниками. И если он тоже странник в этом мире, его, верно, не смутят ни иностранные имена, которые будут иногда встречаться на страницах, ни зарубежные адреса, ни даже мысли, родины которых не была Россия.

Главный редактор
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

Редакционная коллегия:
ГАЛИНА БЕЛАЯ
АНДРЕЙ БИТОВ
АЛЕКСАНДР ДОБРОХОТОВ
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ
ВЛАДИМИР КАНТОР
СЕРГЕЙ ЛАРИН
ИНАР МОЧАЛОВ
ВЛАДИСЛАВ СЕМЕРНИН
АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ
ЛЕВ ТИМОФЕЕВ
ДАВИД ФЕЛЬДМАН
ГРИГОРИЙ ХАНИН
ВИКТОРИЯ ЧАЛИКОВА
ПЕТР ЧЕРКАСОВ
БОРИС ЧЕРНЫХ
МАРИЭТТА ЧУДАКОВА
ГЕОРГИЙ ЮДИН

Ответственный секретарь
ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ

Главный художник
ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ

Тираж 50000. Цена 4 руб.

ЦИТП. Заказ № 2398.

© Странник

На первой странице обложки
фрагмент гравюры Гравело (1767)

СТРАННИК

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ 1991
ЛИТЕРАТУРА ИСКУССТВО
ПОЛИТИКА

Издание творческого объединения «Странник»



Прямое слово

Софья Каллистратова. В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ. Замечания к проекту Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Вступительная статья Бориса Золотухина. 3

Встреча с поэтом

Ольга Ильина. «ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ...» Подготовка текста, вступительная заметка Людмилы Бусуек. 9

Диковинный мир

Евгений Замятин. АВТОБИОГРАФИЯ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА. Публикация, вступительная заметка, комментарий и послесловие Александра Галушкина. 11

Ярмарка

Николай Мантров. СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА. 31
Георгий Юдин. ПОЛНОЛУНИЕ.
Виктор Ерофеев. БЕССОННИЦА.

Разговор в пути

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОЗДУХ НАД РОССИЕЙ. С поэтом Иосифом Бродским беседует Анни Эпельбуан. 35

Томление духа

Александр Александров. БЛАЖЕННЫ СВОБОДНЫЕ. Вступительная заметка Арсения Тарковского. 43

Проклятые вопросы

Лев Шестов. ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ? Подготовка текста, вступительная часть Александра Казакова. 47

На пепелище

Лариса Лисюткина. УГЛОВАЯ ВЕДЬМА. 60

Следы минувшего

Письма Н.И. Толстого из армии. 1812—1813. Публикация, вступительная статья и примечание Натальи Азаровой. 67

Маргиналии

Виктория Чаликова. ВЕЛИКИЙ ЕРЕТИК. О книге публицистики А.Д. Сахарова. 75

ПАМЯТИ ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА

Письмо из-за границы
Александр Янов (Нью-Йорк). ФИЛОСОФИЯ ПОБЕЖДЕННЫХ. 78

Забавы мудрецов

В ГОСТЯХ У ОБЭРИУТОВ 80

Из книг «Странника»

Донасьен Альфонс Франсуа маркиз де Сад. ЖЮСТИНА, ИЛИ НЕСЧАСТЬЕ ДОБРОДЕТЕЛИ. Отрывок 92



С. В. Каллистратова

Фото Владислава Киршина

В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

Софья
КАЛЛИСТРАТОВА

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ ОСНОВ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК*

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

А.С. ПУШКИН

... история и такая наука, как статистика, с исчерпывающей убедительностью доказывают, что со времени Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни утратить наказанием.

К. МАРКС.

Уголовное законодательство нашей страны, сложившееся в основном в тяжелые годы сталинского террора, нуждается в коренной переработке. При этом необходимо иметь в виду, что гуманизация уголовного закона не только не противоречит задачам борьбы с преступностью, но и способствует оздоровлению нравственной атмосферы общества.

Проект Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, опубликованный в «Известиях» от 16 декабря 1988 года для всенародного обсуждения, является шагом вперед по сравнению с действующими Основами 1958 года. Однако я считаю, что он требует доработки.

Статья 3. Принципы уголовного законодательства
(2) Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

На протяжении десятилетий в советской уголовной практике сначала отрицался, а в последние годы де-юре признался, но фактически игнорировался принцип презумпции невиновности. Для решительного упрочения этого принципа в законе и судебной практике надо усилить часть второй статьи 3 прямым упоминанием термина «презумпция невиновности», изложив ее в следующей редакции:

«Одним из основополагающих принципов уголовного законодательства является принцип пре-

зумпции невиновности. Человек, обвиняемый в совершении преступления, полагается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом об исполнении приговора».

Статья 19. Недонесение

(1) Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении влечет уголовную ответственность лишь при совершении особо тяжкого преступления в случаях, предусмотренных уголовным законом.

(2) Не подлежат уголовной ответственности за недонесение супруг, а также близкие родственники лица, совершившего преступление.

Примечание. Близкими родственниками... признаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабушка и внуки.

Статью о недонесении надо вообще исключить. Недонесение может быть признано преступлением только при наличии элементов укрывательства. Исключить эту статью необходимо потому, что нельзя вменить донос под страхом уголовной ответственности в обязанность и долг гражданину. Тем более что **достоверность** зна-

* С В. Каллистратовой относились к рукописи «Замечаний» как к черновым наброскам, не возражала против редактирования и до последних своих дней сама надеялась подготовить ее к печати. Не вторгаясь в текст комментариев, мы сочли возможным сократить его за счет статей, имеющих более частный характер, разговор о которых вполне понятен лишь специалистам-правоведам. Единственное, чем руководствовалась редакция, — как можно полнее и ярче представить читателю гуманистический пафос правозащитной деятельности Софьи Васильевны. Считаем, что полный текст «Замечаний» должен быть опубликован в массовом издании юридического профиля, готовы способствовать публикации. — Ред.

прямое



СЛОВО

ния о готовившемся или совершенном преступлении — понятие, не поддающееся объективной проверке.

Неопределенность понятий «достоверности» и «заведомости» при наличии в законе ответственности и за доношительство, и за ложный донос неизбежно ставит гражданина в положение рискующего ошибкой в выборе решения — доносить или не доносить.

Освобождение от ответственности за доношительство близких родственников не облегчает указанного выше выбора, тем более что не относится, например, к жениху и невесте, к друзьям, которые могут быть ближе и дороже, чем братья и сестры.

Ответственность за доношительство в советское законодательство введена только в 40-е годы одновременно с резким ужесточением наказаний (увеличением срока лишения свободы до 25 лет).

Статья 28. Наказание и его цели

(1) Наказание есть мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и интересов осужденного.

(2) Наказание применяется в целях исправления и перевоспитания осужденных в духе точного исполнения законов, честного отношения к труду, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами.

Споры о целях уголовного наказания идут из глубины веков. Сейчас в науке капиталистических стран понятие наказания как возмездия, отмщения, кары почти не имеет сторонников, и в законодательстве этих стран целью наказания провозглашается: а) защита общества и государства (общая и специальная превенция) и б) перевоспитание, исправление преступников и приспособление их к жизни в обществе после отбытия наказания.

Только в уголовных законах социалистических стран осталось понятие кары как одной из целей наказания. Между тем в первых законодательных актах нашей страны после Октябрьской революции был ярко выражен отказ от принципов возмездия и кары как целей наказания (Руководящие начала по уголовному праву РСФСР,

1919, первый Уголовный Кодекс РСФСР, 1922).

В принятых в 1924 году Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик даже сам термин «наказание» не употребляется, а заменяется термином «меры социальной защиты». То же мы видим и в Уголовном Кодексе 1926 года.

К термину «наказание» и к принципу кары как цели наказания наше уголовное законодательство вернулось впервые в Постановлении ЦИК Союза ССР от 8 июня 1934 года «Об уголовной ответственности за измену Родине».

Кара как одна из целей наказания устанавливается и в Законе о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик (1938), и в действующих ныне Основах уголовного законодательства (1958): «Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью...» (статья 20 действующих Основ).

Вопрос о том, что возврат к терминам «наказание» и «кара» был связан с переходом к массовым репрессиям и что именно в 30-е и 40-е годы был издан ряд законодательных актов, увеличивающих сроки наказания и ужесточающих условия отбывания наказания, заслуживает отдельного исследования. Здесь считаю возможным отметить лишь два момента:

а) очень хорошо, что указание на кару как на одну из целей наказания исключено из обсуждаемого проекта Основ, и надо всячески добиваться, чтобы слово «кара» не восстанавливалось в законе. Говорю об этом потому, что за восстановление термина «кара», наверное, раздастся немало голосов сторонников ужесточения уголовного законодательства, противников его гуманизации;

б) кое-кто считает, что от термина «наказание» надо возвратиться к термину «меры социальной защиты». Мне кажется, делать этого не нужно. Слово «наказание» емкое, привычное, понятное и для нас традиционное.

К тому же, независимо от термина, понятие «лишение свободы» (как и другие виды уголовного наказания) неизбежно содержит в себе какую-то степень ограничения личных прав и свобод осужденного.

С учетом сказанного предлагаю первую часть статьи 28 сформулировать так:

«Наказание не является возмездием или карой за совершенное преступление, а есть мера принуждения, применяемая от имени государства

Долгие годы в нашей стране власти насаждали пренебрежительное отношение к профессии адвоката. В герои производились чекисты и сотрудники уголовного розыска, «непримиримые борцы» со шпионами, диверсантами, вредителями и спекулянтами, а в 60—80-е годы — и с «идеологическими диверсантами»: немногочисленными смельчаками, отважившимися бросить открытый вызов лжи, лицемерию и насилию тоталитарного режима. На страницах газет и журналов слово «адвокат» можно было чаще всего встретить в пренебрежительных словосочетаниях «непрощенный адвокат» или «адвокат имперализма». Власть готовы были терпеть адвокатуру в уголовных делах, но в политических процессах ей отводилась чисто декоративная роль. Участие адвоката должно было демонстрировать внешнюю правовую благопристойность, служить процессуальной ширмой явного беззакония. В таких условиях кто-то должен был спасти честь адвокатуры, сделать первый, и самый трудный, шаг. Среди немногих, отважившихся на это, была Софья Васильевна Каллистратова.

С. В. Каллистратова вступила в Московскую коллегию адвокатов в 1943 году, будучи уже опытным юристом. Но во всем блеске ее дарование раскрылось

только в адвокатуре. Человек теплой души, просвещенного ума, прирожденный судебный оратор, защитник не только по профессии, но и по призванию, она вскоре стала любимницей коллегии, а затем и непрерываемым авторитетом в вопросах профессиональной чести. Политические процессы 60—70-х годов принесли ей мировую славу.

Все, кому посчастливилось знать С. В. Каллистратову, слышать ее защитительные речи, оказывались во власти безграничного обаяния ее личности. Ее судебные выступления подкупали глубиной мысли, несокрушимой логикой, ярким темпераментом, богатством и выразительностью языка. Но было и еще одно важнейшее качество, выделявшее Софью Васильевну из небольшого круга самых выдающихся защитников, — недостижимая высота нравственной позиции. Именно это качество привело ее в правозащитное движение. Она защищала Виктора Хаустова и Ивана Яхимова, Вадима Делоне и Наталью Горбаневскую, генерала Петра Григоренко. Каждая ее речь в политическом процессе становилась крупным явлением общественной жизни, превращалась в документ самиздата, возрождала в людях почти задушенное правосознание.

С. В. Каллистратова была не только адвокатом, но

по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в предусмотренных законом лишениях или ограничении прав и интересов осужденного».

Вторую часть статьи 28 необходимо изменить, подчеркнув, что охрана общества и прав человека от преступных посягательств является основной целью наказания. Предлагаю следующую формулировку:

«Наказание применяется в целях:

а) защиты общества и прав и свобод граждан от посягательств со стороны преступников, т.е. предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами;

б) исправления и перевоспитания осужденных в духе точного исполнения законов, честного отношения к труду, уважения к правилам человеческого общежития».

(3) Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Статья 49 первого исправительно-трудового Кодекса 1924 года гласила: «Для действительного осуществления исправительно-трудовой политики режим в местах заключения должен быть лишен всяких признаков мучительства, отнюдь не допуская применения физического воздействия: кандалов, наручников, карцера, строго-одиночного заключения, лишения пищи, свиданий заключенных с их посетителями через решетку».

Действующее законодательство из всего этого перечня не применяет разве что кандалов.

Наказание — это принудительное лишение или ограничение прав (свобод) и интересов осужденного. Следовательно, наказание неотделимо от какой-то степени причинения страданий. Здесь изначально заложено некоторое труднопреодолимое внутреннее противоречие с утверждением того, что наказание не ставит целью причинение страданий (физических и моральных).

Выход из этого противоречия один. Четкая формулировка в законе степени лишений и ограничений при применении наказания. Это уже проблема исправительно-трудового, а не уголовного права.

Однако нельзя не учесть того, что некоторые услужливые ученые мужи-правоведы усердно доказывают в курсах исправительно-трудового права и в монографиях, что, хотя наказание и не имеет целью причинение страданий, причинения этих страданий могут (и даже должны) применяться

и единомышленником правозащитников, разделяла их убеждения и надежды. В обстановке судебных фарсов, когда приговоры были предreshены заранее, она не могла оставаться всего лишь законопослушным адвокатом и порою во имя справедливости нарушала правила, навязанные хозяевами этих процессов, противозаконные по самой своей сути, когда, не нарушив драконовских правил, нельзя было раскрыть правду о том, что творилось в стенах следственных кабинетов и за закрытыми дверями судебных залов. Конфликт между противными истинному правосудию правилами и совестью неизменно решался ею в пользу совести.

В 1976 году так называемые компетентные органы лишили С. В. Каллистратову возможности участвовать в политических процессах. К этому времени правозащитная деятельность стала основным содержанием жизни замечательного адвоката. Вынужденная оставить любимое дело, Софья Васильевна стала членом Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Это был открытый и бесстрашный вызов властям. Членов Хельсинкской группы арестовывали одного за другим. В 1981 году сотрудники прокуратуры и КГБ провели несколько обысков у Софьи Васильевны и ее близких. Против нее было возбуждено дело по пресловутой (теперь отмененной)

как средство для достижения цели.

Можно привести множество высказываний ученых по этому поводу. Ограничусь одной цитатой:

«Цели наказания достигаются не только при помощи мер политико-воспитательного и трудового характера, но и путем применения мер принуждения, связанных с определенными лишениями и страданиями... Страдания и лишения применимы лишь в объеме, необходимом для решения задач, поставленных перед наказанием» (Ю.М. Ткачевский. Советское исправительно-трудовое право. Издательство МГУ. 1971. С.23).

Этот «необходимый объем страданий» широко толкуется в исправительно-трудовых Кодексах республик и совсем необъятно широко применяется на практике, основываясь на многочисленных неопубликованных правилах, распоряжениях и инструкциях МВД и на бесконтрольности администрации мест заключения.

Повторяю, подробная разработка этого вопроса относится к области исправительно-трудового законодательства. Но третью часть статьи 28 предлагаю изложить так:

«Причинение осужденным физических и моральных страданий и унижение их человеческого достоинства не только не является целью наказания, но и не может применяться как средство для достижения целей наказания».

Статья 36. Лишение свободы

(1) Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до десяти лет. Лишение свободы на срок более десяти лет, но не свыше пятнадцати лет устанавливается за преступления, за совершение которых в соответствии с частью первой статьи 41 настоящих Основ допускается применение смертной казни за бандитизм, хищение государственного или общественного имущества в особо крупном размере, получение взятки в особо крупном размере, угон или захват воздушного, морского или речного судна, повлекшие гибель одного или более лиц, а также за военные преступления и геноцид.

На протяжении всего периода истории советского уголовного права до 1937 года максимальный срок лишения свободы был 10 лет. Даже в 1932 году, когда за хищение социалистической собственности был введен расстрел, альтернативная санкция — лишение свободы — оставалась на тот же срок, 10 лет.

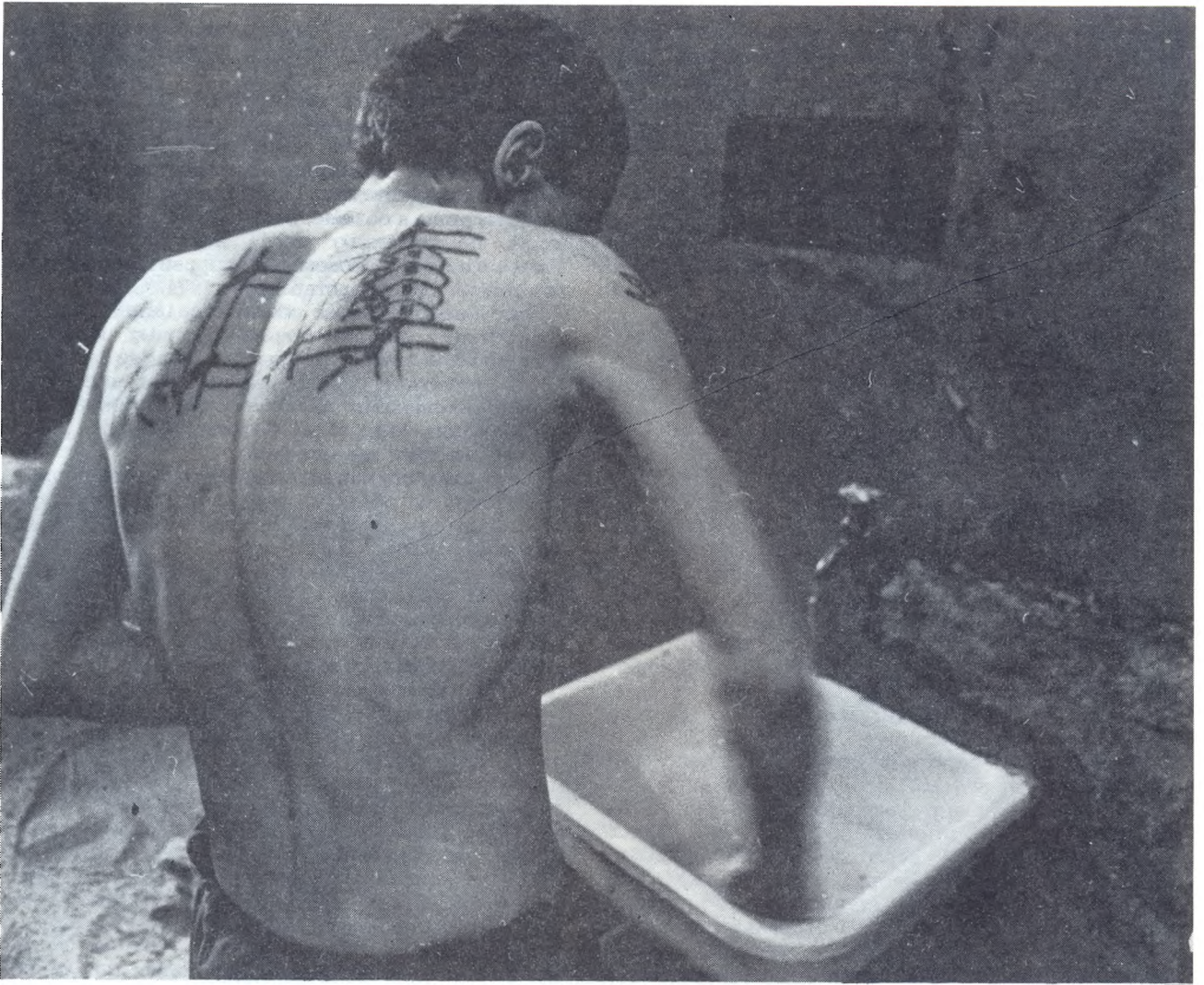
Только в 1937 году постановлением ЦИК СССР

статье 190¹ УК РСФСР, предусматривавшей ответственность за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»...

С. В. Каллистратова скончалась 5 декабря 1989 года. Проводить ее в последний путь пришли сотни людей, среди которых было и немало прежних узников совести, товарищей по профессии, друзей. В прощальном слове А. Д. Сахаров сказал: «У нас большое горе сейчас, мы осиротели... Если попытаться в двух словах определить главное в натуре Софьи Васильевны, то, помоему, это должны быть два слова: справедливость и доброта, стремление по-человечески помочь человеку, помочь ему, может быть, в самый трудный момент его жизни».

...Нам выпало счастье жить и работать рядом с великим адвокатом нашего времени, чье имя останется в одном ряду с такими корифеями отечественной адвокатуры, как Александров и Спасович, Карабчевский и Урусов. Ее имя останется символом честности и бесстрашия. Ее жизнь — свидетельство того, что силам зла, несмотря ни на что, не удалось убить демократические традиции российской адвокатуры.

Борис ЗОЛОТУХИН,
адвокат, народный депутат РСФСР.



(от 2 октября) об ответственности за особо опасные государственные преступления (измена Родине, шпионаж, диверсии и т.п.) был введен срок лишения свободы не свыше 25 лет.

Это был период наибольшего разгула массовых сталинских репрессий. Позже мы увидели этот же предельный срок — 25 лет — в печально знаменитом Указе от 4 июня 1947 года. И общество привыкло и примирилось с этими чудовищными сроками.

И когда в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года предельный срок лишения свободы был снижен до 15 лет, общество приняло это как гуманизацию уголовного закона (а значительное число людей сочло этот акт опасным послаблением).

На самом деле 15 лет лишения свободы — это очень много. Это необоснованный и нецелесообразно долгий срок.

Если человека, совершившего преступление, можно исправить, то для этого и 10 лет много.

Такие длительные сроки лишения свободы не исправляют, а озлобляют и развращают осужденного.

Еще в XVIII веке Чезаре Беккариа писал: «Одно из самых действительных средств, сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности...»

Мы привычно ссылаемся на высказывания В. И. Ленина, который еще в начале нашего века писал (имея в виду мысль Беккариа):

«Давно уже сказано, что предупредительное значение наказания обуславливается вовсе не его жестокостью, а его неотвратимостью».

Ссылаемся — и увеличиваем сроки лишения свободы...

Считаю, что надо вернуться к действовавшему до 1937 года 10-летнему максимальному сроку лишения свободы.

Из статьи 36 следует также исключить все указания на смертную казнь, так как таковая подлежит безусловной отмене.

Статья 41. Исключительное наказание — смертная казнь

(1) В виде исключительного наказания, впредь до его полной отмены, допускается применение смертной казни — расстрела — за государственную измену, шпионаж, террористический акт, диверсию, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование малолетней. Смертная казнь в случаях, специально предусмотренных законодательными актами Союза ССР, может быть установлена и за другие преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке.

(2) Смертная казнь не может быть применена к лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, к женщинам, а также к мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора шестидесятилетнего возраста.

Смертная казнь должна быть безусловно и безоговорочно отменена.

На протяжении столетий лучшие умы челове-



чества отрицали смертную казнь как наказание, противоречащее принципам общечеловеческой морали.

На сегодня (написано в начале 1989 года — *Рег.*) во всей Европе смертная казнь сохранена только в социалистических странах.

Можно предвидеть, что, скажем, на проведении всенародного референдума большинство населения высказалось бы за сохранение смертной казни. Толпе свойственно кричать: «Распни его, распни!» Вот ведь находятся же люди, требующие смертной казни даже для детей. И именно такой настрой нашего общества, вызванный десятилетиями воспитания людей в духе ненависти, вражды и жестокости, настоятельно требует отмены смертной казни как необходимого шага к созданию человеколюбивой, высоконравственной атмосферы.

Еще Виктор Гюго говорил, что смертная казнь страшна не столько для тех, кого казнят, сколько для тех, кто казнит. Возможность приговорить человека от имени государства к убийству (к смертной казни) неизбежно влечет за собой у некоторых людей сознание их собственного права на убийство.

Альбер Камю писал: «Отмена смертной казни была бы равносильна публичному признанию того, что общество и государство не суть абсолюты власти и им не дозволено именем закона вернуть непоправимое».

Вряд ли нужно повторять здесь все доводы против смертной казни, высказанные на протяже-

нии веков, начиная от французских просветителей XVIII века до выдающегося гуманиста наших дней А. Д. Сахарова. Эти доводы достаточно широко известны.

Могу лишь сказать о себе. За десятки лет адвокатской деятельности 15 раз мне приходилось один на один смотреть в глаза людей, приговоренных к смертной казни (в отношении четырех из этих людей приговор был приведен в исполнение). Эти глаза я забыть не могу, и воспоминание о них усиливает мое убеждение в том, что в уголовном праве нет более безнравственного явления, чем смертная казнь.

Ограничения применения смертной казни, содержащиеся в тексте статьи 41 проекта, не устраняют неприемлемости смертной казни в принципе. Да и сами эти ограничения довольно шатки.

Так, например, смертная казнь допускается за государственную измену (статья I Закона от 25 декабря 1958 года, текст которой дословно включен в статью 64 УК РСФСР). Это сформулировано так широко и неопределенно, что под это понятие можно подвести все что угодно (в тексте закона: отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против СССР...).

Смертная казнь допускается за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. А по действующему закону (статья 102 УК РСФСР) отягчающими обстоятельствами, например, являются «хулиганские побуждения». Другими слова-



ми, можно приговорить к смерти за убийство в драке, хотя такое убийство, как правило, не бывает преднамеренным и зачастую субъективно не осознается как убийство лицом, участвующим в драке.

Ограничение применения смертной казни возрастом в части второй статьи 41 вряд ли можно признать достаточным. Как поднялась рука с холодной рассудочностью написать в законе, что смертная казнь может быть применена к мальчикам, которым к моменту совершения преступления исполнилось 18 лет? В 18 лет — еще вся жизнь впереди, впереди возможность не просто исправиться, а и стать другим человеком. В моей практике есть случай, когда 18-летнему юноше, приговоренному к расстрелу, смертная казнь была заменена лишением свободы в порядке помилования. К моменту вынесения приговора он был не очень грамотным человеком. В годы заключения он упорно занимался самообразованием. После отбытия срока окончил медицинский институт, стал прекрасным врачом, спас и продолжает спасать сотни человеческих жизней.

Если из закона не будет безоговорочно исключена смертная казнь, то где гарантия, что в один прекрасный день не появится указ, подобный Указу от 5 мая 1961 года, безмерно расширяющий перечень преступлений, за которые может быть применена смертная казнь?

Статья 61. Освобождение от наказания по болезни

(4) Лицо, после вынесения приговора заболевшее иной (не психической.— Ред.) тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено от наказания или дальнейшего отбывания наказания. При решении этого вопроса суд учитывает тяжесть совершенного преступления, личность осужденного и другие обстоятельства.

В действующих ныне Основах уголовного законодательства 1958 года освобождение в случае тяжелого заболевания (кроме психического), препятствующего дальнейшему отбыванию наказания, предусмотрено не было.

Однако эта норма была введена статьей 46 Основ исправительно-трудового законодательства 1969 года и вошла в республиканские исправительно-трудовые кодексы (статья 100 ИТК РСФСР).

В законе указано, что лица, страдающие тяжелым заболеванием, препятствующим дальнейшему отбыванию наказания, **могут быть** (а не должны быть) судом освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Это «могут быть» сохранено и в обсуждаемом проекте Основ. Другими словами, если установлено (медицинской экспертизой), что человек по состоянию здоровья **не может** дальше отбывать наказание, то суд **может**, не оспаривая заключение экспертизы, а руководствуясь различными другими соображениями, отказать в освобождении от дальнейшего отбывания наказания.

Мы не знаем статистики, но, судя по практике, смею утверждать, что освобождение из заключения больных и даже умирающих было редкостью. Люди умирали и еще умирают в зонах. Поэтому считаю, что в части четвертой статьи 61 Основ слова «может быть освобождено» должны быть заменены словами «подлежит освобождению».

Статья 63. Судимость

(1) Судимость имеет правовое значение при совершении нового преступления, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Союза ССР.

Необходимо дополнить часть первую статьи 63 словами: «Судимость не влечет за собой ограничение права проживания в каких-либо местностях, а также права работать по специальности, если приговором не установлено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

Такое дополнение необходимо, так как на практике существуют установленные ведомственными актами, а зачастую и произвольно чинимые ограничения, которые лишают людей, отбывших срок наказания, возможности нормально жить и работать.



„ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ“

ОЛЬГА ИЛЬИНА

Ольга Ильина — поэт и прозаик, правнучка Е.А. Боратынского — живет в Сан-Франциско. Родилась и выросла она в России, но после революции, разрушившей привычный уклад жизни, подобно многим другим своим соотечественникам оказалась в эмиграции.

К концу второй мировой войны О. Ильина стала писать прозу на английском языке. В 1951 году вышел первый том намеченной трилогии «Канун восьмого дня», в 1982-м — новелла «Санкт-Петербургский роман» и в 1984 — автобиографическая повесть «Белый путь».

Предлагаемая подборка составлена из стихотворений, написанных в России в «годину страшного бездомного скитанья среди озлобленной кровавой суеты». В ту пору Ольга Александровна вместе с мужем и маленьким сыном шла с отступавшей белой армией на восток.

Сборник стихотворений О. Ильиной вышел в 1985 году в Америке. В СССР стихи публикуются впервые.

Наши русские осенние пейзажи,
Гулкий ветер да черные дали
Были сердцу всего милей.
Но теперь ничего мне не скажет
Ни угрюмость небесной стали,
Ни простор обнаженных полей.
Не пойму. Не узнаю даже...
День осенний дождливо-сер,
Солнце вечно где-то скрывается,
И главное — все это называется
С.С.С.Р.!

...

От двери к двери в морозы эти
С тобой ходили мы вдвоем и порознь
И объясняли всем, что у нас дети,
Что мы на улице и очень мерзнем.

И мы внушали иным доверье,
Иным внушали даже жалость,
Но... отчего-то от двери к двери
Наше скитанье все продолжалось.

Ах, какая тогда была стужа!
Иная хозяйка дверь откроет немного
И крикнет грубо и строго:
«Ребенок-то есть, а нет, что ли, мужа?»
И прямо гонит с порога.

Другие посмотрят на мужские валенки
(А из дома на нас пахнет тестом сдобным)
И вежливо скажут: «Если ребенок маленький,
Мы это находим для себя неудобным».

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ

И торопясь, чтобы булки в печке не пересидели,
Дверь захлопнув, выкрикнут нам в утешенье:
«Не у одних у вас дети, в самом деле,
Все теперь в таком положении».

«Нет с тобой нам на свете места...»
Усмехнешься: «Не мы первые...»
Но давно забытый запах теста
Будет долго терзать наши нервы.
Вспомнится няня Прасковья Егоровна,
Как она вынимает из печки пирожные
И потом нам с братом делит поровну
И говорит: «Горячие, осторожно».
А madame уж с лестницы бежит:
«O, les enfants sont alles chez la bonne!
Maman va vous gronder venez vite!
Ne mangez rien de ce qu'elle vous donne!»¹
А за окнами лето, жаркое лето,
Оно смотрит цветами и солнцем в глубокую залу,
Где зеркала огромны и темны портреты
И где места так много и мебели мало,
И где в углу за фортепьяно старомодным
Моя мать с фигурой нарядно-тонкой
Играет Шопена... А я... голодным,
Бездомным вижу своего ребенка.
Но если это все так случилось,
По мудрому закону возмездья,
Оттого, что где-то над нами живет справедливость,
Как живут над землею созвездья,
То всю нашу скорбь и позор наш весь я
Приму как великую милость.
Потому что легче принять все печали
И беды.
Потому что легче влачить все оковы,
Что с вершин Истины к нам ниспали,
Что родились по мудрому Слову,
Чем хватать наслажденья, успех и победы
Из пространства пустого.
Красноярск, 1920.

* * *

О жестокий, бездушный город!
Но Господь не так ли мир свой создал,
Что лисицы имеют норы
И птицы небесные — гнезда?
Но мы с тобой не птицы, не звери
Оттого ль оставлены оба?
Перед нами — закрытые двери,
Сзади нас — снеговые сугробы.
Ангел мой! Ничего не проси,
Хоть и странников нет без котомок,
Ты беднее их все же, потомок
Первых князей Руси.
1920.

* * *

На фоне бурных скал и синевы небесной
Встречали чайки нас у берегов Канады,
И грудь холодную Великий океан
Под солнцем согревал с улыбкою чудесной.
Чужой, счастливый край! Ты солнцем осиян!
...Моя душа тебе еще не рада.
1923.

О, дети пошли к няне!
Мама будет вас бранить, идите скорей!
Не ешьте ничего из того, что она вам дает!» (Франц.)

ДИКОВИННЫЙ МИР

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

АВТОБИОГРАФИЯ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

Творчество Евгения Замятина вряд ли нужно представлять современному читателю. Спустя почти шесть десятилетий (после выхода последней в СССР его книги в 1930 году и после вынужденной эмиграции в конце 1931-го) произведения писателя вернулись в нашу литературу. Появившиеся книжные издания (а за неполные четыре года их было восемь) и журнальные публикации знакомят преимущественно с прозой Замятина и частично с его литературной критикой и эссеистикой. Менее известно творческое наследие Замятина-драматурга, автора восьми пьес; его пьесы «Общество почетных звонарей», «Блоха» и «Сенсация» шли во многих театрах, советских и зарубежных, в 20—30-е годы. О своей работе в драматургии Евгений Замятин рассказывает в «Автобиографии» (1931). Из упомянутых писателем не опубликованных и не поставленных пьес особый интерес представляет «История одного города» — инсценировка романа М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирический талант Замятина проявился здесь как ни в одной другой его работе для театра. Отчасти это и определило ее театральную судьбу. Пьеса «История одного города» публикуется впервые.



Рисунок Владимира Денисова

АВТОБИОГРАФИЯ

Конские ярмарки, цыгане, шулера, помещики — в поддевках, в «дворянских» с красным околышем фуражках. «Царские дни», на молебне в соборе впереди всех — исправник, за ним — чиновники, учителя гимназии в мундирах, со шпагами, купцы с медалями на шеях. Масленичные катания по Большой улице — в пестрых «ковровых», выехавших из 17-го века санях. Летние крестные ходы — с запахом полей, с тучами пыли, с потными богомольцами, на карачках пролезающими под иконой Казанской. Бродячие монахи, чернички, юродивый Вася-антихрист, изрекающий божественное и матерное вперемежку...

Да полно: было ли все это? Так это далеко — на целые века — от нынешнего, что не веришь и сам. И все же знаю, что было, и было всего лет сорок назад. Это тамбовская Лебедянь, та самая, о какой писали Толстой и Тургенев и с какой связаны мои детские годы.

Дальше — Воронеж, серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером — чудесный красный флаг, вывешенный на пожарной каланче и символизирующий отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20° — и отмену занятий. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни — с учителями в вицмундирах, с латинскими и греческими «экстэмпорале»¹.

Из гимназического сукна вылез в 1902 году. Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах — «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matri², о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». И инспектор — наставительно, в нос, на «о»: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в торьму попал. Мой совет: не пишете, не идите по этому пути». Наставление не помогло.

Петербург начала 900-х годов — Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плева, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я — студент-политехник косовороточной категории.

В зимнее белое воскресенье на Невском — черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским — думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак — один удар, час дня — на проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски «Марсельезы», красных знамен, казаки, дворники, городовые... Первая (для меня) демонстрация — 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому — кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.

Летом — практика на заводах, Россия, прибаутивные, веселые, третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.

Лето 1905 года — особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я — практикантом на пароходе «Россия», плавающим от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, деревни, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый яфский прибор, чернозеленый Афон, чумной Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия — с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба. И по возвращении в Одессу — эпопея бунта на «Потемкине».

В те годы быть большевиком — значило идти

по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-ое октября, митинги в высших учебных заведениях... Развязка — конечно, одиночка на Шпалерной и затем высылка (весною девятьсот шестого года). Место высылки было предоставлено мне выбирать самому. Я выбрал — Лебедянь. Но уездную тишину, колокола, палисадники — выдержал недолго: уже летом — без прописки в Петербурге, отом — в Гельсингфорсе.

Там однажды в купальне на Эрдгольмскатан голый товарищ познакомил меня с голым пузатеньким человечком: пузатенький человек оказался знаменитым капитаном Красной гвардии — Коком⁴. Еще несколько дней — и Красная гвардия под ружье, на горизонте чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я — переодетый, выбитый, в каком-то пенсне — возвращаюсь в Петербург.

Парламент в государстве; маленькие государства в государстве — высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом — одно время председателем — Совета старост. Это было веселое и хорошее время. Оно кончилось в 1908 году.

Весною в 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года — преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта «башенно-палубного» судна — на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристкой ведал Арцыбашев. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан.⁵

Три следующих года — корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское судоходство», «Известия Политехнического института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.

Летом 1911 года Охранное отделение опять выслало меня из Петербурга. Поселился сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом зимой — в Лахте. Здесь — в снегу, одиночестве, тишине — написалось «Уездное». После «Уездного» — сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником⁶.

В 1913 году (трехсотлетие Романовых) — получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» — книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до Февральской революции: оправдали.

В начале 1916 года — через Швецию, Норвегию — уехал в Англию.

Там — сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим, один из наших самых крупных ледоколов — «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с «цепелинов» и аэропланов. Я писал «Островитян»⁷.

Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdication of Russian Tzar»⁸ — в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года,

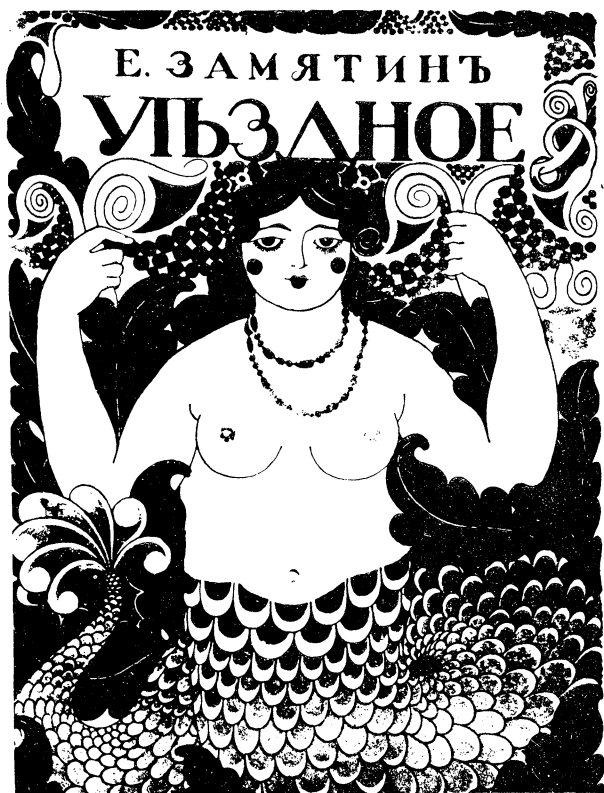


Рисунок Дмитрия Митрохина (1915)

на стареньком английском пароходике (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шалюпки наготове.

Дальше — веселая, жуткая зима 17—18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность.

Всеяческие всемирные затеи: издать классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира⁹. Тут уж было не до чертежей — практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (1920—1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств («Серапионовы братья»), работа в Редакционной коллегии «Всемирной литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в Секции исторических картин ПТО, в издательстве Гржебина, «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом искусств», «Современный Запад», «Русский современник»¹⁰.

В эти годы — роман («Мы») ¹¹, ряд повестей, рассказов, критических статей. И в эти же годы — новый соблазн: театр.

На четвертом этаже «Всемирной литературы» за каким-то неестественно длинным столом заседала Редакционная коллегия Секции исторических картин: Горький, Блок, Гумилев, Ольденбург, худ(ожник) Щуко, я — и еще три-четыре человека. Уже воздружили мы основные вехи в потоке всемирной истории, уже запрудили его мощной программой, как будто все готово, и вот-вот история завертит театральную турбину, но — исторических драматургов не оказалось. Едва ли не единственной в портфеле Секции была пьеса Чапыгина об удельно-вечевой эпохе, написанная прекрасным и... никому не понятным подлинным языком XI века¹². Приняты были военные меры: редакторы Секции были мобилизованы для писания исторических пьес — и вскоре Блок дал «Рамзеса», Гумилев — пьесу об изобретении огня¹³, а я — «Огни св. Доминика». Для постановки их намечен был сначала театр Народного дома, потом предложен был Василеостровский, потом какой-то еще

более захудалый районный театр. Секция отказалась дать туда пьесы — так они на сцену и не попали. Позже «Огни св. Доминика» попали в список пьес, не рекомендованных к постановке. Впрочем, пьеса эта, переведенная на немецкий, оказалась не рекомендованной к постановке и в Германии: там в ней усмотрели «оскорбление католической религии».

Это был мой первый драматургический опыт; вторая работа для театра — «Блоха», написанная для МХАТа 2-го.

О театрализации лесковского «Левши» МХАТ 2-ой мечтал уже давно, но все не мог найти подходящего автора. Когда, по предложению театра, я взялся за эту работу, я увидел, что задача — действительно очень трудная. Сюжет «Левши», как известно, взят из народного сказа, и эту сказовую форму — с ее особенным языком, с ее анахронизмами и условностями — надо было дать на театре. Единственно возможное решение мне увиделось в форме народной комедии, в форме «игры» — театра условного от начала до конца: эта условность была подчеркнута «раскрытием приема»¹⁴ в лице трех ведущих масок — «халдеев». «Халдеи» пришли в «Блоху» одновременно из старинного русского «действия» и из итальянской импровизационной комедии, их предки — скоморохи, Петрушка, масленичный балаганный дед, Бригелла, Панталоне, Труффальдино. К весне 1924 года «Блоха» была закончена и в легкой, веселый майский день прочитана гастролировавшему тогда в Ленинграде МХАТу 2-му. Актеры смеялись так, что трудно было читать.

Премьера «Блохи» в МХАТе 2-м в постановке А. Д. Дикого и великолепном оформлении Б. М. Кустодиева состоялась в феврале 1925 года. В Ленинграде (тоже в декорациях Кустодиева и постановке Н. Ф. Монахова) «Блоха» была показана в ноябре 1926 г(ода) и затем обошла все крупные провинциальные сцены. В МХАТе 2-м пьеса шла до осени 1930 г(ода), когда была снята — для «освежения» материала: роли «Раешныкка», «Левши» и «Англичан» написаны так, что они допускают введение ряда реплик злободневного характера. Эта работа была проделана мною в течение зимы 1930—31 г(ода), с осени 1931 г(ода) «Блоха» снова включается в репертуар МХАТа 2-го.

На большом производстве рядом с основным продуктом из «отходов» всегда получаются продукты побочные — «дериваты»: такие «дериваты» образовались и около «Блохи». К премьере «Блохи» в Ленинграде изд-вом «Academia» был выпущен небольшой сборник под заглавием «Блоха», куда вошли статьи: Б. Эйхенбаума, Б. М. Кустодиева, Н. Ф. Монахова, А. Лейфберга и моя, в сборнике — иллюстрации Кустодиева. В 1929 г(оду) «Изд-вом писателей в Ленинграде» выпущена книга «Житие Блохи» — остроумные рисунки Б. М. Кустодиева и мой текст, дающие в пародийной форме историю постановки «Блохи» в Москве и Ленинграде. Превосходная музыка Ю. Шапорина к ленинградской постановке «Блохи» дала материал для симфонической сюиты «Блоха», исполнявшейся в Москве в сезон 1929—30 года; А. Коутс¹⁵ будет дирижировать этой сюитой в Нью-Йорке в сезон 1931—1932 года. «Блоха» переведена на английский язык З. А. Венгеровой и переделана для американской сцены драматургом Генри Альсбергом¹⁶.

Третья пьеса — трагикомедия «Общество Почетных Звонарей» (построенная на материале моей повести «Островитяне») — родилась под менее счастливой звездой, чем «Блоха». Пьеса эта была взята для постановки МХАТом 1-м в Москве и б(ывшим) Александринским в Ленинграде. В б(ывшем) Александринском театре пьеса стала плацдармом для войны двух режиссеров: в результате военных действий постановка была скомкана, перенесена в б(ывший) Михайловский театр, на репетиции дано было всего только три недели. Для провала пьесы было сделано все возможное. Провала, правда, все же не получилось, но успех был довольно малокровный: пьеса продержалась только часть сезона 1925—26 г(ода). В МХАТе 1-м ее начинали репетировать дважды, но до постановки дело так и не дошло. Очень хорошо эта пьеса была поставлена молодым театром «Красный факел», в течение нескольких сезонов игравшим ее в разных городах — главным образом, на юге России.

С большим успехом «Общество Почетных Звонарей» шло в Театре русской драмы в Риге (сезон 1925—26 и 1926—27 гг.). Пьеса переведена на немецкий, английский, итальянский языки; осуществлена ли ее постановка в переводах на эти языки — мне неизвестно.

Как правило, — пьеса у меня пишется быстрее и легче, чем рассказ, повесть, роман (потому что повесть, роман — это пьеса плюс многое другое). Исключением была четвертая у меня пьеса — «Атилла»¹⁷: работа над ней, включая «инкубационный» период и изучение материалов, заняла года три. Эпоха, когда составившаяся западная, римская цивилизация была смыта волною молодых народов, хлынувших с востока, с черноморских, волжских, каспийских степей, — показалась мне похожей на нашу необычайную эпоху; огромная фигура Атиллы, двинувшего против Рима все эти народы, увиделась мне совсем в ином, не традиционном освещении. Уложить все это в четыре акта — было нелегко; нелегкой была и выбранная форма: чередование прозы с *vers libre*¹⁸ все время меняющихся размеров (в зависимости от перемен эмоционального ритма). Пьесу пришлось написать дважды: один, уже вполне готовый, вариант был разобран потом на кирпичи, и из них потом все здание было еще раз построено заново.

Работа была закончена осенью 1927 года. Право первого представления было предоставлено ленинградскому) Большому драматическому театру. Пьеса была прочитана на заседании художественного) совета — в присутствии делегатов от 18 ленинградских заводов; протокол этого заседания, где закреплена реакция рабочей аудитории на эту пьесу, — один из самых ценных документов в моем литературном архиве. Рабочие делегаты предлагали приурочить постановку пьесы к десятилетнему юбилею театра. С февраля 1928 г(ода) начались репетиции (Н. Ф. Монахов — в роли Атиллы), худ(ожник) Н. П. Акимов сделал макет¹⁹ постановки; пьеса разрешена была Главреперткомом и объявлена на афишах, но, по независящим от театра обстоятельствам, до зрителя не дошла²⁰.

Две следующие пьесы — тоже остались в рукописях: это одноактная мелодрама «Пещера» (театрализация одноименного моего рассказа) и «История одного города» по Щедрину. «Пещера» написана по заказу Художественного) театра (1-го), предполагавшего поставить спектакль из пяти одноактных пьес современных авторов (Вс. Иванов, Пильняк, Леонов, Бабель и я); проект этот не осуществился. «История одного города» — заказ театра Мейерхольда (1928 год)²¹; эта пьеса

погибла на половине пути: из семи «эпизодов» закончены были три — остальные сохранились только в форме сценария.

Осенью 1929 г(ода) — пьеса «Сенсация» (переделка «The front page» Бен Хекта²²). В мае 1930 г(ода) «Сенсация» была показана в Театре им. Вахтангова в Москве и в июне — в Ленинграде, в б(ывшем) Александринском театре; в сезоне 1930—31 г(ода), кроме этих театров, пьеса шла во многих театрах в провинции. И последняя, седьмая пьеса (если не считать незаконченной «Истории одного города») — «Африканский гость. Невероятное происшествие в трех часах»²³. Этот сатирический фарс из советской жизни, написанный по заказу МХАТа 2-го, пока еще не напечатан и не поставлен²⁴.



Рисунок Юрия Анненкова (1921)

Автобиография написана между 12 апреля и 13 мая 1931 года для несущественного двухтомного «Словаря драматургов» (издательство «Федерация», составитель А. С. Бадалян). Печатается по рукописи (ИМЛИ, ф. 74, оп. 2, ед. хр. 4); отрывок ранее был опубликован в журнале «В мире книг» (1988, № 9).

¹ Классное письменное упражнение.

² Alma mater (лат.) — питающая мать; традиционное название учебных заведений.

³ Щеголев П. Е. (1877—1931) — литературовед, историк; дважды арестовывался в 1899 году за революционную деятельность.

⁴ Кок Й. (1861—1915) — деятель финского рабочего движения, начальник Красной гвардии Гельсингфорса (Хельсинки).

⁵ В журнале «Образование» был опубликован рассказ Замятина «Один» (1908, № 11). Острогорский А. Я. (1868—1908), Арцыбашев М. П. (1878—1927) — писатели.

⁶ В журнале «Заветы» была опубликована повесть Замятина «Уездное» (1913, № 5), другие произведения. Иванов-Разумник Р. В. (1878—1946) — критик.

⁷ Повесть Замятина, опубликована в 1918 году.

⁸ Революция в России. Отречение русского царя. (Англ.)

⁹ Речь идет об издательстве «Всемирная литература», основанном М. Горьким в 1918 году, Союзе деятелей художественной литературы (1918—1919) и Секции исторических картин при петроградском театральном отделе Наркомпроса, также организованной по инициативе М. Горького.

¹⁰ Дом искусств — петроградская организация работников искусств (1919—1923). «Серая и оловянная братья» — литературная группировка, возникшая на основе литературной студии Дома искусств (М. М. Зощенко, К. А. Федян, В. А. Каверин, Вс. В. Иванов, Н. С. Тихонов и другие). Всероссийский союз писателей (1920—1932), Дом литераторов (1918—1922) — литера-

турные организации. С указанными издательствами Замятин сотрудничал в 1919—1925 годах; журналы «Дом искусств», «Современный Запад» и «Русский современник» выходили под его редакцией в 1921—1924 годах.

¹¹ Роман «Мы» был закончен осенью 1921 года.

¹² Речь идет о пьесе А. П. Чаптыгина «Гориславич».

¹³ Для секции Гумилев написал пьесу «Охота на носорога».

¹⁴ Точнее, «обнажение приема» — понятие, введенное в оборот теоретиками формальной школы в литературоведении.

¹⁵ Коутс А. (1882—1953) — английский дирижер, некоторое время работал в России, часто гастролировал в СССР.

¹⁶ В США «Блоха» поставлена не была.

¹⁷ Таково авторское написание этого имени.

¹⁸ Свободный стих (франц.).

¹⁹ В рукописи зачеркнуто его определение: «превосходный».

²⁰ После включения в репертуар и начала репетиций пьеса была запрещена в мае 1928 года решением областного реперткома как «недостаточно идеологически выдержанная». Замятину 4 июля удалось получить разрешение на постановку от Главреперткома, но пьеса в БДТ так и не пошла, несмотря на вмешательство М. Горького (см. об этом в статье Н. Н. Примочкиной «М. Горький и Е. Замятин». — «Русская литература», 1987, № 4; в предисловии Г. Матвеевой и А. Стрижева к публикации «Атиллы» в журнале «Современная драматургия», 1990, № 1).

²¹ Работа над пьесой шла в 1927 году.

²² Пьеса написана Б. Хектом в соавторстве с Ч. Макарумом, на русский язык переведена З. А. Венгеровой.

²³ Впервые пьеса опубликована в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1963, № 73).

²⁴ Далее в рукописи шла библиографическая справка о публикациях и переводах, которую мы опускаем.

ИСТОРИЯ ОДНОГО
ГОРОДА



Рисунок Владимира Денисова

ЛИЦА ВЕСЬМА ДЕЙСТВУЮЩИЕ

Князь Домсторический

Брудастый
Великанов
Грустилов
Угрюм-Бурчеев

Князя исторические

Ираидка
Амалька
Дунька-Толстопятая

Девки-самозванки

ЛИЦА ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Курицын-сын, в военном чине
Предводитель
Смотритель просвещения
Доктор
Казначей
Казначейша
Пфейферша
Прочие дамы

Анисьюшка
Миша-Возгравый
Квартальный
Будочники
Оловянные солдатики

Юродивые

ЛИЦА, ПОДВЕРГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЮ:

Пахомыч
Евсейч
Излюбленные старички

Чудак
Часовых дел мастер Байбаков
Крамольники
Обоего пола Глуповцы

ПРОИСШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ:

ДОИСТОРИЧЕСКОЕ

Местность доисторическая. Вечевой колокол. Винная бочка, поставленная на попа. Три сосны. Издали — крики, гам. Вваливаются Головотяпы: бьются на кулачки, огни — стеной — пятятся, другие — стеной — насегают. За ними зеваки.

Головотяпы (бьют и крикают). Аты!— Аты!— Аты! Зеваки. Бей!— Лупи!— Так!— Так!

Дозорный (с сосны — кричит). Па-хо-мыч! Евсе-ич!

Они бегут на крик.

Евсейч. Опять они... Мать пресвятая! (Звонит в колокол, бой утихает.)

Пахомыч (взобравшись на бочку). Опять, а? Ну, чего, чего по мордам-то друг дружку лупите?

Садовая-Голова (показывает горшок). А во — это самое... каша.

Пахомыч. Ну, каша — вижу: ну, дальше что?.. — садовая ты голова!

Садовая-Голова. Как-что? Мы эту самую кашу в горшках варим, а они — в чугунках. Вот до чего разложились!

Пахомыч. Да ведь каша-то — одна?

Садовая-Голова. Мало бы что одна! Ну, стали мы им доказывать, они — нам. Трех убили да еще троих — и пошло... очень просто!

Пахомыч. Господа Головотяпы, ну как же это? Ведь если мы эдак головами друг об дружку тпаться будем — так всех перетяпаем, и на развод не останется.

Головотяпы. Так!— Так!

Пахомыч. Уж сколько разов мы уговаривались, чтобы начать наново, миром жить...

Головотяпы. Так!— Так!

Пахомыч. Ну, да-к чего же? Уж время бы начинать-то...

Головотяпы. Так!— Так!— Время!

Пахомыч. Ну вот, давно бы! (На Евсеича). Мы с ним покурим пойдем, а вы начинайте — с богом!

Уходят. Головотяпы стоят, чешут в затылках.

Чудак. Та-ак... А как же начинать-то?

Садовая-Голова. Чу-удак! Очень просто: бей горшки да чугунки — от них все пошло.

Головотяпы. Так!— Так!— Бей!— Лупи! (Бьют горшки. Перебили. Чешут в затылках.)

Чудак. Та-ак... А кашу-то теперь в чем делать будем?

Садовая-Голова. Эх, ты-ы! Очень просто: сыпь толокно прямо в реку. Реку толокном замесим — на весь мир хватит: ешь не хочу!

Головотяпы. Так, Садовая-Голова!— Так! Сыпь! — Сыпь веселей! (Тащат мешки, сыплют толокно.)

Садовая-Голова (распоряжается). Весла у кого? Веслами помешивай! Во, во, во! Сыпь еще, еще сыпь! Так, так, так! Готово?

Головотяпы. Готово!

Садовая-Голова. Ну-ка... черпаки сюда волоки — черпаками хлебать будем... очень просто!

Головотяпы. Так!— Так! (Волокут черпаки.)

Садовая-Голова. Пушай они — ложками, а мы — черпаками... Знай наших!

Головотяпы. Так!— Так! (Хлебают. Попробовали — чешутся.)

Садовая-Голова. Что стали? Ешь еще — не жалеи: хватит!

Чудак. Да чего есть-то?

Садовая-Голова. Чуда-ак! Как чего? Кашу.

Чудак. Да ее нету: все толокно водой унесло.

Садовая-Голова. Унесло? Батюшки, как же это мы... Братцы, догоняй кашу!

Чудак. Догонишь!

Головотяпы. Догоняй!— Держи кашу!— Лови!

Гам, крик. Бегут.

Дозорный (с сосны.) Пахо-мыч! Евсе-ич!

Появляются Пахомыч и Евсеич.

Евсейч. Мать пресвятая... Опять! (Звонит в колокол.)

Головотяпы остановились, затихают.

Пахомыч (с бочки). Ну? Что? Начали?

Садовая-Голова. Начали. Горшки перебили, реку толокном замесили...

Пахомыч. Ну?

Садовая-Голова (почесываясь). А каша уплыла... очень просто!

Пахомыч. Эх... Господа Головотяпы, дело-то ведь не тово...

Головотяпы. Так!— Так!— Не тово!

Пахомыч. Как же это так: нет на свете народа нас храбрее и умнее...

Головотяпы. Так!— Так!— Нету!

Пахомыч. Головы у нас на плечах — крепкие растут, хоть кол на них теши...

Головотяпы. Так!— Так!

Пахомыч. А как ни верти — все у нас выходит согласно истории Иловайского...

Крамольник. Какого там Иловайского! Вместо Иловайского — нынче этот... как его...

Пахомыч. Крамольник... заткнись! Выходит, говорю, согласно истории: велика наша земля и обильна, а порядка в ней нет.

Головотяпы. Так!— Так!

Пахомыч. Одно нам осталось: князя себе завести. Он, батюшка, чиновников, солдатов у нас понаделает и острог с решеткой поставит... — заживем по-хорошему!

Головотяпы. Князя!— Так!— Так!

Крамольник. Дотáкается!

Другой крамольник. Волю протáкает!

Головотяпы. Крамольники, цыц!— Князя... — Так!

Крамольники. Не так!— Не так!

Пахомыч. Эх... Ну, видно, делать нечего: открываю прения. Желаящих прошу высказаться. Кто желает? Садовая-Голова. Я! (Поплевав на руки, походит к Крамольникам — начинает.) Ать! Ать!

Головотяпы. Ать!— Ать!— Ать! (Крякая, лупят Крамольников.)

Скоро Крамольники лежат недвижимо.

Всё успокаивается.

Пахомыч. Благодарим покорно. Прения закончены. Кто теперь против князя? Никого. Ну, мир честной, Головотяпы: с князем вас, стало быть!

Евсейч крестится.

Головотяпы. С князем!— С князем!

Чудак. А где же его, князя, взять-то?

Садовая-Голова. Чудак! Мало их нонче безработных? Мне наемни один сапоги чистил. За князем дело не станет.

Дозорный (с сосны). Вон о-он! Сюды, сюды — к на-ам!

Головотяпы. Кто?— Кто?— Кто?

Дозорный (соскочив с сосны). Аграмадный!.. Усищи — вб... сюды, к нам!

Головотяпы. Слышь: аграмадный... Усы... — Уж не он ли самый?

Садовая-Голова. Он самый — князь... очень просто! Братцы, князь! Братцы, князь — сюды, к нам!

Головотяпы (подваливая к Пахомычу). Князь... — Князь!— Князь идет!

Евсейч (крестится). Мать пресвятая... князь!

Пахомыч (с бочки). Братцы... тише, тише! Встретить его надо... встретить — как следует, честь честью... С хлебом-солью...

Чудак (почесываясь). А хлеб-то... он из сосновой коры... ничего?

Пахомыч. Ну, уж ты всегда не ко времени ляпнешь: «из коры, из коры...» Ну, тогда надо — с колокольным звоном.

Головотяпы. Так!— Так!

Садовая-Голова. Во все колокола — по всем трем — во всю ивановскую... эх, знай наших!

Пахомыч (ему). Беги, звони ты: лучше тебя никто не раззвонит... (Слезая с бочки.) Расступись, расступись, братцы, — дорогу расчисти! Мужики, бабы — посторонитесь: детям не видать! Ну, Садовая-Голова, — с богом: начинай!

Начинается колокольный трезвон. Глуповцы заранее кланяются — не переставая. Появляется огромный рак. Выгаращив буркалы, поводит усищами. Все остолбенели. Рак фыркает, бьет хвостом — и, пятясь,

уползает. Некоторое время народ безмолвствует, чешет в затылках.

Пахомыч (почесываясь). Выходит, это мы... рака с колокольным звоном встречали? Ведь это вроде... опять не тово...

Головотяпы. Так!— Так!— Не тово!

Пахомыч. Похоже, надо — согласно истории — за князем послов посылать...

Головотяпы. Так!— Так!— Пахомыча!— Евсейча!

Пахомыч и Евсейч кланяются.

Пахомыч. Благодарим покорно. Стало быть, мы с ним для мира потрудимся, а вы пока что — идите на кого-нибудь походом, потому нету на свете народа вас храбрее и мудрее...

Головотяпы. Так!— Так!— Бей!— Лупи!

Чудак. А... кого лупить-то?

Садовая-Голова. Чуда-ак. Окромя наших — всех лупи!

Музыка — лихой солдатский марш. За исключением лежащих Крамольников все уходят с пением:

Знают турки нас и шведы,

И про нас известен свет,

На сраженья, на победы

Нас всегда сам царь ведет...

Послы — Пахомыч и Евсейч — идут к трем соснам. Марш полугонит, сбивается — послы заблудились — марш оборвался.

Евсейч. Мать пресвятая... в трех соснах заблудился... Па-хо-мыч! Ау!

Пахомыч. Ев-се-и-ч! Ау! Ты где-е?

Евсейч. Ту-та-а!

Пахомыч. Беги сюды-ы!

Бегут, натыкаются лбами — один на одну сосну, другой на другую. Удар в оркестре — сосны валяются.

Евсейч (щупает голову). Целы?

Пахомыч. А то нет? Головы у нас, слава богу, крепкие растут. Вот, две сосны скovyрнули — уж теперь в одной не заблудимся...

Евсейч. Не-ет, не таковские!

Пахомыч. Уж теперь до князя дойдем!

Евсейч. Дойде-ем!

Появляется Курицын-сын.

Пахомыч. Стой-гляди: вон — с ясными пуговицами идет...

Евсейч. Это — он самый, батюшка наш!

Пахомыч. Нет, мы сперва спросим... А то эдак одного с колоколами встретили... (Подходит к Курицыну-сыну.) Ваше высоко... вы... не он самый?

Курицын-сын. Я — потомственный Курицын-сын. Слеп, что ли? Шапку долой! (Послы скидывают шапки.) Зачем сюда?

Пахомыч. Ваше курицынство, нам бы... это... какого-нибудь князя безработного... Сделайте милость!

Курицын-сын. На биржу — на биржу иди! Порядков не знаешь?

Пахомыч. А где она биржа-то?

Курицын-сын. Да у тебя — что: глаза-то на чем растут? Не тем местом глядишь — повернись!

За спиной у Пахомыча выросла петербургская биржа, а на ней — сидит Доисторический Князь, с ружьем, с саблей, страшный...

Евсейч. Мать пресвятая!

Курицын-сын (послам). Ну, идите — чего ж стали?

Пахомыч (не полагая зуб на зуб). Об... об... обрадовались очень... До... дозвоьте опрaвиться...

Курицын-сын. Ну, ладно, оправляйтесь. А я пока пойду — им про вас доложу. (Идет к Князю, шепчет ему на ушко.)

Доисторический Князь (рычит). Чего-о?

Курицын-сын (громко). Драть, говорю, их завсегда очень свободно. Их пуще дерут — а они ура пуще орут: только и всего.

Доисторический Князь. А-а, это приятно! (Махнул Курицыну-сыну — тот уходит. Послам.) Ну-ка, сюда! Что вы за люди? И зачем ко мне?

Евсейч (трясется). Мы — Головотяпы...

Пахомыч (бодрится). Нет народа нас храбрее... Князь палит из ружья. Послы — падают на колени, молчат.

Доисторический Князь. Ну-у? Дальше — да живо у меня!

Пахомыч. Иди, согласно истории, править и володеть нами...



Доист<орический> Князь. Гм... Что же — против истории — не погрешь: быть посему. Ну, слушайте: от моего корня произрастут у вас, как дубы, князья многие — и будете вы им платить дань многие. Когда они пойдут на войну — и вы, не пикнув, идите. А до прочего вам ни до чего дела нет. Поняли?

Пахомыч. Благодарим покорно...

Евсейч. Так...

Доист<орический> Князь. И тех из вас, кому ни до чего дела нет, они будут миловать, прочих же всех — казнить. Поняли?

Пахомыч. Благодарим покорно...

Евсейч. Та-ак...

Доист<орический> Князь. А как вы, глупые, не умели по своей воле жить, то называться вам от сего дня впредь — глуповцами, и город вы себе постройте — Глупов-город? Поняли?

Пахомыч. Благодарим покорно...

Евсейч. Так...

Доист<орический> Князь. А теперь — вот, получайте: будет это ваше священное знамя-хоругвь — на вечные времена... (Подымает над ними знамя: богатый, парадный кнут.)

Евсейч. То есть... это... как же?

Доист<орический> Князь. А вот как... (Охаживает послов кнутом.) Поняли?

Евсейч. Поняли! Ой — поняли!

Пахомыч. Ой! Благодарим покорно... ой!

Доист<орический> Князь. Прикладывайтесь! (Сует им знамя, они прикладываются. Евсейчу.) Держи... Так. Теперь идите домой и ждите моих наследников, а я свое дело сделал. Ну, чего стали? Пошли вон, дураки! (Исчезает.)

Пахомыч и Евсейч, глядя друг на друга, чешут в затылках.

Пахомыч. Та-ак...

Евсейч. Та-ак...

Пахомыч. Ну, что же — пойдём наших... **продра-**

Евсейч. Пойдем.

Уныло идут со «знаменем». Музыка играет тот же марш «Знают турки, знают шведы», но так жалостно, что хоть плачь. Лежавшие Крамольники подымаются.



Если не хотите возврата к старому мгу, идите в ряды коммунистов

Крамольник. Что? Такали-такали — все протáкали?

Другой Крамольник. Чешу затылок теперь!

Третий Крамольник. Получили знамя-то?

Пахомыч. Да вы что это? Ах, крамольники!

Евсейч. Ах, безбожники!

Пахомыч. Эй, сдюды-ы! Братцы, учи крамольников!

Вваливаются Головоотяпы.

Головоотяпы. Бей.— Лупи!— Ать!— Ать!— Ать!

ПРОИСШЕСТВИЕ ВТОРОЕ:

«ОРГАНЧИК»

Город Глупов. Князьи палаты — над крышей «знамя».

С одного боку — острог, с другого — кабак.

Растительность: полицейские будки и одна сосна, уцелевшая от времен доисторических. У открытого окна палат — прислушивающийся Курицын-сын, сзади него — цугом — Предводитель, Смотритель просвещения, Доктор и гады.

Пахомыч (входит на цыпочках). Ваше курицынство... (Курицын-сын машет рукой.) Ну только словечко одно: приехал?

Курицын-сын. Тсс... Приехал... Почивает. (Продолжает прислушиваться.)

Пахомыч (бежит, кличет.) Братцы! Сюды! Сюды! Приехал! Братцы...

Евсейч (входит). Приехал? Дожили... Слава те, господи! (Крестится, плачет.)

Глуповцы (сбегаясь). Приехал?— Приехал!— С князем вас!— И вас также!— Воскресе!— Воистину!— Братцы, будочкики-то... будочкиков-то сколько!— Острог-то... глядите!— Кабак-то!— Дожили, господи! (Лобызаются, льют слезы, крестятся.)

Курицын-сын (у окна — трагическим шепотом). Встал... Встал!

Дверь в палатах медленно открывается.

Глуповцы. Выходит...— Идет!

Курицын-сын (навтыжку. Оборачивается). Ш-шапки долой!

Предводитель (гаркает). Уррр...

Поперхнулся и застывает с открытым ртом: из двери выходит, ухмыляясь, девка-Амалька, а за нею другая — Ираидка.

Курицын-сын Тыфу ты!

Пахомыч. Да это наши, гулящие: немка-Амалька да Ираидка! Ах, чтоб тебе!

Диковинный мир

Евсейч (умиленно). Батюшка-то наш... двоих сразу, а? Милый ты мой...

Чудак громко фыркает, за ним — другие.

Курицын-сын (показывая на окно, свирепо). Тсс! Тсс!

Все затихают. В тишине явственно слышен загадочный звук: «Шши... жжж... п-п-пп...» — вроде испорченных часов, но куда страшнее. Кончилось — все переглядываются.

Чудак. Слышал? Чудно что-то дело начинается! Евсейч. Это что же это, а? Мать пресвятая!

Курицын-сын (чиновным — растерянно). Господи... как... как это понять?

В окне с треском взвизгивает штора, Курицын-сын кидается туда. Все созерцают: у окна за столом сидит Бругастый и с невероятной быстротой пишет бумаги. Курицын-сын еле успевает подхватывать их и передавать Будочникам — Будочкики летят с бумагами во все стороны.

Пахомыч (в восторге). Глядите: пи-шет! Глядите! Глуповцы. Пишет...— Пишет!— Грамотный, а? Евсейч (утирая слезы). Вот он, вот он, живенький... сам! Милый ты мой, пошли тебе **госслюди царства небес-**

ное...

Квартальный. Но, т-ты! Спятил? Бругастый вдруг встает. Помахав бумажкой перед носом у Курицына-сына и ткнув в нее пальцем, уходит вглубь.

Глуповцы. Встал...— Встал!— Пошел!

Евсейч (умиленно). Пешком... пешком ходит... ножками! Голубчик ты наш!

Курицын-сын (пробежав бумажку, приосанился). Тсс... Осени себя крестным знаменем, православный народ! Сейчас над тобою, согласно истории, воссияет заря новой жизни. А именно, батюшка наш и благодетель

выйдет сам в полной парадной форме и по случаю открытия произнесет слово...

Чудак. Слово-о? Это какое же это **такое слово**?

Пахомыч. Чудак! Речь — речь скажет: понял? Глуповцы. Речь! Братцы, речь... — Сейчас выйдет... — Сюды, сюды!

Квартальный. Которые публика — вперед, которые народ — назад. Ну, стали!

Курицын-сын. Эй, музыка! Музыка!

Музыка: *Камаринский марш. На крыльце показывается Брудастый в полной парадной форме.*

Курицын-сын. Ш-шапки долой! (Брудастому.) Вашесство... Дозвольте сперва... (Показывая на чиновных.) Так сказать — столбы, выросшие... э-э... на почве родной природы... (Рекомендует.) Предводитель. Смотритель просвещения. Казначей. Доктор. И наши дамы... так сказать, на случай... природы...

Все проходят. Брудастый медленно обводит вокруг взглядом.

Казначейша (в тихом восторге). Ангел... Ангел! Пфейферша. Лоб... Лоб — как у Шекспира... посмотрите!

Брудастый отступил шаг назад, вытянул руку.

Курицын-сын. Тсссс!

Глуповцы. Тише... Речь... — Речь... — Речь...

Брудастый (вращает глазами, раскрыл рот — и те же самые загадочные звуки). Жжж... ввв... ппп... Жжж... ппш... плю! Жжж... ппп... плю! Жжж... Зажав рот, видимо, и сам испуганный, кидается назад в палаты. За ним — Курицын-сын. В окне падает штора.

Все остолбенели.

Садовая-Голова. Вот это так ре-ечь!

Всеич. С нами крестная сила! Да, может, он, батюшка-то наш, и не человек даже!

Чудак. А кто же?

Всеич. А и сказать страшно — вот кто...

Пахомыч. Братцы, пойдем от греха подальше...

Всем миром ваяют в кабац. Часовщик Байбаков — сзади всех. Чиновная группа все еще пребывает в остолбенении.

Предводитель (размышляя). Жжж... ппп... плю...

Казначей (перед ним). Жжж... ппп... плю...

Казначейша (Доктору). Боже мой, да что же — что же вы стоите? Ступайте скорее туда и спасайте его — ведь он же болен, это ясно! — у него здесь... (На горло.) Ну, эта самая... которая прыгает...

Казначей. Ка... канарейка?

Казначейша. Да замолчи ты! (Доктору.) Ну... эта самая... жаба! Вы же слышали, как он хрипит? Идите же!

Остальные. Да, да! — Идите! — Идите!

Доктор идет к крыльцу. Навстречу ему выскакивает

Курицын-сын, щипет кого-то растерянным взглядом.

Доктор. Меня? Иду...

Курицын-сын. Вас... как же! Натя вот, читайте... (Сует ему бумажку.) Часовых дел мастера туда... живо! Квартальный и Будоchnики хватают и волокут Байбакова.

Байбаков (отбиваясь). Куда вы меня... д-дьяволы? Пустите! Пустите!

Курицын-сын (ему). Поговори у меня!

Байбакова вталкивают в палаты, захлопывают за ним дверь.

Доктор (кругом него остальные). Господа: собственноручная! (Читает.) «Немедля... мне... часовых дел мастера»...

Предводитель. Ко... ко... кого?

Смотритель (читает). «...часовых дел мастера...» Что же это — что же это у нас происходит? (Курицыну-сыну.) Что же это такое значит?

Курицын-сын. Не приставайте, ради Христа... Нич-чего не понимаю... Вот сейчас часовщик выйдет оттуда и все объяснится...

Доктор. С научной точки — похоже, что-нибудь — тут... (На лоб.)

Курицын-сын. Тсс... Вы с ума сошли?

Из палат выходит Байбаков, в руках держит нечто, завернутое в салфетку.

Смотритель. Идет! Идет!

Казначейша. Смотрите, смотрите: у него что-то в руках... в салфетке...

Курицын-сын (Квартальному). Сюда его... прр-хвоста! (Байбакова доставили. Ему.) Дружок... голубчик, послушай...

Казначейша. Товарищ, товарищ... слушайте... Курицын-сын. ...скажи, что это у тебя там? (Байбаков молчит.) Ты что это, милый, несешь, а? Да ты что — олох, дьявол?

Казначейша. Товарищ, товарищ... вы же знаете: я всегда сочувствовала... мужчинам... Мне вы можете сказать — вы мне покажите, что у вас там...

Казначей (шуря салфетку). Ко... кочан?

Казначейша. Сами вы кочан! Да уйдите же — не мешайте!

Байбаков, вырвавшись, бежит во всю прыть.

Курицын-сын. Держи! Держи его! Держи!

Квартальный и Будоchnики убегают за Байбаковым.

Доктор. Вот те и объяснилося!

Смотритель. Позвольте... но, с другой стороны, — это, может быть, даже преступление... а мы тут стоим!

Предводитель. Ну да!

Смотритель. Может быть, он в салфетке такое унес, что даже и... и не придумаешь...

Предводитель. Ну да!

Казначейша (Курицыну-сыну). Боже мой... Ну, что же вы? Идите, идите туда скорее — спасайте его! Остальные. Идите! — Идите! — Скорее!

Курицын-сын. Господа... вы же понимаете: без приглашения...

Предводитель. Да идите... курицын вы сын! А то я сам пойду... штурмом... Урр... (Опомнившись.) Кто... кто это... кричит?

Курицын-сын, пожав плечами, входит в палаты.

Пфейферша (на коленях). Боже... спаси его! Спаси нас!

Все прислушиваются. Смотритель подползает к окну.

Казначейша (ему). Ну? Что?

Предводитель. Это самое... жжж... ппп?

Смотритель (шепотом). Нет... (Присматривается.)

Шшш! (Таинственно.) Сморгается...

Казначейша. Кто? Он, ангел?

Смотритель. Нет... Наш... Стучит в дверь... Вошел... Ш-ш-ш... сейчас... Вот! Вот! (Застыл.)

Все. Что? — Что? — Что?

Из палат слышен голос Курицына-сына: «Ах!» Пауза.

Курицын-сын (выбежал — в ужасе — кричит.)

Квартальный! Квартальный! (Квартальный погбегает — под козырек.) Под суд тебя! На Соловкий! Ты где же был, чего смотрел, а? Пропали... пропали мы... пропали!

Все. Да что же? — Что? — Что случилось?

Курицын-сын (в отчаянии). Голова...

Все. Говорите же!

Курицын-сын. Не... не могу... Не поверите — невозможно поверить! Немыслимо, невероятно! Только подумать: голова... Нет!

Доктор. Ну, что — голова?

Курицын-сын. А, все равно: вот — смотрите сами... (Подходит к окну, поднимает штору.)

Все видят: Брудастый сидит перед столом, как сидел вначале, но... без головы: голова лежит перед ним на бумажке.

Все. А-ах! — Боже мой!

Предводитель. Как?

Курицын-сын. А так: голова их, изволите видеть, снята — и как пресс-папье, вон — на бумагах лежит. Предводитель. А... а... То есть как же это — снята?

Казначей (пробует снять свою голову). А вот у меня — не сс... не сснимается...

Смотритель. Да вам, если угодно, и снимать не надо...

Курицын-сын. Господа, господа... позвольте, это не все: есть и похуже кое-что... Слушайте... (Понизив голос, оглядываясь.) Эта самая голова их... по осмотре оказалась... — — — совершенно пустая... Понимаете: пустая!

Доктор. Как? Никаких признаков... ну... этого самого... понимаете?

Курицын-сын. Никаких. Чисто...

Предводитель. Однако ж это... Была голова-голова... и вдруг — как картуз: здрасьте! Как же это так?

Курицын-сын. Не приставайте: не знаю, не знаю, не знаю...

Предводитель. А... а... а кто же знает?

Курицын-сын. Кто знает? Один только этот злодей Байбаков — больше никто. (Квартальному.) А ты — ты его упустил! Под суд тебя! В Соловки!

Квартальный. Ваше курицсынство... вот перед богом: я не я буду, если вам его не доставлю! Со дня морского достану!

Курицын-сын. Ну, смотри у меня: если не достанешь — я т-тебя... (Бежит к окну.) А теперь... вот! (Опускает штору.) И чтобы у меня — ни слова никто! Государственная тайна... понимаете? Избави бог, народ узнает, что голова... пустая... Такое начнется!

Пфейферша. Спаси... спаси... спаси нас!

Казначейша. Боже мой... Что же делать? Что нам делать?

Курицын-сын. Вам делать больше нечего: ваша роль кончена.

Казначейша. Ну, это еще по-смотрим! Я к самому Мейерхольду пойду!

Курицын-сын. Идите... куда хотите! (Дамы уходят.) Господа, пока мы одни... скорее! Ведь надо же что-нибудь решить, придумать! У меня просто мозги раскорячились! Что ж это такое выходит? Власть — от бога, и вдруг — не угодно ли: от бога... *пуста* голова — фига! Просто фига!

Смотритель. Позвольте: если угодно, из Ветхого завета мы знаем...

Курицын-сын. Да поймите вы: то-Ветхий завет, а то — сейчас, сию минуту... разве это возможно?

Смотритель. Сейчас? — что вы, что вы! Ну, разве только в виде исключения... или, если угодно, легкой игры природы...

Курицын-сын. Благодарю вас покорно за этакую игру! Этак мы доиграемся. Ведь если узнают... (Издали шум, крики.) Тсс... Постояйте, постояйте... (В испуге.) Это — они... на-на-народ... Господа... начинается!

Предводитель (со шпагой). Уррраа! (Нагнув голову, как бык, кидается вперед.)

Квартальный, Будочники (врываются с торжествующим криком). Вот а-ан! Вот а-ан! (Волокут часовщика Байбакова.)

Предводитель (ничего не разбирая, на них). Уррраа!

Курицын-сын. Да это наши! (На Предводителя.) Остановите, остановите его! Батюшки, да он всех перекрошит... Пожарный, заливай, заливай его... скорее!

Пожарные сзади окатывают Предводителя.

Предводитель. Уррраа! (Очнувшись.) А? Кто... кто это кричит?

Курицын-сын. Хорош! (Квартальному.) Да и ты тоже... Спятил? Чего орете? Ну?

Квартальный. Ваше курицсынство... да как же? Ведь поймали — часовщика-то!

Курицын-сын. Так чего же ты молчишь, такой-сякой?

Квартальный. Я, ваше куриц-ство, не молчу — я докладую...

Курицын-сын. Поговори у меня! Давай его сюда... живо! (Чиновным.) Господа, господа, прошу занять места... Сейчас — самый решительный момент — сейчас мы наконец все узнаем... (Пододвинутому Байбакову.) Что-о? Попался, голубчик? Ну... звать как?

Байбаков. Васька... Василий... Байбаков.

Курицын-сын (Смотрителю). Записывайте. (Байбакову.) Происхождение? Родители?

Байбаков. Ро... родителей не было. Я вроде — самопроизвольно.

Курицын-сын. Самопроизвольно? Да как же ты смел? (Байбаков хочет сказать что-то.) Поговори у меня! По какому делу сюда приведен? Ну?

Байбаков. А я знаю?

Курицын-сын. По го-су-дар-ствен-ному делу... понял? По делу о снятии головы с высокой особы. Ну, говоря, да чистую правду, а то я с тебя голову сниму!

Предводитель. Уррраа...

Курицын-сын. Да опомнитесь вы! Уймите его... (Байбакову.) Ну?

Байбаков. Ну... чего же... Ухватили меня давеча за шиворот, по зубам дали и пхнули вон в эту дверь...

Курицын-сын (Смотрителю). Запишите: «Будучи приглашен... и так далее... Вообще — средактируйте... (Байбакову.) Ну?

Байбаков. Ну, свалился я — и вижу: он сидит, глаза вытаращил и головой вот этак вот — вроде как бык — мотает. Ну, думаю, пропал Васька: сейчас опять в зубы... Ан нет! Вижу, сует мне бумажку, а *(на)* ней писано: «Не удивляйся, но попорченное исправь»...

Курицын-сын. Ну? Ну? Ну?

Байбаков. Потом, значит, вот этак вот — сгреб себя за голову, снял ее...

Курицын-сын. Как — снял?

Байбаков. А я знаю? Ну, снял — и тычет ее мне в руки. Я ее туды-сюды... Гляжу: вот тут у ей пружиночка. (Находит соответствующее место на голове у Казначей, тот ежится.)

Курицын-сын. (Казначейу). Да сидите вы!

Байбаков. Я вот этак вот нажал... потом покрепче...

Казначей. Ой!

Байбаков. Она — трык! — и открылась. И гляжу — там, стало быть, это самое...

Все. Да что? Что?

Байбаков. Сичас...

Не спеша разворачивает салфетку, все смотрят. Из-за острога показываются Крамольники, слушают.

Курицын-сын. Что это? Да говори же... черт!

Байбаков. А это, значит, вроде как в тракторе...

Курицын-сын. Да как ты смеешь! Что такое — в тракторе?

Байбаков. ... в тракторе, говорю, по праздникам орган играет, разную музыку. Ну, и это вроде махонький органчик, а только вместо музыки — слова... Валики вот эти самые — на них слова и есть...

Курицын-сын (берет валики, читает). «Не потерплю»... «Раз-зо-рю»... Как? Только два?

Байбаков. Два, только всего... Ну, в дороге-то, стало быть, голова маленько отсырела, шпенечки вот эти вот выскочили, оно и выходит — с пропусками: пп-пш-пп-пю. Ну, и весь фокус тут.

Предводитель. Это... это не может быть! Что же я — какой-то пишущей машинке присягал?

Один из Крамольников, не выдержав, фыркает —

Крамольники скрываются.

Курицын-сын. Вы спятили? (На Байбакова.) При нем!

(Байбаков взял с валика какую-то бумажку, поплевал на нее, снова прилепнул на валик.)

Ты что это, грубиян, плюешь тут? Как ты смеешь?

Байбаков. Да ежели он отклеился? Это ярлычок фабричный...

Курицын-сын. Дай сюда! (Выхватил, читает.) «Система Помпадур. Придворный поставщик Павел Буре, Петербург». (Байбакову.) Ну, голубчик, ты у меня этот механизм починишь... а то я тебя так почию...

Байбаков. Для че не починить? Механизм — пуштынный!

Курицын-сын. Ну, поговори у меня! (Смотрителю.) Средактировали? Читайте. (Байбакову.) Ты — слушай!

Смотритель (читает). «Показания самопроизвольно родившегося Василия Байбакова. Будучи приглашен к высокой особе, я вошел и увидел их...»

Байбаков (изображает). Вот этак вот: как бык!

Смотритель. «...увидел их в глубоком размышлении о... о рогатом скоте. По окончании означенного размышления я получил от них собственноручный приказ касательно исправления... ммм... испорченной идеологии...»

Курицын-сын. Так! Так! Очень удачно!

Смотритель. «...причем они отделили от себя... ммм... идеологическое украшение организма и вручили оное мне. По исследовании таковое ока (залось) весьма подмоченным. Я, нижеподписавшийся, сим обещаю и клянусь, что заказ исполню в течение...» Какой срок записать?

Курицын-сын (Байбакову). Чтоб мне... через четверть часа было готово!

Байбаков. Ваше благоро...

Курицын-сын (Квартальному). Запереть его-туда! (На палаты.) И если в срок не кончит — дать ему защиту в высшей мере!

Байбаков. Ваше бла...

Его сопровождают в палаты и запирают.

Курицын-сын (садится, обессиленный). Ф-фу! Господа, что же это такое? Час от часу не легче! Может, просто — страшный сон приснился? (Пододвинутому Квартальному.) Ну-ка, любезный, утшини меня... (Квартальный щиплет.) Ой! А ты уж, дурак, и обрадовался... изо всей силы... Пошел вон! Стой: поди, узнай, как там... народ... живет! (Расгирая утшинутое место.) Нет, не сон... дурак этакий! (Вскакивает.) Господа... а вдруг этот прохвост Байбаков ничего не сделает?

ПРОИСШЕСТВИЕ ТРЕТЬЕ:

«ДЕВКИ»

Город Глупов. Ночь. На погребальной колеснице — стоят две стеклянные банки, а в них — тела Брудастого и Дубляката. Возле банок — Доктор, с четвертной бутылкой спирта. Внизу — Курицын-сын, Смотритель, Предводитель, Казначей, Квартальный.

Доктор откупорил, нюхает, пробует.

Курицын-сын. Да лейте же вы, лейте скорее!

Доктор. А может... не надо?

Курицын-сын — настаивает: ведь когда-нибудь начальство явится, а без вещественных доказательств разве оно нам поверит? Доктор льет спирт, закупоривает банки. Смотритель произносит кратко, но трогательное слово о высоком уме и талантах почившего...

Куриц (ын) - сын. Почивших!

Смотритель. И да будет вам земля...

Кур (ицын) - сын. Банка! Банка!

Смотритель. И да будет вам банка пухом!

Рыдания. Похоронный марш. Колесница — в нее впряжен Предводитель — отъезжает... Похоронный марш переходит в фокстрот. Втанцовывает девка-Амалышка с тремя унтерами-Будочниками.

1-й унтер. Амалышка! Ты подумай: после кого мы с тобой будем... Ведь ты, можно сказать, собственноручная!

2-й унтер. Ничего она, толстомяса, не понимает... Амалышка говорит, что не только понимает, но такое им сейчас скажет, что они ей в ноги бухнутся. На этот предмет все четверо идут в кабак. Появляются осиротевшие, тоскующие без начальства Глуповцы. Пока они скорбят, Амалышка подпошла своих унтеров и выходит с ними. Пьяные унтера кричат: «Вот она матушка наша, Амалышка Карловна!»

Чудак. Да это расхожая девка — какая же она матушка?

Унтера. Мясá, мясá-то у ней, гляньте, какие! Винищем-то поит как!

Глуповцы все еще не сдаются. Амалышка спрашивает: а видали, как утром она от него, батюшки, выходила? Не понимают разве, что она ее собственноручно удостойла? Так как же не матушка? А водки желаете?

Глуповцы. Жалаим! Амалыку! Водку! Амалышка Карловна — матушка наша! Красавица наша!

Амалышка приказывает выкатить им бочку русской горькой. С торжеством провозжает Амалыку в князьи палаты. Одного унтера, обнявши, она уводит с собою, а двух других оставляет на крыльце — ждать, пока придет их черед, — дает им билетики с номерами. Народ идет к бочке. Входят Курицын-сын и остальные. Унтера сияют на крыльце, курят сигарки и никакого почтения не оказывают.

Предводитель. Ура!

Кидается на крыльце. Унтера хватают его: «А у тебя билет есть?» Предводитель олешил. Амалышка на шум выходит и приказывает привести к ней чиновных. Стоит на крыльце, обнявши с унтером, и допрашивает чиновных: признают ли они ее матушкой? Все отказываются, кроме Смотрителя: этот очень ловко вывертывается — и как будто матушкой признает, и как будто по матушке обложил. Но Амалышка и этим удовлетворена, Смотритель остается на свободе, прочих же унтера заперают в полицейской будке — впрямь до радостного утра, когда им головы с плеч снесут. Из окошечка будки Кур(ицын)-сын и другие стыдят Смотрителя. Смотритель развивает теорию, что голова для человека интеллигентного — предмет необходимый (без головы — как же, например, зубы чистить?), а стыд — как известно, не дым и глаза не выест. От бесстыдства же происходит большая польза, и пока вот они, скажем, под замком будут сидеть, он под Амалышку мину подведет, а какую — это секрет. С тем и уходит. Вваливаются подвыпившие Глуповцы — с гармошкой. Саговая-Голова от благодарного народа преподносит Амалышке скипетр — позорительно-фаллического вида; когда скипетр взят в руки — табакерочная музыка в нем играет «чижика». Амалышка восхитена и производит Саговую-Голову, во-первых, в унтеры, а во-вторых — в маркизы. Часовщик Байбаков во время церемонии помирает со смеху. Когда Амалышка узнает, что он-то и сделал скипетр, она хочет его тоже произвести в маркизы. Байбаков, захлебываясь от смеха, говорит, что он этот инструмент для потехи сделал. Амалышка сылает его в Стрелецкую слободу — Байбакову еще смешнее: да ведь он там и всегда живет. Казначейша, прикрикнув на Казначая, велит ему немедленно признать Амалыку, что Казначей и далает — из окошечка будки. Казначая выпускают и производят в маркизы Бланманж. Издали — крики: появляется Смотритель с Ираидкой и ее четырьмя унтерами, Ираидкины унтеры провозглашают: «Вот она — настоящая, природная матушка наша, Ираида Лукуншина!» Глуповцы сперва и слышать не хотят, но Смотритель приводит резоны: «А как она утром от батюшки нашего выходила — все видели? Ну, стало быть, и она тем же миром мазана, как и Амалышка. А только Амалышка — колбасница, немка, а та — наша, при Давковинный мир



родная...» Глуповцы почесываются. Ираидка кидает в толпу горсть медных пятак, Глуповцы кидаются, погбирают, кричат: «Ираида Лукуншина, матушка наша!» Амалышка выходит на крыльцо. Краткий словесный бой между нею и Ираидкой скоро переходит в военные действия: Амалышка со своими унтерами и маркизами — на крыльце палат, Ираидка — со своими — на крыльце кабака или острога. Глуповцы тоже разделились — уже засучили рукава и сейчас пойдут стена на стену. Маркиз Саговая-Голова не выдержал — тоже засучил рукава и, бросив Амалыку, идет биться на кулачки — его зовет к себе и та, и другая стена. Пахомыч уговаривает Глуповцев, чтобы унялись — хотя бы на развод-то оставили. Не действует: сейчас начнется сражение... Вбегает часовщик Байбаков: хохочет, за живот держится: «Дунька-то... Дунька-то Толстойята...»

Глуповцы. Что — Дунька?

Байбаков. У Амалышки сколько унтеров? Трое? У Ираидки? Четверо? А у Дуньки — все, никому отказа нету, наши слободские к ней валом валят, обьявили ее матушкой... Ну-ка за кого вы теперь?

Новый вестник — перебежчик с Дунькиной стороны — сообщает, что Дунька выпустила на Глуповцев большой клоповный завод: тучей сюда ползут. Смотритель призывает объединиться по случаю империалистической опасности, грозящей со стороны третьей силы — Дуньки. Глуповцы хватают обеих — и Амалыку, и Ираидку — и сажает их в клетку. Унтеров ведут окунать в реку. Спорят, как быть с Казначеем: тоже окунать — или его нельзя, как он есть маркиз? Появляется клоповное войско Дуньки: ползут... Некий безумный храбрец из Глуповцев кидается на клопов с кулаками — и нету: съеден во мгновение ока. Глуповцы в страхе пьются. Из будки Курицын-сын и другие кричат, молят, чтобы их выпустили... Вдруг — слышен камаринский марш, быстро входит отряд Оловянных солдатиков с пушкой, и на белом деревянном коне въезжает новый князь — Великанов. Он командует: «Пли!» — и падит из пушки горохом. Кучка Глуповцев падает — убиты.

Остальные. Вот это так палит! Вот это настоящий! Слава тебе, господа: дождали!

Из будки — крик: «Урраа-а!» Предводитель высаживает дверь и вываливается наружу, за ним остальные. Великанов поворачивает пушечку на занимающее позиции клоповное войско: «Пли!» Клоповное войско ползет назад. Курицын-сын рапортует: «Честь имею доложить вашему... соседу, что в городе все благополучно, утоплено семеро унтеров, наличко состоит три самозванки — Амалышка, Ираидка да Толстойята Дунька...»

Великанов. Подать сюда Дуньку!

За сценой визг. Квартальный докладывает, что отступившие клопы накупились на Дуньку и съели ее без остатка.

Великанов. Подать сюда Ираидку с Амалькой! Снимают веретье, каким была покрыта клетка с Ираидкой и Амалькой: их там нету.

Великанов. Это что же значит, а? Доктор производит осмотр и докладывает, что обе они съели друг друга — остались одни косточки.

КОНЕЦ ПРОИСШЕСТВИЯ ТРЕТЬЕГО:

Предводитель кричит: «Урра-а!» Глуповцы, следом за ним: «Урра-а!»

ПРОИСШЕСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ:

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Площадь. Достопримечательности: колокольня и неоконченный монумент. Монумент изображает собою погнатога на дыбы огромного белого коня — всадника еще нет. Входят Пахомыч и Евсеич, за ними несколько Глуповцев.

Пахомыч. Да отстаньте вы от меня! Ну, чего, чего еще надо?

Глуповцы. Жрать!— Жрать хочца!— Горчицу не жалаим!— Лавровый лист не жалаим!

Евсеич. Братцы, потерпите! На том свете вам и ситный, и убойна — все будет...

Глуповцы. Не жалаим!

Пахомыч. Да вы что ж это: против него самого против батюшки нашего слова говорите?

Глуповцы (оробели). Да нешто можно!— Да избай бог! — Да мы ничего...

Пахомыч. Ну, то-то... (Уходит.)

Крамольники (Глуповцам). Эх, вы!— Так вы и будете терпеть — пока не сдохнете?

Глуповцы. Бей Крамольников!

Крамольники (отбежав в сторону). Пропашее наше дело!— Ничем их не проймешь!

Байбаков-возле них, прислушивается — вдруг что-то придумал, хохочет.

Крамольники. Ты чего?

Байбаков. Скидайвай сапоги!

Крамольники. Зачем?

Байбаков. А мы из сапогов щи сварим: как щи увидят — все за вами побегут... Я их знаю!

Зажигают примус, сейчас будут варить щи. Появляется под руку разряженная пара, кавалер в удивительной треуголке с перьями. Вся компания всполошилась. Вдруг Байбаков хохочет: «Да это наш-Садовая-Голова с Садовой! Эй, Садовая-Голова, подь сюда!»

Садовая. Заткни хайло-то! Я тебе не Садовая: я — маркиза... Маркиз, Митька, пойдем...

Казначей с Казначейшей — идут навстречу.

Садовая (к ним). Ах, здрасьте-здрасьте! Маркиз, Митька, — шляпу скинь!

Входят: Курицын-сын, Смотритель просвещения, Предводитель, Доктор, Квартальный, Крамольники и Байбаков — с примусом, с горшком, — прятуются внутри коня-монумента. Курицын-сын приказывает Квартальному согнать народ: сейчас начинается. От него допытываются: что начинается?

Курицын-сын. Не уполномочен сообщить... Одно скажу: нечто на предмет цивилизации...

Бегают Глуповцы, снимаемые Квартальным и Будочниками. Кур(ицын)-сын объявляет им, что сейчас начнется, а пока что — Квартальный производит сбор добровольных пожертвований на окончание монумента.

Глуповцы (почесываясь). Та-ак...

Квартальный подходит с тарелочкой для сбора к Чудаку.

Чудак. А сжели я, например, не желаю?

Кварт(альный). А не желаешь — в кутузку сядешь.

Чудак. Да ведь сказано — добровольно?

Кварт(альный). Чуда-ак! А как же не добровольно? Выбирай сам что хочешь: хочешь — жертвуй, хочешь — в кутузку...

Чудак и другие Глуповцы, почесываясь, жертвуют. В это время наверху, над колокольней, показывается летающий Великанов: летает, приветствуя ручкой.

Курицын-сын. Шляпки долой!

Глуповцы. Да где же он? Где батюшка наш?

Курицын-сын воздевает руки к небу. Все увидели — изумление.

Евсеич (умилен). Глядите, глядите... Батюшка-то наш... чисто херувимчик!

Маркиза-Бланманже-Казначейша. Ангел! Папильон!

Маркиза-Садовая. Маркиз, Митька, да куды ты рыло воротить — вон он — вон он!

Вдруг Великанов флягой сюртука зацепился за крест колокольни и повис. Смятение. Дамы в отчаянии, Кур(ицын)-сын и остальные растерялись.

Маркиза-Садовая-Голова. Очень просто: колокольню свалить... Это — певое дело!

Великанов. Сто-ой! Смирнаа!

Курицын-сын. Тсс... Тсс...

Великанов (читает). «Приказ № 1: а) объявляется всеобщая цивилизация, б) предписывается сеяние и употребление в пищу горчицы и лаврового листа, в) воспрещается сеяние нецивилизованных злаков, как то ржи, картошки, гороху и прочее» (Глуповцам.) Поняли?

Глуповцы — переглядываются, почесываясь.

Великанов. Пля!

Пушка палит горохом.

Глуповцы (поспешно). Поняли! Поняли! Поняли! Пятятся назад — Великанов насегает на них белым конем.

Предводитель. Урраа!

Оба сейчас кинутся на колокольню.

Кур(ицын)-сын. С ума спятили? Стойте! Где Байбаков? Байбаков! Байбаков!

Байбаков высунулся из коня — с ложкой в руке — опять спрятался. Часть Глуповцев увидела его: «Да он там чей-то лопает! Айда к нему!» Но Великанов уже отцепился от колокольни, под музыку плавно опускается вниз и усаживается на монумент — на коне. Усевшись, спрашивает: «Ну, поняли?» Глуповцы почесываются.

Великанов. Да как же вы смее не понимать, когда я собственным примером показываю вам цивилизацию в виде летания?

Чудак. ...от хорошей жизни не полетишь...

Великанов. Что-о?

Пахомыч. Он говорит, что жизнь-де наша хорошая, и так всем довольны. Благодарим покорно...

Великанов. То-то! (Курицыну-сыну.) Цивилизацию исполняют?

Кур(ицын)-сын. Как же, вашество! Все — как приказано... Горчица... лавровый лист...

Великанов. Мореходство у вас есть?

Кур(ицын)-сын. Ни-никак нет, вашество...

Великанов. Эт-то почему такое?

Кур(ицын)-сын. Потому, вашество... моря никакого нету...

Великанов. Не возражать! Завтра же начать постройку Ноева ковчега!

Кур(ицын)-сын. Слушсс... вашество...

Великанов. Промышленность есть?

Кур(ицын)-сын. Как же, вашество... Это самое... ла... лапти, например... (Толкает в бок Смотрителя.)

Смотритель. Часовщик у нас, вашество, есть... Байбаков...

Великанов. Ну?

Смотритель. Часы изобрел: за одни сутки — двое суток показывают...

Великанов. Молодец! Выдать ему... горчицы!

Предводитель. Урраа!

Великанов. Спасибо. (Предводителю.) Подойди поближе. Где воспитание получишь?

Пред(водитель) (так же, как отвечают «Здравия желаю»). В заведении искусственных минеральных вод, вашество!

Великанов. А-а... это промышленность, которая... ну... шипит?

Пред(водитель). Так точно, шипит, вашество!

Слышится громкое шипение — и у коня из-под хвоста вырывается струя пара.

Великанов. Эт-то что такое?

Пред(водитель) (растерянно). Ши-шипит... (Пробует заткнуть рукою — обжег.) Ой!

Все кидаются к коню и стараются прекратить ужасное шипение.

Доктор. С научной точки — это изнутри, вашество! Великанов. Открыть нутро!

Открывают. Оттуда — навстречу нескольким Глуповцам — высвобождается с горшком шей Байбаков: «Ши, ребята, готовы! Кто шей хочет?»

Курицын-сын. Взять его! Взять их!

Глуповцы окружили Байбакова и Крамольников — хватают у них ложки, хлебают щи.

Великанов. Эт-то что такое?

Глуповцы. Ши... Ши из сапогов...

Великанов. Горчицы не хотите? Лаврового листу не желаете?

Глуповцы все как один бухаются на колени, молчат.

Великанов. Ну?

Глуповцы. Уволь от горчицы... — Невмоготу больше... — Не жалаим! — Потуда с коленей не встанем, покуда не уволишь...

Великанов. Как-ак? Бунтовать... на коленях? Да я васс... Эй, артиллерия! (Глуповцам — разъярясь все больше.) А-а, бу-унт? Бу-бу-буунт! Бу-бу-бууу...

Щеки у Великанова от ярости надуваются, и сам он — на глазах у всех — заметно увеличивается в объеме.

Евсейч. Смотрите, глядите: **гневается-то** как—инда раздуся! Мать пресвятая... что ж это будет?

Входят Оловянные солдатики с артиллерией, впереди — горнист. Великанов выхватывает у него трубу, трубит сигнал — раздувается еще больше.

Курицын-сын (Глуповцам). После третьей трубы — палить будет... Сдавайтесь!

Глуповцы молчат. Великанов трубит еще раз.

Кур(ицын) - сын. Да вы что — ослепли? Не видите: на него глядеть страшно... Сдавайтесь!

Пахомыч. Братцы, ай и правда — сдаться?

Чудак. Все одно подыхать-то...

Глуповцы. Так! Так! Пушай палит!

Великанов в третий раз подносит трубу ко рту — сейчас протрубит последний раз... Пока все это происходит — появляется Неизвестный молодой человек в очках, с портфелем и записной книжкой, тихо что-то говорит Смотрителю просвещения. Смотритель сломя голову кидается к Великанову и в ужасе кричит ему: «Вашество... Открыли... Нас — открыли!»

Великанов. Как?

Смотритель. А так, что ввиду сверхурочной цивилиза-

ции нам даже, если угодно, и рапортов писать некогда было, про нас и забыли, а теперь — вот он...

Великанов. Кто?

Смотритель (берет у Неизвестного молодого человека документ и читает). «Корреспондент газет и эксперт наук для открытия удивительных явлений природы».

Великанов (свирепея и раздуваясь до невероятной толщины). В га-зе-ты?

Неизвестный молодой человек. Так точно.

Великанов. Прро нас-ас?

Неизвестный молодой человек. Про вас.

Великанов. Прро меня-а-а?

Неизвестный молодой человек. Именно.

Великанов, указывая артиллерии на Молодого человека, подносит к губам трубу, надувает щеки, раздувается весь до последних пределов... и вдруг — лопается с треском и падает...

Евсейч. Гос-споди, Никола-Угодник!

Чиновные. Что? Что это?

Доктор — нагибается, глядит и провозглашает: «От чрезмерной ярости — лопнул»...

ПРОИСШЕСТВИЕ ПЯТОЕ:

«ГРЕХОПАДЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ»

Князь палаты, острог, кабак. Но острог теперь украшен нежно-альми розами, а кабак — белыми лилиями. Цветами увенчана также и полицейская будка. Кроме того, сооружен из цветов грот с бугуарным фонтанчиком и соблазнительной кушеткой. Ночь, окна в палатах освещены, отсюда слышна музыка. У входа — Квартальный и несколько Будочников. Поодаль группа глазющих Глуповцев — с Пахомычем и Евсейчем. Дверь в палатах распахивается, оттуда выбегают одетые в маскарадные — очень вольные — костюмы, пронсятся со смехом и криками, снова скрываются в палаты. Снаружи остаются: Казначей с Казначейшей, Садовая-Голова с Садовойхой, Курицын-сын. Казначейша — одета по Ватто, костюм к ней очень идет. Казначей — Меркурием, с фиговым листком, с крыльями на пятках, в одной руке жезл, другой рукой — стыдливо прикрывает фиговый листок.

Казначейша (Казначей). Мучитель мой... **опять** он! Ну, кто, кто ты?

Казначей. Ка-казначей...

Казначейша. Боже мой... да запомни же: ты, идиот,— Меркурий.

Казначей. Я... я идиот Меркурий...

Казначейша. Так как же ты стоишь... ну?

Казначей становится на одну ногу — в позе Меркурия.

Казначейша. Вот... станешь перед ним так и скажешь ему...

Казначей. Ко...кому?

Казначейша. Ему — самому... нашему ангелу... Скажешь, что маркиза — сторает и что только он может залить пожар.

Казначей. Пожар... Слушаю, матушка... (Уходит.)

На освещенном месте появляются Курицын-сын, Садовая-Голова и Садовиха. Садовая-Голова — в фраке с чужого плеча, рукава коротки. Садовиха — в современном, коротком — выше колен — платье.

Курицын-сын (Садовой-Голове). Поздравляю. Вы заметили, как он сам, батюшка наш, благосклонно смотрел на вашу супругу?

Садовая-Голова (Садовихе). Ну, если ты будешь еще перд ним голыми титьками трясти, я тебе... во! (Кулак.) **Очень** просто!

Садовиха. Маркиз... Митька, пользы ты своей не понимаешь.

Курицын-сын (Садовой-Голове). **Да... Любовь к отчеству...**

Садовая-Голова. Не тем местом она любит!

Курицын-сын. А каким же, по-вашему, любить?

Садовая-Голова. Я ей покажу, каким...

Курицын-сын. Тссс! (Уводит обоих.)

Пахомыч. Ну, братцы, до-ожили! При новом-то при батюшке — каждый день масленица!

Крамольник. Погоди: будет и великий пост. Вон: слышишь?

Издали — чуть слышна барабанная дробь.

Пахомыч. Это... что же такое?

Крамольник. А вот как придет — тогда узнаешь, что такое...

Пахомыч. Да ты что страшась, что каркаешь? Крамольник!

Глуповцы. Бей Крамо...

Курицын-сын (подбегает). Тсс... Вы, Головотяпы!

Пахомыч. Ваше курицынство... да это не мы, это — Крамольники...

Курицын-сын. Как, опять они? Ну чего чего им, подлецам, еще надо? (Квартальному.) Если **сам** выйдет — береги его, ни на шаг от него не отходи... слышишь? Избави-

бог что случится — ты в ответе...

Кварт(альный). Слушссс...

Грустилов — выходит из палат с Пфейфершей; сзади у него, на мундире, крылья — не то ангельские, не то петушинные — и хвост.

Глуповцы. Сам... Глядите: сам, сам... — Батюшка наш... — С крылышками...

Байбаков (мимо которого проходит Грустилов). А-а... Пахнет-то от него как... Видать — пищу легкую принимает...

Крамольники громко фыркают.

Курицын-сын (кидаясь к Глуповцам). Вон... Вон откуда... все!.. пока целы...

Глуповцы уходят. Курицын-сын и остальные исчезают в неосвещенных углах, дабы не мешать **самому**. Один только Квартальный, непрестанно отгавывая честь, на цыпочках идет сзади Грустилова.

Грустилов. Какая поэзия! Что за ночь, что за луна... с правой стороны... (Цитирует нечто высокопоэтическое из Вертинского.) Какое неземное благоухание! (Наклоняется к корсажу Пфейферши.)

Пфейферша. Это — лориган. Я — грешница — я обожаю духи, цветы... и митрополита Введенского...

Грустилов. Цветы — дети земли... Я хочу подарить вам хотя бы такое дитя... (Нагибается за цетком.)

Квартальный — немедля кидается, срывает цветок и подает его.

Грустилов (Квартальному — с ласковым бешенством). Mon sieur agent, в ночное время вы можете не утруждать себя исполнением служебных обязанностей...

Кварт(альный). Слушсссс... вашество... (Отходит.)

Казначейша (подлетая к Квартальному). Ты что же — погубить его хочешь? Тебе это приказано? Чтобы ни на минуту не оставял его!

Кварт(альный). Слушсссс... (Снова следует за Грустиловым.)

Грустилов прикалывает цветок к корсажу Пфейферши.

Пфейферша. Нет, нет... оставьте меня... Я мечтаю только об одном: об уединенной келье...

Грустилов. Келья... Келья... Ке-ке-ке-ко-ко... (Распустив крылья и хвост, по-петушному кружит около Пфейферши, загоняя ее в грот.)

Квартальный, уловив момент, кидается в грот и прячется там за кушеткой.

Пфейферша (Грустилову — в гроте). Что вы делаете... что вы делаете? Скорее... ради бога, скорее...

У Грустилова, продолжающего петушиное действие, вдруг **отваливается хвост**.

Квартальный, не выдержав, поднимает его и подает: «Вашество... Хво... Хвостик ваш...» Пфейферша: «Ах» — и убегает.

Грустилов (Бешено). Русским языком тебе, пррохвост, говорю: не смей поостерегать меня... Вон, мерзавец!

Грустилов, разгневанный, выходит из грота. Казначейша толкает в спину Казначей, тот становится перед Грустиловым в позу Меркурия, но от страха сказать ничего не может, кроме: «Ва-ва-ва...» Потом обгоняет Грустилова еще раз и наконец выпаливает: «Ва-вашество... П-п-по... пожар!»

Грустилов. Где? Что? Сюда! Сюда! Пожар!

Курицын-сын (выскакивает). Вашество... я здесь... Осмелюсь доложить: пожар, так сказать, символический...

Грустилов. Как?

Курицын-сын (показывая на появляющуюся из тени Казначейшу). А вот она вам объяснит.

Грустилов (расцветая). Маркиза... вы? Что за ночь, что за луна с правой стороны... Лампада, келья... ке-ке-ке...

Казначейша. Ну да! Пошла...

Идут к **гроту**. Грустилов кружит около Казначейши по-петушному.



Казначейша (Мужу — шепотом.) Стой, идиот, у входа, стереги, чтобы никто... Слышишь?

Казначей в позе Меркурия становится на страже. Грустилов, войдя в грот, опускает занавеску, на освещенной изнутри занавеске — видна весьма увлекательная игра теней.

Пфейферша (созерцая все это). Нет... нет! Боже мой, ты поможешь мне — чтобы от меня... меня...

Перед нею появляется Миша-Возгрявый, сморкается натуральным способом, потом сует ей руку: «Цалуй!»

Пфейферша. Кто... кто вы?

Миша. Не узнала? Я те, мила, покажу-у, кто я... (Тащит ее в полицейскую будку.)

Снова распахивается дверь в палатах, музыка — слышнее. Выходят замаскированные и танцуют танго. Из полицейской будки выходят Миша-Возгрявый и Пфейферша.

Миша. Ну, што, мила, поняла?

Пфейферша (на коленях). Да, да, да... Спаситель мой, божество... божество мое... алмазик...

Миша (дает ей крест и сверток). На... Бери, делай...

Пфейферша переодевается в монашеское платье. Из грота выходят Казначейша и Грустилов. Навстречу — Квартальный.

Грустилов (ему). А-а... Это ты, братец! Ну... что? (Квартальный трепещет.) А-а... Скажи, братец, что, например... тетерева у вас водятся?

Квартальный. Рад стараться, вашеество!

Грустилов. Я, братец, знаешь, люблю иногда... Хорошо иногда посмотреть: как весною тетерева... это самое... понимаешь?

Квартальный. Рад стараться, вашеество! Садовиха — появляется из тени, Грустилов кидается к ней, распустив крылья, не успевает сделать и одного петушиного круга — останавливается как вкопанный, на пути у него — крест, воткнутий в землю Пфейфершей.

Грустилов. Что... что это? (На верху креста загорается лампочка.) Что это такое? Сю... сюда! Скорее! Подбегает Курицын-сын и остальные — в масках.

Голоса. Знамение... Крест... Загорелось... Горит — смотрите! — Чудо!

Доктор (осмотрев лампочку). Гм... «Осрам», подуваттная.

Голоса. Полуваттная... Слышите? Полуваттно... знамение...

Грустилов (увидел монахиню-Пфейфершу). Кто... кто вы? Не смотрите на меня так!

Пфейферша. Покаясь... несчастный!

Грустилов. Но право же... я... как будто...

Пфейферша. Покайся! Иначе тебя ждет (на крест) — вот это!

Грустилов. Но... но за что же?

Пфейферша (показывая на грот). А там -- что было?

Грустилов. Боже мой... она все, все знает... все видит!

Пфейферша. Да, я все вижу! Ты передо мною — без одежды, голый... И вы все — голые... (Дамы сконфуженно ежатся, Казначей прикрывает свой фиговый листок.) И я вижу ваши тела на улицах — как падали...

Грустилов. Замолчите! (В тишине — слышна жуткая барабанная дробь.) Что это? (Молчание.) Господа... Я чувствую — действительно близко что-то... я не знаю что... Может быть — в самом деле покаяться... на всякий случай?

Казначейша. Да, да... ангел! Покаемся вместе... идем! (Садовиха щиплет ее.) Ай!

Грустилов. Господа... Забудем все, что было... (Цитирует Вертинского.) Дайте... Дайте мне вериги. (Ему подают подтяжки, он надевает их.) Господа, завтра мы раздерем на себе одежды...

Казначейша. Я — согласна!

Грустилов. Мы будем жить в шатрах и питаться только акридами и дикими... устрицами. (Курицыну-сыну.) Пожалуйста, распорядитесь, чтобы с нами поехал Simon от Кюба — он делает такие устрицы à la Monico, что... (Повернувшись к Пфейферше и все больше воодушевляясь.) И если еще к этому бутылочку... (Втягивает ноздрями воздух, наклоняется, обнюхивает Пфейфершу.) Зна... знакомый запах! Какая поэзия!.. Что за ночь...

Пфейферша. Прими руки, несчастный! Ты кощунствуешь!

Грустилов. Ах, да... я, кажется, в самом деле...

Пфейферша. После него — никто не смеет касаться меня!

Грустилов. После... кого?

Пфейферша. После того, кто послан спасти тебя и всех нас. Иди за мною — и ты сподобишься увидеть его...

Снова слышна барабанная дробь.

Грустилов (прислушиваясь). Постойте: опять? (Пфейферше.) Я — согласен. Ведите, скорее — ведите нас! Господа... идемте!

Все идут за Пфейфершей к полицейской будке.

Пфейферша (к будке). Божество... божество мое... алмазик... это я!

Из будки слышно: втягивает носом, отхаркивается, плюет.

Пфейферша (восторженно). Он... он! Вы слышите? (К будке.) Еще... еще скажи нам что-нибудь... Слушайте... Слушайте — сейчас...

Миша-Возгрявый (из будки, диким голосом). Без прачи-ы... не бенды-ы... коломацы-ы-ы...

Пфейферша. Вы слышите? На колени!

Все — на коленях. Миша-Возгрявый — выползает из будки, глядит на всех, сморкается — как в первый раз.

Пфейферша. Дай-дай-дай причаститься мне! (Лобызает Мишины пальцы. Грустилову.) Причащайся... причащайся!

Грустилов (подползает на коленях, вдруг отворачивается). Ф-фу... как пахнет!

Пфейферша. Несчастный! Ты забыл... что ждет тебя? Смирись!

Грустилов. Я... я смирился... (Целует Мишины пальцы.)

Миша встает.

Пфейферша (шепотом). Вставайте... вставайте... можно...

Миша (медленно развязывает полотенце, которым попоясан. Уставившись в Казначейшу и ткнув ее в живот, провозносит.) Бело-бо-ки камушки, бело-пу-пы дамочки... Бело-боки камушки — бело-пу-пы дамочки, бело-боки камушки — бело-пу-пы дамочки...

Повторяя священные слова быстрее и хлеща себя полотенцем, Миша-Возгрявый начинает кружиться, за ним — Пфейферша, потом Казначейша, Грустилов и остальные. Только Доктор и Курицын-сын стоят в стороне.

Курицын-сын. Позвольте... что ж это... что ж это... Снова барабанная дробь — все ближе, но никто ее не слышит: неистовое кружение, визги, всхлипы. Предшествуемый барабаничками, внезапно появляется Угрюм-Бурчеев, идет по прямой линии, против крыльца поворачивается под прямым углом и скрывается в палатах. Никто не видит его, кроме Курицына-сына, который вращается за Угрюм-Бурчевым, как компасная стрелка, входит следом за ним в палаты — и через секунду вылетает обратно с бумагой в руке.

Курицын-сын. Господа! Господа... последнее происшествие!

Все мгновенно останавливаются.

Курицын-сын. Господа... вот... бумага: прибыл и водворился новый наш батюшка... Угрюм-Бурчев...

Предводитель. Урр... эп... (Слохвотившись.) А... а... а как же прежний?

Остальные. Да, а как же это? — Позвольте: да где же он? — Господа, где же он?

Курицын-сын. Да, где же он, в самом деле? (Ищут. Грустилов исчез.) Что же это? Ведь только сейчас он был тут...

Садова-Голова. А может, его вовсе даже и не было?

Курицын-сын. Позвольте... что же это? Во сне все... или я спятил?

Из палат слышна барабанная дробь, все застывают, вытнувши руки по швам.

Пфейферша. Кайтесь! Кайтесь! Скорее! Настали последние времена!

ПРОИСШЕСТВИЕ ШЕСТОЕ:

«ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА»

Улица. Задний фасад острога, перед ним — полукруглая клумба с цветами. В клумбе — полицейская будка, украшенная огромным расписанием. Несколько глуповских изб. Ни живой души: пусто. Слышна барабанная дробь. Входит Барбанщик, за ним — Угрюм-Бурчеев.

Угрюм-Бурчеев (командует самому себе и сам же исполняет команду). Ра-авнение налево... шагом... арш!левой, правой... левой, правой... Стой! На первый-второй рассчитайся! (Разными голосами.) Первый! Второй! Первый! Второй! Первый! Второй... Смирнн! Ряды вздвой! (Вздвигает.) Прямо-о... шагом... арш!

Идет на клумбу. В конце упражнений Угрюм-Бурчеева входят Курицын-сын и несколько Будочников.

Угрюм-Бурч(еев) (прет прямо на клумбу, по цветам. Вдруг взглянул под ноги — и). Стой! (Показывая Курицыну-сыну на клумбу, бесстрастно.) Зачем?

Куриц(ын)-сын. Цветы-с... Растут-с...

Угрюм-Б(урчеев). Зачем?

Куриц(ын)-сын. Н-не... не могу знать, вешество... Как будучи при вашем предшественнике... так сказать, наследие прошлого...

Угрюм-Б(урчеев). Ни прошлого, ни будущего нет. Летоисчисление упразднить.

Курицын-сын. Слушсс... вешество!

Угрюм-Б(урчеев) (нагнувшись, командует цветам). Смирна-а! На первый-второй рассчитайся! (Ждет. Потом — Курицыну-сыну.) Почему не исполняют?

Куриц(ын)-сын. Вешество, осмелюсь доложить... они... не могут... Будучи, так сказать, природная, неразумная стихия...

Угрюм-Б(урчеев) (туло глядит на цветы. Потом). Не могут? Истребить!

Куриц(ын)-сын и Будочники кидаются на цветы, истребляют. С разных сторон — барабанная дробь, входят три роты Глуповцев. В 1-й роте — Смотритель просвещения, Предводитель, Доктор, Казначей, Казначейша, Пфейферша и другие; среди них — Наблюдающий за течением мыслей — с записной книжкой; во 2-й роте видны Пахомыч, Евсеч, Байбаков, Чудак, Крамольники и свой Наблюдающий с записной книжечкой. Все одеты в одинаковые серые казакины.

Угрюм-Б(урчеев) (ротам). Стой! (Подходит к расписанию на полицейской будке.) Сегодняшнее расписание... (Читает.) «6 часов — утренний звонок. От 6 1/4 до 6 1/2 — очищение зубов и других частей тела согласно инвентарному списку. От 6 1/2 до 6 3/4 — возглашение ура. От 6 3/4 до 7 — принятие хлеба и дистиллированной воды. В 7 — явка на занятия поротно...» Все явились?

Командир 2-й роты. Честь имею доложить: во вверенной мне 2-й роте № 13 не явился.

Угрюм-Б(урчеев). Почему?

Командир 2-й роты (робея). Он... извините... сднчался...

Угрюм-Б(урчеев). Без разрешения? (Курицыну-сыну.) Арестовать его!

Куриц(ын)-сын. То есть... как?

Угрюм-Б(урчеев). Арестовать!

Куриц(ын)-сын. Слушсс...

Угрюм-Б(урчеев) (глядя в расписание). Занятия: 1-я рота — словесные испытания, 2-я рота — истребление гор и прочих беззаконий природы, 3-я рота — истребление несъедобных животных и птиц... 2-я рота, левое плечо вперед... шагом... арш! 3-я рота правое плечо вперед... шагом... арш! 1-я рота, на месте... шагом... арш! (Барабанный бой, роты расходятся, остается 1-я — шаг на месте.) Стой!

1-я рота останавливается.

Угрюм-Б(урчеев) (водит взглядом, выбирает жертву. Смотрителю просвещения). Три шага вперед — арш! Смотритель выходит.

Угрюм-Б(урчеев). Что есть наш город?

Смотритель (чеканит). Наш город есть пять полков. Полк есть пять рот. Рота есть пять взводов или, иначе, домов. Во главе каждого полка, роты и взвода — командир и Наблюдающий за течением мыслей. Во главе же всего — батюшка наш господин Угрюм-Бурчеев, ура.

Угрюм-Б(урчеев). Что есть дом?

Смотритель. Дом есть поселенная единица, имеющая своего командира и своего Наблюдающего за течением мыслей. В каждом доме находится по одному экземпляру каждого полезного животного мужского и женского пола, которых обязаны: а) производить работы согласно расписанию и б) размножаться.

Угрюм-Б(урчеев). Как необходимо б) размножаться?

Смотритель. б) размножаться необходимо согласно таблице размножения, соединяющей экземпляры мужского

и женского пола по росту и прочим племенным качествам.

Угрюм-Б(урчеев). Без ошибки. Без единой ошибки. Ты достоин награды. Назначай тебя Наблюдающим... за мной.

Смотритель. Как?

Угрюм-Б(урчеев). Хотя неправильное течение моих мыслей и маловероятно, но если бы таковое возникло, ты обязан донести.

Смотритель. Кому?

Угрюм-Б(урчеев). Мне.

Смотритель (трепеца). Вешество...

Угрюм-Б(урчеев) (твердо). Мне. (Куриц(ыну)-сыну.) Выдать ему установленную записную книжку... (Выбирает новую жертву. Казначей.) Три шага вперед... арш!

Казначей — с подгибающимися коленями — выходит. Угрюм-Б(урчеев). В каком городе ты живешь? Казначей. Я... я... я... — в Глупове.

Угрюм-Б(урчеев). Не знаешь? Забыл, что мною город переименован и называется... ну?

Казначей молчит.

Угрюм-Б(урчеев) (Смотрителю). Ты!

Смотритель. Не-пре-клонск, вешество, — в честь непреклонных качеств вешества!

Угрюм-Б(урчеев) (Казначей). Каким ты обязан быть?

Казначей — делает за спиной знаки роте, чтобы подсказали.

Казначейша (сердитым шепотом). Иди-от!

Казначей. Иди... идиотом...

Угрюм-Б(урчеев). Ты не знаешь даже того, что ты обязан быть счастливым! Я тебя научу... Арестовать его! Тишина и всеобщий трепет. Барабанная дробь: под барабан уходит арестованный Казначей и возвращаются с работ 2-я и 3-я роты.

Угрюм-Б(урчеев) (им). 1-я, 2-я, 3-я роты, на месте... шагом... арш! (Стой!) Ротам — стоять вольно, опраться! Каждый десятый получает установленный инвентарь и командировается для отправления естественных надобностей.

Уходит, за ним Смотритель с записной книжкой и собственный его вешства Барбанчик. В ротах — движение. Шныряют Наблюдающие с книжками. Выходят — десятые, получают инвентарь. Во 2-й роте в числе прочих вытаскивают Чудака.

Чудак (артачится). Вот чудно... А если мне, например, не хочется?

Пахомыч. Чудак! Коли велено...

Чудак. Мало бы что велено, а если я — не могу?

Пахомыч (показывая на Наблюдающего). Тише ты... иди, а то — вон он... запишет...

Чудак — вздыхает, идет. В 1-й роте в числе десятых — Саговая-Голова. Вышел, получил инвентарь, подтягивает штаны: «Эх... тесны! Посвободнее мне бы штаны-то...»

Садовиха. Маркиз... Митька! Молчи! Ну... пропал...

Наблюдающий уже около Саговой-Головы что-то записывает в книжечку. Все десятые выстраиваются и уходят. Наблюдающий шнырнул следом за Саговой-Головой.

Предводитель (вытирая пот). Ф-у! Да-а...

Куриц(ын)-сын (побегая). Господа... что же это? Что же это такое? Всякое бывало, и органчик, и расхожие девки, и горчица с лавровым листом, и вертячка, но такого — еще не было...

Пфейферша. Покайтесь! Это — последние времена! Доктор. С научной точки — полагаю, что... (Стучит себя по лбу.)

Куриц(ын)-сын. Да это просто какой-то... (Подходит Наблюдающий.) ... просто какой-то... гений! Да, господа, именно — гений!

Казначейша. Ангел!

Предводитель (уныло). Ура...

Наблюдающий (Предводителю). Вы займете в роте место бывшего маркиза Садовой-Головы.

Предводитель. А-а-а... где же он?

Наблюд(ающий). Арестован. Он требовал конституции и свободных...

Садовиха. Штанов! Свободных штанов... (Наблюдающему.) Голубчик мой... Штанов же ведь — больше ничего!

Наблюд(ающий). Знаем мы эти штаны! Может быть, у кого-нибудь есть сомнения? Пожалуйста, господа, — не стесняйтесь, высказывайтесь... (Держит наготове записную книжку.)

1-я рота молчит. Наблюдающий 2-й роты, что-то настроив в книжечке, уходит. К роте побегают вернувшиеся из командировки десятые.

Один из десятых. Братцы... Чудак-то наш... ау!

2-я рота. Как? — За что?

Один из десятых. Да сел он... все как следует. А потом: «Не могу, говорит, что хошь со мной делай — не могу». Ну, его и увели...

Пахомыч. Ну, до-ожили! Ведь это, братцы, выходит... не тово!

2-я рота. Не тово! Не тово!
Крамольник. Что? Дотáкались?
Другой Крамольник. Князя хотели — получили?
Третий Крамольник. Ну, бейте нас — чего же стоите? Ну?

2-я рота молчит, почесывается. Крамольники отходят в сторону.

Крамольник. А ведь не бьют!
Другой Крамольник. Не бьют!
Третий Крамольник. Похоже — пора начинать.
Крамольник. Пора... Где Байбаков? Байбаков!
Байбаков. Я тута.
Крамольник. Ну, брат, ты башковитый — придумывай... (Байбаков думает.) Да живее — а то он всех пересякает...
Байбаков. Стой! Во! Это самое! Всех! Ха-ха-ха!
Крамольники. Да, что? Что ты?
Байбаков. Всех не всех, а... Ха-ха-ха!
Крамольник. Да будет ржать: говори! Ну?
Байбаков. Ну? Чего у нас сейчас по расписанию положено?

Крамольник. 11 часов и 3/4 — принятие жиров.
Байбаков. Это самое и есть.
Крамольник. Да ты что: белены ему подложить хочешь?

Байбаков. Не-е! Он и так белены объелся — никакой беленой его не проймешь...

Крамольник. Так чего же?
Байбаков. А вот маленько погодите — увидите... (Фыркает. Бежит к 1-й роте.) Эй! Господин Доктор! У меня в носе свербит — поглядя-ка, что там...

Доктор подходит, глядит в нос Байбакову, Байбаков что-то шепчет ему на ухо, Доктор оглядывается кругом, кивает. В это время — барабанная дробь, появляется — с Барабанщиком и Смотрителем — Угрюм-Бурчеев.

Угрюм-Бурчеев. Смирна-а! (Читает расписание.) «11 часов и 3/4 — принятие жиров...» Доктор — три шага вперед... арш!

Доктор подходит с ящичком, вынимает из ящичка пузырек и с поклоном вручает его Угрюм-Бурчееву, который выпивает содержимое. Доктор с ящичком обходит роты, раздает пузырьки, все пьют. Байбаков, подталкивая Крамольников и показывая на Угрюм-Бурчеева, фыркает, зажимает себе рот. Угрюм-Бурчеев подходит к глуповским избам, смотрит на них, чертит в воздухе квадрат, размышляет.

Куриц(ын)-сын. Ну, чего, чего он там еще придумывает?.. Господи, спаси и помилуй!

Угрюм-Бурчеев. (подойдя к расписанию, читает). «От 11 3/4 до 12 — экстренные мероприятия»... Вдруг темнеет.

Угрюм-Бурчеев. (Куриц(ын)-сыну, указывая вверх.) Что это?

Куриц(ын)-сын. Со... солнце-с.
Угрюм-Бурчеев. Обязано светить. Почему не светит?

Куриц(ын)-сын. Оно... извиняюсь... за тучку зашло-с...

Угрюм-Бурчеев. Арестовать!

Куриц(ын)-сын. То есть... к-как?

Угрюм-Бурчеев. (твердо). Арестовать! Тучи упразднить!

Куриц(ын)-сын. Вашество... осмелюсь доложить...
Угрюм-Бурчеев. Упразднить навсегда!

Куриц(ын)-сын. С-с-слушсс...

Ролот в ротах.
Угрюм-Бурчеев. (возле расписания — всем). Смирна! (Куриц(ын)-сыну.) Войска!

Куриц(ын)-сын подает знак, быстро входят и выстраиваются Оловянные солдатики с ружьями.

Угрюм-Бурчеев. Стой! Смирна!

(Пауза.) Сегодня величайший день в истории города бывшего Глупова. И — последний его день. К вечеру города не будет...

(В ротах — движение ужаса.) Смирна-а! Почему избы стоят так? (Рукою — полукруг в воздухе.) Почему — улицы — так? (Тот же самый жест.) Все должно быть — так (прямая — в воздухе)... и так. (Квадрат в воздухе.) Эта будка — есть центр земли. От нее — во все стороны — по прямым — пойдут улицы, иначе — роты. Дома — будут квадраты, четыре сажени на четыре. Всюду — три окна. Перед окнами — палисадник, в коем растут — царские кудри и барская спе... спе... спесь...

(Вдруг замолкает, хватается за живот.)

Байбаков, зажимая рот, фыркает.

Крамольник. Чего ты?

Байбаков. Действует!.. Доктор-то ведь касторки ему вкати...

Куриц(ын)-сын, Смотритель (бросаются к Угрюм-Бурчееву). Вашество... Что с вами?

Угрюм-Бурчеев. Смирна-а! (Оправившись, твердо.) ...только — прямые и соединение прямых, именуемое — квадрат. Прочее — упразднить. Упразднить! Все избы, весь город, все — сломать! Чтобы к вечеру — ничего! Дотла! конец! Получай инвентарь — поротно-о — шагом... арш!

Во 2-й роте волнение.

Евсейч. С нами крестная сила...

Пахомыч. Братцы, что же это, а? Неужли пойдем?

Голоса. Не пойдем... Не пойдем!

Нестройный гомон.

Угрюм-Бурчеев. (изумленно). Они... что такое? (Оловянным солдатакам.) К бою... товсь!

Оловянные солдатики (не двигаясь, нестройно, угрожающе мычат). М-м-ы-ы-ы...

Угрюм-Бурчеев. (еще изумленной). Они... тоже? Почему? (Куриц(ын)-сыну, показывая на Солдатиков.) Арестовать!

Куриц(ын)-сын. Вашество... вашество, осмелюсь доложить... Они — только так... они — сейчас... (Солдатакам.) Братцы... братцы... Честью прошу вас... Христом-богом...

Оловянные солдатики, продолжая мычать, все же вскидывают ружья и прицеливаются в толпу, в толпе — пригибаются, втягивают головы в плечи.

Угрюм-Бурчеев. Получай инвентарь — поротно — бегом... арш!

Роты бегут, вооружаются топорами, снова выстраиваются.

Угрюм-Бурчеев. (подняв топор). Я пойду — первый. Всякий кто остановится, будет арестован. Все... шагом... арш!

Барабанная дробь. Угрюм-Бурчеев — за ним роты — трогаются. Вдруг Угрюм-Бурчеев замедляет шаг, хватаясь за живот.

Куриц(ын)-сын. Вашество... Что — что с вами? Угрюм-Бурчеев. Ни... ничего... (Твердо.) Ничего.

Со мною ничего не может быть. (Ротам.) Пряма-а-а!

Еще несколько шагов — Угрюм-Бурчеев, скорчившись, во всю прыть бежит за угол, за ним — собственный его Барабанщик. Все останавливаются, смятение.

Евсейч. Мать пресвятая!..

Пахомыч. Братцы... братцы...

Куриц(ын)-сын. Вперед! Вперед!

Голоса. Стой! Стой!

Байбаков (умирая от хохота). Ребята... касторка-то... Действует! Доктор касторки ему...

В ротах — хохот.
Куриц(ын)-сын. Тише! Идет... Назад идет...

Барабанная дробь. Предшествуемый Барабанщиком, Угрюм-Бурчеев возвращается.

Смотритель (треща, подходит к нему с книжкой — протягивает). Ва-вашество... Вот...

Угрюм-Бурчеев. Что?

Смотритель. Я... я... если угодно... я — согласно приказу вашества...

Угрюм-Бурчеев. Ну?

Смотритель. Я... я записал... кто остановился...

Угрюм-Бурчеев. Кто?

Смотритель. (не попадая зуб на зуб). В-в-вы, в-вашество...

Угрюм-Бурчеев. (Куриц(ын)-сыну). Арестовать! (Хватаясь за голову.) То есть ко кого? Меня?

Куриц(ын)-сын. Ва-вашество... осме... осмелюсь...

Угрюм-Бурчеев. Арестовать!

Куриц(ын)-сын, треща, хватает Угрюм-Бурчеева, связывает ему руки. Все оцепенели.

Крамольник. Ребята — да связан же он, связан, готов!

Байбаков (хохочет). Ой... ха-ха-ха! Сам себя... Ха-ха-ха!

Крамольник. Ребята... в речку его! Конец ему — конец князьям! Воля!

Глуповцы — все еще не верят, стоят молча. Куриц(ын)-сын и другие чиновные удирают во все лопатки.

Крамольник. Да глядите же, глядите! Воля — говорю вам! Ура-а!

Народ. Ура-а! Ура-а! Во-о-ля! Во-о-ля!

Обнимаются, шапки летят вверх.

Крамольник. Байбакова... Байбакова качай!

Народ. Ура-а! Ура-а! Воля-а! Ура-а! Ура, Байбаков!

Качают Байбакова. Другие — тащат куда-то онемевшего Угрюм-Бурчеева, третьи ломают острог.



ИЗ НАБРОСКОВ К ПЬЕСЕ

— Грустидов появляется — ласковый. Глуповцы — боятся его ласковости. <...>

Науки и иск(усства) под наблюдением кварт(ального) надз(ирателя) (Смотритель). «И правильно: без надзирателей — мы такое искусство разведем... Стишок или сказку про царя Берендея... А может, он, Берендей-то, так зовется, что и вымолвить в этом месте страшно...»

— «Начальство — да как же его не любить-то? Господи! Отцы наши... Ну, там, посекут или подстреляют нас — так разве с нашим братом без этого возможно? Для пользы ведь!»

— Главное, чтоб приговаривали при этом что-нибудь (уд)любезное: «братцы», «ребята». А там — хоть с кашей ешь. <...>

— «Выдумка! Это все в Лондоне про нас выдумывают! Чемберлен — сволочь, знаем мы...» <...>

— Первый бунт Глуповцев: выстраив(аются) в каре: «Не можем без начальства жить! Посечь некому даже!»

— «А то что же? И самый это верный способ — слова, согласные с волей начальства, произносить. Тут уж ошибки не будет». <...>

— Времена либеральные. Слухи о пользе выборного началь(ства). <...>

— Голод: «Ежели нас всех в кучу сложить и с четырех концов запалить, мы и тогда противного слова не молвим. Мы претерпеть можем». <...>

— Книга «Десять лет реформ».

— Разговор с шахом персидским: «Какая страна Вам больше всего нравится?» — «Россия. Политика — никогда, урра — всегда». <...>

— «...Ваше-ство, и сокращение фалд, и удлинение фалд — мы все примем с благодарностью...»

— Курец(ын)-сын произносит юбилейную речь, начинает: «Я — как тов. Державин — истину царям с улыбкой говорил... Прошу поэтов не обижать меня». И начинает... кадить.

— Сочинения: «О необходимости админ(истративного) единогласия как противо(действия) таковому же многогласию», «Краткое рассуждение об усмирениях с примерами», «О солн(ечном) и лунн(ом) затмениях и о преи(муществе) мужественных первых над последними». <...>

— «Двокургов» завести хотел в Гл(упове) Академию, но — вместо нее построил острог — как бы в виде Академии. <...>

— Современное: Китай.

— Монументы... о пользе монум(ентов)... «Почему памятники беспартийным — Гоголю там и пр.?»

— Идеалы («либерал»).

— Разно(е): «Опера Чайковского...» — «Помещика Чайковского!» <...>

— ...Х. **пожелал** умереть. «А удостоверение? От финотдела? От жилтов(арищества) — о квартплате? От библиотеки — о сдаче книг? Нету? Ну, так не умрете... Знаем мы вас: только бы улизнуть, отлынуть!»

— Угр(юм)-Бурчев: отправление естеств(енных) надобностей без разрешения. Необходимо урегулировать. Прежде

всего: дисциплина. Затем: растрата госимущества. Перегонка спирта... удобрение...

— От газет Двокая польза: от их чтения не спит Чемберлен, и спят сов(етские) гражд(ане). <...>

— Изнемогают под бременем счастья.

— Чудеса. Первым уверовал Квартальный, за ним Будочник.

— Представить Мише-Возгрявому кафедру философии.

<...>

— Здания для обуч(ения) гимнастике и пех(отному) строю. Для принятия пищи. Для общих коленапреклонений. Присутств(енные) места именуются штабами.

— Нет ни прош(лого), ни буд(ущего), а потому летоисчисление упраздняется.

— Праздников два: Праздн(ик) Неуклонности и Пр(аздник) Предерж(ания) власти. От будней отлич(аются) усиленной маршировкой. <...>

— Землю пашут, стараясь сохами выводить вензеля, изображ(ающие) нач(альные) буквы имен историч(еских) деятелей...

— Дубинушка. Запеваает сам Угрюм...

— Ни бога, ни идеалов: ничего. <...>

— Все уже понимаем: пришел конец — хотя он еще ничего не говорит.

— Все делают нехотя — к чему? <...>

— Краткость. Непреклонность. Без колебаний.

— Беспристрастность: «Этот хоть на баб глядел... А тот — ярился, горчицу вводил... А этот...»

— Не выносят его взгляда. Смотрит только перед собой.

Сзади не видит.

— Взор, соверш(енно) свободный от мысли.

— Прямая линия: В прямую линию втиснуть весь видимый и невидимый мир — с таким расчетом, чтобы нельзя было повернуться.

— Всобщее равенство — перед шпигрутенном.

— Веселье... «Вы бы, вассество... потанцевали, повеселились». — Не понимает.

— Получил прозвание: сатана.

— Униформа: казачины.

— Д о к т о р. С науц(ой) точки... идиоты — очень опасны.

Против идиотов принимают меры.

С м о т р (е т е л ь). Но это, если угодно, касается простых идиотов. Если же в придачу к идиотству имеется власть...

— Все вопросы решены. Ничего неизвестного. <...>

— «Я васс... Вы у меня все будете счастливыми! А если кто пикнет...» <...>

— Прятали деньги, книги, письма... готовились к «высылке».

<...>

— Остановить солнце.

— Провертеть в земле дыру, дабы можно было наблюдать, что делается в аду.

— «Он скажет: «Я вас разорил и оглупил, а теперь позволяю вам быть счастливыми...» — «Ну, не-ет...» (Крамольники?).

Приложение 3

ПРИВЕТСТВИЕ МЕЙЕРХОЛЬДУ ОТ «ФИГИ»

24-1-1927

- 1) От арх. Введенского и Луначарского: Во время вчерашнего диспута о бессмертии¹ мы с тов. Введенским естественно и неминуемо коснулись вашей уважаемой души. Возлюбленное чадо, да почтеть на вас так называемая благодать. С комприветом. Аминь. Александр. Анатолий.
- 2) От ленингр(адских) сознательных режиссеров: Дорогой мастер! Мы, скромные ленинградские подмастерья, горячо приветствуем «Октябрь, или Упадность режизора»² и идем своим путем по вашей дороге к неведомым идеалам.

В. РАППОПОРТ. С. РАДЛОВ. Н. ПЕТРОВ. ВЕЙСБРЕМ — КРОЛЛЬ
Режиссеры-администраторы: ЮЗОВСКИЙ,
РОГАЦКИЙ³.

- 3) От С. Радлова: Уважаемый тов. Мейерхольд! В телеграмме от ленинградских режиссеров мою подпись прощу считать неразборчивой. От души считаю вас и себя. Жду приветствий.
- 4) От Горького: Обнимаю случае никто не берет согласен фальшивую монету⁴ пополам даже эпизодами Пешков.
- 5) От спичечной фабрики им. Демьяна Бедного: Мы, сознательные работники спичечного фронта, клеймим позором нашего зарвавшегося шефа и (его) прихвостней. Поэтому мы⁵ всей грудью требуем, чтобы наша дорогая фабрика не Демьяна Бедного, а наоборот, нашего дорогого Эмильича. (Да здравствуют спички имени Мейерхольда все как один.) Руки прочь от нашего дорогого нового шефа.
- 6) От ленинградских актеатров: Приветствуем от всей души хотя с другой стороны запятая.
- (6а) От Института истории искусств: Формально прорабатываем Вас под руководством преданного профессора Гвоздева⁶ восклицательный знак готовим ему восторженную полную смену институтки истории искусств.)
- 7) От Рояльда Амундсена: Дорогой товарищ по северным открытиям! Охотно предоставляю Вам для вашей одинокой Диковинный мир

лабораторной работы на выбор площадку одного из открытых мною полюсов. Лети, лети на новые пути.

Амундсен.

8) От Москвошвее и Ленинградодежды: Шейте разумное, доброе, вечное!

(8а) От губмилиции: Тебе, Всеволод Мейерхольд, мы, представители губмилиции, даем следующий наказ: стой на посту, не ходи по правой стороне, не соскакивай на ходу, не плай в колодец.)

9) От ВЦИКа: Просим передать тов. Мейерхольду согласны его предложением к годовщине февральской революции дать амнистию критикам горбунов⁶.

10) От группы сознательных граждан Орехова-Зуева: Мы, красные жители Орехова-Зуева, идя в полную ногу с современностью, приветствуем тов. Мейерхольда и предлагаем Вам переименовать нас (из) Орехова-Зуева в Орехово-Мейерхольдово или Мейерхольдово-Зуево, по Вашему выбору. Одновременно уведомляем, что бывшая Главсахарная площадь в нашем городе уже переименована в тупик имени Гвоздева.

11) От В. Р. Раппопорта: Настоящим уведомляю, что ввиду распространности моей фамилии я подаю заявление во ВЦИК с просьбой о том, чтобы я именовался Раппопорт имени Мейерхольда.

(12) От месткома покойных писателей: Потрясенные вторичной кончиной нашего дорогого покойного Н. В. Гоголя, мы, великие писатели земли русской, во избежание повторения прискорбных инцидентов предлагаем дорогому Всеволоду Эмильевичу, в порядке живой очереди, приступить к разрушению легенды о нижеследующих классических наших произведениях, устаревшие заглавия которых нами переделаны соответственно текущему моменту:

1) Д. Фонвизин, «Дефективный подросток» (бывш. «Недоросль»).

2) А. С. Пушкин «Режим экономии» (б. «Скупой рыцарь»). Его же — «Гришка, лидер самозванного блока»⁷ (б. «Борис Годунов»).

3) М. Лермонтов, «Мелкобуржуазная вечеринка» (б. «Маскарад»).

4) Л. Толстой, «Электрификация деревни» (б. «Власть тьмы»). Его же — «Тэ-же», или «Жэ-те»⁸ (б. «Живой труп»).

5) И. С. Тургенев, «Четыре субботника в деревне» (б. «Месяц в деревне»).

6) А. Чехов, «Елки-палки» (б. «Вишневый сад»).

7) А. Грибоедов, «Рычи, Грибоедов»⁹ (б. «Горе от ума»).

8) Товарищ Острятский настаивает на сохранении прежних своих названий — «На всякого мудреца довольно простоты», «Таланты и поклонники», «Свои люди — сочтемся», «Свои собаки дерутся — чужие не приставай», «Не в свои сани не садись».

Приветствие составлено от имени шуточной Физико-Геоцентрической Ассоциации, существовавшей при ленинградском Доме искусств зимой 1926/27 года. Ассоциация (сокращенно — ФИГА) устроила несколько вечеров пародий (в том числе и посвященный замياتинской «Блохе»), в деятельности ее принимали участие Е. И. Замятин, А. А. Гвоздев, Н. В. Петров, В. Н. Соловьев, М. М. Зоценко, Ю. А. Шапорин и другие. В связи с приездом Мейерхольда в Ленинград в январе 1927 года члены Ассоциации подготовили текст данного приветствия для чествования режиссера в Доме искусств. Судя по упоминанию в письме Замятина жене от 23 января 1927 года, в написании приветствия, кроме Замятина, приняли также участие М. М. Зоценко, Е. Л. Шварц, С. Я. Маршак (ГПБ, ф. 292, ед. хр. 11). Отрывок из приветствия по рукописи из парижского архива Замятина был опубликован в журнале «Грани» (Мюнхен, 1962, № 81; в публикации обозначен только один соавтор — М. М. Зоценко). В нашей публикации текст печатается по автографу Е. И. Замятина (ИМЛИ, ф. 47, оп. 2,

Над пьесой «История одного города» Е. И. Замятин начал работать весной 1927 года (единственная авторская дата, встречающаяся в черновиках, — 23 апреля 1927 года). Инициатива инсценировки романа М. Е. Салтыкова-Щедрина исходит, очевидно, от Р. В. Иванова-Разумника, много занимавшегося Щедриным в 20-е годы (под его редакцией, в частности, к столетию писателя вышло собрание сочинений в шести томах, 1926—1927). Судя по цитируемым ниже документам, он собирался выступить в качестве соавтора Замятина. Но и для Замятина обращение к роману Салтыкова-Щедрина не было случайным. Еще в конце 1917 года он в цикле сказок о Фите, явившемся прямым откликом на Октябрьскую революцию и первые декреты Советской власти, идя за Щедриным, создает свою «Историю одного города». Герой этих сказок Фита — новый Угрюм-Бурчеев, предписывающий «незамедлительное прекращение холеры», уничтожающий городской собор для «учреждения прямоежей дороги для гг. легковых извозчиков», устанавливающий «ежедневную повзводную свободу песнопений от часу до двух» и т. п. Цикл сказок о Фите — один из первых подходов к роману «Мы», над которым Замятин работал в 1919—1921 годах. В 1927 году, когда в стране шла подготовка к празднованию десятилетия Октябрьской революции, Замятин возвращается к не потерявшим своей актуальности темам и конфликтам, решая их на сей раз на материале романа Салтыкова-Щедрина. В этом же году Замятин пишет рассказ «Слово предоставляется товарищу Чурьгину» — сатиру на отражение событий Февральской революции в русской провинции, — инсценирует свой рассказ «Пещера» для постановки во МХАТе к юбилею Октября. Перелички (а временами и просто текстуальные совпадения) «Сказок о Фите», «Мы» и «Истории одного города» очевидны.

Несмотря на то, что в «Истории одного города» множество легко узнаваемых реалий жизни 20-х годов (Двоекуров упоминает повесть С. Малашкина «Луна с правой стороны» (1926), в тексте фигурируют Соловки, Главлит и др.), пьеса — не политический памфлет. Против такого узкотенденциозного толкования, в частности, своего романа «Мы» Замятин неоднократно выступал в 20—30-е годы. Насколько мы можем судить по сохранившимся фрагментам, писатель ставил себе задачи куда более широкие. Он не поворачивает пьесу лицом к современности, а использует материал современности для моделирования «универсальных», повторяющихся

ед. хр. 94); в угловые скобки заключены фрагменты, вычеркнутые авторами.

¹ Нарком просвещения А. В. Луначарский и митрополит обновленческой церкви А. И. Введенский в 1925 году провели несколько совместных публичных диспутов.

² Намек на постановку Мейерхольдом гоголевского «Ревизора» в декабре 1926 года и лозунг «Театрального Октября», который Мейерхольд выдвинул после революции.

³ Раппопорт В. Р. (1889—1943), Радлов С. Э. (1892—1958), Петров Н. В. (1890—1964), Вейсбрем П. К. и Кроль И. М. — театральные режиссеры. Юзовский Ю. (1902—1964) — критик.

⁴ «Фальшивая монета» — пьеса М. Горького, написанная в 1913 и опубликованная в 1927 году. Летом—осенью 1926 года появилось несколько сообщений о постановке ее М. Рейнгардом, во МХАТе 2-м (были начаты репетиции), пьеса была принята к постановке Ленинградским академическим театром драмы. Однако после резкого выступления в печати А. В. Луначарского, оценившего пьесу как творческую неудачу Горького, «Фальшивая монета» поставлена не была.

⁵ В 20-е годы Государственный институт истории искусств был оплотом формальной школы. Театровед А. А. Гвоздев (1887—1939) руководил там отделом истории и теории театра.

⁶ Очевидно, Н. П. Горбунов (1892—1937), в то время управделами Совнаркомом СССР.

⁷ Возможный намек на Г. Е. Зиновьева, участвовавшего в 1925—1926 годах в антисталинской оппозиции и в октябре 1926 года выведенного из Политбюро ЦК.

⁸ «Тэжэ» — сокращенное наименование Треста эфирно-жировых эликсиров. Ср. название спектакля Мейерхольда «Д. Е.» («Даешь Европу!»), поставлен в 1924 году.

⁹ Намек на название спектакля в Театре имени Мейерхольда «Рычи, Китай!» (по С. М. Третьякову, январь 1926 года). Пьесе Грибоедова Мейерхольд поставил позднее, 12 марта 1928 года, под названием «Горе уму».

ситуации в русской истории (пьеса первоначально называлась «Русская история» и «Летопись»). Оттого «происшествия» пьесы многозначны и несводимы к какому-либо определенному историческому этапу («происшествия» — акте 5-м, например, гротескно сталкиваются некоторые черты дворцового быта XVIII века и последнего предреволюционного десятилетия, юродивый Миша-Возгрявый вызывает в памяти и московского «лжепророка» И. Я. Корейшу (1782—1862) и Г. Е. Распутина).

Неожиданный финал пьесы — своеобразный прорыв, выход за пределы этих неизменных исторических циклов (он близок к финалу «Блохи» — сцене воскрешения Левши). Этот конец, как нам представляется, мало подготовлен ходом движения пьесы (по крайней мере в том виде, в каком она до нас дошла), он только намечен. Но не об этом ли писал Замятин в своем эссе «О моих женах, о ледоколах и о России»? «Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран, ее путь — неровный, она взбирается вверх — и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая. (...) Русскому человеку нужны были, должно быть, особенно крепкие ребра и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ребра — «шпангоуты», особенно толстая стальная кожа, двойные борта, двойное дно — нужны ледоколу, чтобы не быть раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной пассивной прочности для этого все еще было бы мало: нужна особенная хитрая увертливость, похожая на русскую «смекалку». Как Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неукаложим, а если вы вытащите его из воды, если вы посмотрите на него в доке — вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей. В поперечном разрезе ледокол похож на яйцо — и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Он переносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из таких переделок, какие пустяки бы ко дну всякий другой, более избалованный, более красиво одетый, более европейский корабль» (З а м я т и н Е. Сочинения. Мюнхен. 1982, т. 2, с. 234, 237-238).

Первое известное нам упоминание о пьесе — короткое информационное сообщение в ленинградском журнале «Жизнь искусства», извещающее о включении в репер-

туар Государственного театра имени В. Э. Мейерхольда «Истории одного города» в «переработке» В. Холмского (псевдоним Р. В. Иванова-Разумника) и Е. И. Замятина. Судя по письму Иванова-Разумника Замятину от 4 марта 1927 года, первоначальная договоренность с Мейерхольдом была достигнута Ивановым-Разумником; последний писал Замятину перед отъездом в Москву: «Так как Вам придется иметь разговор с Мейерхольдом о сценической обработке материала, то мой *pium desiderium** заключается только в возможности сохранности салтыковского текста. Вы сами увидите, что к нему есть полная возможность. В особой переработке нуждается Пролог (из которого, вероятно, надо изъять Архивариуса-Летописца, а разговоры Головатых обработать в действии); но все это Вам виднее». Далее, после обсуждения вопросов о гонораре: «А. Н. Римский-Корсаков надул Вас и меня, не устроив свидания с Прокофьевым; последний, однако, сообщил ему, что имел в Москве разговор с Мейерхольдом об «Ист(ории) одн(ого) гор(ода)» и что дело отложено до осени, когда Прокофьев снова приедет в Москву. Боюсь, как бы его работа (да и приезд) не были отложены *ad calendae graecas***». Как Вы думаете, не предложить ли Мейерхольду — Шапорина? Это не Прокофьев, но (судя по «Блохе»), пожалуй, именно то, что надо для «Ист(ории) одн(ого) г(орода)» (марш Оловянных солдатиков в III действии, полонез и колокольный трезвон радения в IV д., тазы и кастрюли во II д. и т. п. Можно было бы создать своеобразный русский джаз-банд на кастрюлях, тазах и прочих национальных инструментах!). А впрочем — и это Вам виднее. (...) Как Вы думаете — по приведении пьесы в окончательный вид не могли бы Е. Замятин с В. Холмским напечатать ее? Это создало бы возможность ознакомления с пьесой и других театров» (ИМЛИ, ф. 47, оп. 3, ед. хр. 91).

Встреча Замятина и Мейерхольда, о которой писал Иванов-Разумник, состоялась вскоре в Москве (14 марта Замятин писал жене, что Мейерхольд отказался от постановки «Атиаллы» в своем театре). Упоминаний об «Истории одного города» в этом и других письмах этого времени нет, но можно предположить, что переговоры об инсценировке велись именно тогда и что Мейерхольд был заинтересован в сотрудничестве с Замятинным (сообщая о своем знакомстве 16 сентября 1926 года с Мейерхольдом, Замятин писал жене: «Была очень любезен, комплиментировал «Блоху». — ГПБ, ф. 292, ед. хр. 11. Краткий отзыв о «Блохе» см. также в одном из выступлений Мейерхольда. — «Жизнь искусства», 1925, № 14, с. 4). Не позже 14 апреля 1927 года Замятин получает официальное письмо от директора Государственного театра имени В. Э. Мейерхольда Е. А. Беляева и договор, высланный, как это ясно из сопроводительного письма к нему режиссеров ГосТИМа П. В. Цетнеровича и Х. А. Локшиной, после знакомства в театре с пьесой (очевидно, речь шла о законченных первых двух актах). 14 апреля Замятин в письме Е. А. Беляеву уточнил условия и выслал свой вариант договора: особо он оговорил увеличение размеров авторского вознаграждения, упоминая о своем соавторстве с В. Холмским (в замятинском варианте договора он не фигурировал), возражал против монопольного права ГосТИМа на постановку пьесы в течение двух лет и предлагал предусмотреть выплату гонорара в том случае, если пьеса не пройдет цензуру. Упомянув о своих «личных переговорах» с Мейерхольдом, Замятин отодвигал предложенный ему срок сдачи рукописи («по подписанию договора») на 15 июля 1927 года (ИМЛИ, ф. 47, оп. 2, ед. хр. 92, 95). Окончательного варианта договора, подписанного Мейерхольдом и Замятинным, в архиве Замятина не сохранилось, и мы точно не знаем, были ли приняты условия писателя театром, но в мае 1927 года Мейерхольд еще упоминает пьесу Замятина как готовящуюся к постановке в сезоне 1927/28 года: «Щедрик будет готов, как нам сообщает Замятин, только в сентябре» (письмо Н. Р. Эрдману от 26 мая 1927 года — в кн.: Мейерхольд В. Э. Переписка. 1896—1939. М., 1976, с. 266). Однако и к этому сроку пьеса не была закончена; об этом свидетельствует и письмо Иванова-Разумника Замятину от 3 ноября 1927 года: «В Москве Вы, очевидно, повиделись с Мейерхольдом, который слал Вам пись-

ма и телеграммы на погибельный Кавказ и требовал у меня Вашего адреса, а я не знал. Если Вы виделись с Мейерхольдом, то знаете, что «Ист(ория) одн(ого) гор(ода)» нужна ему спешно — хочет ставить ее первой постановкой после ноября. Боюсь, что Вы подвели нас обоих и работа еще не сделана. (...) Недавно получил письмо от Петрова-Водкина — вернулся из Коктебеля, потрясшись в препорию. От Мейерхольда получил он экземпляр «Ист(ория) одн(ого) гор(ода)», для обдумывания» (ИМЛИ, ф. 47, оп. 3, ед. хр. 91).

Причин тому, что пьеса не была завершена, было несколько: во второй половине 1927 — начале 1928 года Замятин пьесу поглотил постановкой «Атиаллы» в БДТ (эту пьесу он считал тогда своей главной работой в театре); не устраивали его, очевидно, и размеры гонорара, предлагавшегося ГосТИМом. Можно предположить и еще одну причину задержки в работе: сомнения Замятина в возможности адекватной постановки его «Истории одного города» у Мейерхольда; незадолго до этого, в 1924 и 1926 годах, Мейерхольд поставил две пьесы классического репертуара, «Лес» Островского и «Ревизор» Гоголя, по-своему оживив их, вложив в них «агитационный заряд», перенаправив социальный пафос на текущую действительность. Такого сильно социологизированного подхода, очевидно, не мог разделить Замятин (см. шуточное приветствие Мейерхольду — Приложение 3).

Еще летом 1927 года Замятин получает предложение о постановке «Истории одного города» в Театре имени Вахтангова. 6 июля В. В. Куза, входивший в руководство театра, пишет Замятину: «Весьма огорчен отсутствием в В/письме упоминания о «Городе». В Москве распространяются слухи, что Вс(еволод) Эм(ильевич) отказался от мысли ставить этот спектакль. Эта версия идет из Т(еатра) сатиры, который тоже включил в свой репертуар «Город» в обработке Ан. Глобы. Сатира и Глоба, конечно, нас остановить не смогут, и мы еще раз обращаемся к Вам с просьбой, если что случится, немедленно сообщайте нам. «Город Глупов» в Вашей переработке нас глубочайшим образом интересует» (ИМЛИ, ф. 47, оп. 3, ед. хр. 110). В письме от 21 августа Куза напоминает: «Город Глупов» будем ждать и надеемся, что в случае какого-либо конфликта с Беляевым Вы нас не забудете» (ИМЛИ, ф. 47, оп. 2, ед. хр. 93). Однако и этой идее не суждено было реализоваться — но уже по совсем другим причинам. 8 февраля 1928 года, после того как Мейерхольд уже отказался от «Истории одного города», В. В. Куза сообщает Замятину:

«У нас по поводу «Глупова» разгорелись страсти и споры, и мы не смогли прийти ни к какому решению. В той плоскости, в какой вопрос ставлю я, — мои товарищи не соглашаются (особенно Зноева (?)), считая, что спектакль должен носить черты сатиры на современность, а не только исторического народа. Углубление же сатирической части современной, по-моему, не дает возможности провести спектакль через цензуру — особенно если принять во внимание, что там засели «напостовцы» (Раскольников*)».

Поэтому я думаю, что не стоит пьесу Вашу ставить в ложное положение внутри театра (если бы ее приняли), ибо все равно при раздвоении мнений внутри руководящего коллектива работа над пьесой обречена на неудачу.

Позвольте поблагодарить Вас за возможность ознакомиться с Вашей пьесой» (там же).

Не была пьеса поставлена и Бакинским рабочим театром (см. анонс в заметке Г. Либермана. — «Заря Востока» (Тифлис). 5.10.28).

Мы не располагаем сведениями о более поздних попытках Замятина поставить пьесу; очевидно, не будучи уверенным в ее успешной театральной судьбе, писатель решил оставить эту работу.

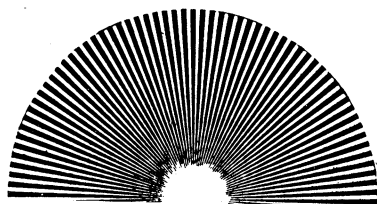
Пьеса «История одного города» публикуется по автографу, хранящемуся в ИМЛИ (ф. 47, оп. 1, ед. хр. 149). Огрывки из набросков — также по черновым материалам к пьесе (ИМЛИ, ф. 47, оп. 1, ед. хр. 148). За помощь в работе над публикацией приносим благодарность научному сотруднику отдела рукописей ИМЛИ Е. Ю. Литвин.

Публикация, вступительная заметка, комментарии и послесловие Александра ГАЛУШКИНА.

*Благое пожелание (лат.).

**До греческих календ (лат.) — т. е. на неопределенно долгий срок.

*Ф. Ф. Раскольников стоял в то время во главе Главреперткома, был членом редколлегии журнала «На литературном посту».



ЯРМАРКА

СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА



НИКОЛАЙ МАНТРОВ

Вот и опять под глазами появились предательские морщинки. Ну, это ерунда, привычное дело. Нужно только обработать кожу специальным кремом, потом немножко массажа — и все будет в порядке. Морщинки исчезнут, а лицо снова станет упругим, гладким, молодым. Но надо спешить. Быстрее, как можно быстрее! Нельзя терять ни минуты. Минута теперь превращается в год, а час в вечность. Трудно обогнать время, но еще труднее остаться позади времени. Итак, чистая салфетка, крем, массаж... И поживее ручками, поживее! Вот так, вот так! И еще раз все сначала... Но что это? Непослушная кожа совсем не впитывает целебный крем, а массаж вызывает какой-то неприятный зуд. Ну-ка, еще немножко... Увы, все напрасно. Лицо уже не будет ни упругим, ни гладким. Что ж, этого следовало ожидать: сорок пять есть сорок пять, от них никуда не спрячешься, не убежишь, не закрепнешься одеялом. Стоит только сесть перед зеркалом — и вот пожалуйста, на тебя смотрят сорок пять лет. Некрасивые, уродливые, покрасневшие от чрезмерного массажа. И невольно вспоминается вечно молодая пословица: сорок лет — бабий век, сорок пять — баба ягодка опять. Боже мой, какая чушь! Кто только придумал эту дурацкую пословицу? Ягодкой-то и не пахнет. Вот вам и пословица, вот вам и народная мудрость. Утешение для перезревших девиц, которые даже во сне видят себя молодыми и краси-

выми. Впрочем, может, пословица-то и справедлива, но она подходит только тем женщинам, у которых есть хороший муж, крепкая семья, покой. А тем, кто всю жизнь качался в одиночестве, как засохшая былинка, которую не успел сломать осенний ветер, эта пословица явно не ко двору. Не было ни хорошего мужа, ни семьи, ни покоя, а значит, не будет и ягодок. Как-то не повезло с мужьями: с первым прожила всего полгода, со вторым еще меньше, а с третьим... Третьего вообще не было. Кто был в этом виноват — теперь судить трудно да и поздно. Да и не в этом, собственно, дело. Все дело в том, что к двадцати пяти годам она осталась у разбитого корыта, которое, как оказалось, уже невозможно склеить, и нет надежды получить взамен разбитого новое. Правда, года два-три она все еще на что-то надеялась, чего-то ждала, но годы шли, бежали, и ей было жалко этих бежавших лет, жалко своей молодости, своего стареющего, не насладившегося мужской лаской тела. Она устала ждать, она не хотела больше ждать, она не знала, чего ждать. И вот в ее жизнь вошли мужчины. Много мужчин. Много потому, что она хотела наверстать упущенное, возместить хотя бы малую часть того, что потеряла за грустные годы ожидания. Мужчины были разные — молодые, средних лет, даже пожилые. Пожилые приносили цветы и шампанское, молодые — себя, но никто из них ничего не давал ей: все только брали, брали, брали... Брали щедрой рукой, не стеснясь, не спрашиваясь, не задумываясь о том, что ей, может, это не совсем приятно. Мужчины, мужчины, мужчины... Нет, это были не мужчины, это был могучий поток, который проходил сквозь нее, вымывая все самое чистое, светлое, оставляя взамен лишь зловонный мусор. Она очень скоро поняла, как страшен этот поток, и пыталась уменьшить его до определенной степени, но сделать это оказалось почти невозможно. Стоило только отказать кому-нибудь один раз, и больше он уже не приходил. Это негласный закон. Это гордость просящего: не брать там, где однажды отказали. Все хотели быть гордыми, но никто не хотел, чтобы гордой была и она.

И все-таки, несмотря ни на что, она не падала духом. Она по-прежнему была весела, по-прежнему смеялась, шутила, пела, и все окружающие были уверены, что она счастлива. Ее подруги, ругая своих непутевых мужей, откровенно завидовали ее жизни, ее выбору, ее свободе. Она соглашалась, была иногда даже не прочь похвастаться своей свободой, независимостью, а в душе злилась на подруг, на этих пустышек, которые не в состоянии отличить простую стекляшку от драгоценного камня. Разве могли они понять, какой собачьей жизнью живет она? И как ей все время хочется иметь возле себя одного мужчину? Пусть непутевого, пусть некрасивого, но одного! Что угодно, только не страшный, беспощадный поток... Нет, подруги не хотели понять этого, да и зачем им было что-то понимать? У каждой из них

был муж, семья, дети и, пусть даже иногда очень беспокойный, покой. И за это непонимание она мстила подругам. Мстила просто, по-женски: мужья подруг оказывались в ее постели. Это было нетрудно сделать, потому что муж всегда видит в подруге жены как бы вторую жену, с которой можно вести себя развязнее, чем того требуют приличия, с которой можно откровенно пошутить, не опасаясь немилости жены, а при случае даже и переспать ночь. Да, совсем нетрудно было затащить мужа подруги в постель. Правда, иногда встречались мужья серьезные, казавшиеся с виду неприступными, но в конце концов и они попадались в умело поставленную ловушку. Обычно эти неприступные и серьезные оказывались просто несмелыми и неумелыми в любви. Их нужно расшевелить, подтолкнуть; помочь сделать первый шаг, или в крайнем случае сделать первый шаг самой, а уж потом от них невозможно отвязаться: они во что бы то ни стало хотят убедиться, что новая женщина ничуть не лучше собственной жены. Надо не дать им убедиться в этом, и все — роман готов. Да еще какой роман! Впрочем, конец был всегда одинаков: подруги кое о чем догадывались, кое-что им доносили со стороны, и наступала развязка. Дружба, разумеется, рушилась сразу, но она об этом не жалела. Это было так естественно, так просто. Вообще дружба между женщинами редко бывает крепкой и долгой, в каждой они предполагают соперницу, а та, которая не желает предполагать, может однажды убедиться в этом воочию...

А между тем годы все шли и шли. И опять были мужчины, мужчины, мужчины... Иногда наступали дни какой-то необъяснимой печали, было чего-то жаль, кто-то снился почти каждую ночь, она спешила проснуться, но он всегда успевал уйти чуть-чуть раньше. Это были черные дни: все становилось безразличным, серым и было все равно, кто лежит рядом в постели. Но проходило время, и жизнь брала свое. Она опять начинала различать брюнетов, блондинов, сильных, слабых, застенчивых и решительных. Однако, несмотря на эти различия, в одном они всегда были одинаковы: все старались как можно лучше исполнить свой мужской долг, — и никто из них не догадывался, что ей, собственно, почти и не надо этого, что ей хочется просто полежать рядом, положить голову на сильную руку, беспомощно уткнуться носом в широкую грудь... Никто и никогда не сумел понять этого. Хотя был один... Он, конечно, тоже ни черта не понял, но тронуть ее душу сумел. Это был интеллигентный мужчина средних лет, в очках. В тот вечер он крепко выпил, много смеялся, шутил, играл с нею в прятки, а потом, поймав, стал целовать руки и все твердил: «Святая женщина! Святая женщина!!!» А она тоже смеялась, отталкивала его, хотя все его действия и слова были очень приятны. Она думала, что утром он, как и все, поспешно уйдет, пряча глаза, стыдясь вчерашней пьяной сентиментальности, но он не обманул ее тайных надежд. Он опять взял ее руку, нежно поцеловал и сказал: «Святая женщина». И ушел. Больше она никогда не видела его, но вспоминала очень часто. И не столько его, сколько те волшебные, чарующие слова... «Святая женщина». Это ж надо придумать такое! Она — и вдруг святая. Черт знает что! Это она-то? Смех. Просто смех. А может, она в самом деле святая? Не так ли, как и все святые, она безропотно отдавала себя, отдавала свое тело, отдавала все, ничего не требуя взамен? В чем можно обвинить ее, в чем можно упрекнуть? Ну а если найдется тот безгрешный, кто посмеет бросить в нее камень, то что ж, пожа-

луйста. Она с покорностью подставит под этот камень голову, тело, сердце. Может, и в самом деле...

Фу, какая же чушь лезет в голову! Она — и вдруг святая! Бред. Бред сумасшедшего. Нет, святые живут в монастырях и терпеливо ждут, когда Бог вознаградит их за терпение. А она не захотела ждать и в результате получила то, чего заслужила: сорок пять и разбитое корыто. Вдребезги разбитое корыто...

А морщинки так и не исчезают. И не исчезнут, хоть сиди перед зеркалом день, месяц, год. Напротив, с каждым днем их будет все больше и больше.



ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

БЕССОННИЦА

Спать! Спать! Спать... Свернуться в калач эмбриона, покрепче прижаться к подушке — и спать. Спать присно! Спать, когда люди спят. Спать, когда люди не спят, а напротив: в ритме старой фильмы в метель мельтешат к остановке; спать, когда они точат детали, торгуют, гордятся собой; спать в день весеннего равноденствия и позже: в апреле и мае; спать в высокий июльский полдень, в гамаке, под запах смородины, крики детей, босоного бегущих бегом по песку; спать в дождь, в предвкушенье обеда и после обеда — спать, завалясь на бугристый дачный диван, схожий ландшафтом с Тульской губернией, и сон поманить, отстегнув тугую

пуговицу брюк, ловя воздух всем животом своим, —почивать. Спать сейчас: после пива законным мужским сном. Жить. Жить регулярно, странно с супругой, чтоб больше и сладостней спать. Чтoб беспрoбудно. Спать много зимой, спать с румянцем, с морозца, с охотничьей на губах водкой, спать повсюду, где хочется спать — там и спать, и в чем хочется, вплоть до пижам, а также после бодрящей осенней трусцы по осеннему хвойному лесу, то — пролог к глубокому сну, укройся клетчатым пледом. И спать уж совсем незаконно, без задних ног, замирая от высшей сладости незаконного сна, — спать, когда тебя ждут, заждались, понадеялись — не дождутся! — спать! — спать напрапалу, просыпая свидания, банкеты, вокзалы и дебаркадеры, знакомства, ревизии, спать крепко, наотмашь, дрыхнуть взасос, когда коллеги коллегу выносят из морга с недобрим лицом — обойдут! обойдутся! — еще пуще спать, когда пахнет скандалом... Как спится под стражей! Мертвецким сном спать в русском суде, дожидаясь развода — семейный деэстр, — и чутким сном не спать никогда, а только в лесу, опасаясь диких зверей, но безудержно, нестерпимо, самозабвенно спать, мажорно храпя, как хохол, торжествующим звуком и пуская слюну, — спать под сенью самодержавия, в ограде православия, в духе полного братства — спать в кровати о четырех ногах... Лечь рано, с вечерней зарей, в половине десятого, с чистыми помыслами — и проспаться безобразнейшим образом до двух, покемарить до трех, размышляя о том в междучасье, кто на великой войне всех народов первый прибегнул к газам: немец или русский? и думать так: небось шельма немец! — и, побираясь в заветных мечтах, шептать: «Благотельница, не погуби... Облегчи участь стареющего никчемного человека!» — в день весеннего равноденствия, но можно и позже: тогда же и встать, отекишие члены продвинуть к ванной, презирая позы к физическим экзерсисам, без мутных угрызений; лежать в жаркой ванне и вопрошать: ужель шельма немец? — ответа не требовать, в заговорах по каждому пустяку не состоять, но лежать отдыхая, выковыривая запасы сладчайного свойства, благодаря чему разрешите выйти к завтраку совершенным огурчиком, даже с пробором, увидеть в окно хмурость неба, шалман и кучки людей на снегу — это русские люди стоят, каждый в шапке, с налимом в руке, — и тогда, отпраздновав пробуждение под сенью французского равенства, в ударе, однако, своей смородной народности, в угаре того же опять православия, ч а ш к о й дразнящей ноздри арабики — продукт басурманский, — а значит, отпраздновав пробуждение несколько по-басурмански, провалиться на сей бугристый наемный диван, прикрывшись в природной стыдливости книгой; в ней кожаная закладка — она с бахромой и, разумеется, дареная, — упереться в умные строки, задвигать глазами, пока, вдруг прозрев, не вздрогнет лицо, будто лед перед ледоколом, пока не разъедется, не расползется лицо во все стороны, а брови, напротив, слетят, стервятники; и скрипнут уключиной челюсти, и полетит в глаза прибрежный песок, по коему с криком бегут босоногие дети, но крика не слышно, поскольку уши слышат одно лишь течение крови, и рябь неглубокой и пресной воды успокоит систему — и щедро засосется в грудь кислород — и малопомалу воссоединится портретное сходство, неся благодать, — и выпадет, перекрестивши рот, толщину в ладонь книга с дареной закладкой,

повествуя о том, что жизнь есть сон, есть сон, так написано в старой книге, так завещали нам ученые славяне, они же отчасти испанцы, а сон, со своей стороны, не что иное как не ж и з н ь, по-нашему: небытие, — да какое! — родное, зазнобное, будто ириска, и — осторожно: приступка! — стало быть, делаем резолюцию: если на сон грядущий связать воедино концы, то лицезрим ученых славян, при ближайшем рассмотрении: испанцев и бакалавров отчасти — такая уж, брат, невезуха! — и что же? А то, что жизнь в резюме есть не ж и з н ь, по-нашему: пшик! — о чем нам, стоеросовым межеумкам, недурственно было бы поразмыслить на сон грядущий, да разве успеешь, свернувшись в калач эмбриона, зубы повычистив, доверившись подушке... да и к чему? да и чем?

Спать...



ГЕОРГИЙ ЮДИН
ПОЛНОЛУНИЕ

С вечера поднялся ветер, несущий мороз. У подножья домов, в палисадничках, он взбудоражил залежи сухих листьев. Листья взлетают невысоко в воздух, выют по земле и привлекают своим движением кошек. Кошки азартно гоняются за ними, видимо принимая за мышей.

Почти полная луна освещает верхние слои воздуха и выхватывает из глубины неба мраморные тучи.

Иду через пустырь домой, придерживаю рукой кепку и клонюсь в сторону ветра. Накануне забыла в кафе перчатки, и руки теперь стынут. Завтра — полнолуние.

Дома: жена сидит с ногами на диване и играет в шашки сама с собою. Рядом сын.
— Папа, давай играть в машинки.

Утро. В кухне ярко светит солнце. Сын тут же. Спрашивает, можно ли поймать солнечный зайчик.

— Нет.

Хочу добавить почему, но не говорю (ровнять усы — дело тонкое), хотя мысль кажется остроумной: «Нельзя, потому что мы сами внутри солнечного зайчика».

— Папа, а что, солнце — это такой шар из огня?

— Да.

На остановке троллейбуса, заранее доставая из заднего кармана брюк талоны, вытащил заодно и ключи от двери на кафедру. Талоны остались в руке, ключи — упали, звякнули об асфальт.

На работе: обеденный перерыв. Навещаю заблужденного сотрудника.

Старинный дом. Лифт не работает, вообще — электричество отключено.

Пешком поднимаюсь на пятый этаж, оттуда смотрю вниз.

Тьма внизу лестничного проема кажется вязкой.

Дверь в квартиру открыта. Хозяин движется мне навстречу из глубины коридора со свечой в руке.

Он рад.

Прикрывает пламя рукой. Пламя свечи колеблется, вспышками освещает его лицо.

В светлой комнате, из окна которой видны голые верхушки деревьев и небо, пьем кофе.

Дорогая мебель. Никелированный чайник на столе, серебряные ложечки, конфеты в вазе.

Хозяин показывает мне альбом с фотографиями города Паланги, потом — репродукции Коро.

Садится на диван в противоположном углу комнаты. Болтает о женщинах.

Участок разговора:

— Вот интересно. Американская девочка тринадцатилетняя заявляет с видом взрослой женщины,

что хочет заниматься политикой. И удивительно: считается, что это нормально.

— Это хорошо.

— Что хорошо?

— Хорошо, когда дети серьезно относятся к мечтам, а взрослые им помогают в этом. А то ведь с нами как? Скоро жениться, а мы еще не знаем, кем быть — космонавтом или водолазом. И с детства нас убеждают, что все будет хорошо. Непонятно как, но обязательно. И «сто дорог» — всегда. Поскольку главное — слушаться старших и пуговички застегивать правильно, а это мы умеем. Но это же обман. Так не бывает. А понимаем, что все не так, когда уже поздно.

Возникшая пауза — перышко, повисшее в центре комнаты; медленно опускается вниз.

Хозяин смотрит на меня внимательно, и в его взгляде я читаю насмешку.

В аудитории, завешанной плакатами с разнообразными кривыми и формулами, молодой диссертант излагает содержание своей работы. Указку держит у груди, как боевой автомат. Речь диссертанта отчетлива, ясна и почему-то наполняет меня радостью существования.

Мое уважение к диссертанту растет и вскоре становится безграничным.

В фотоателье получаю фотографию.

На улице: мороз успокоил воздух и сделал его прозрачным. С деревьев сошли остатки листвы, и это вызывает мысль, что обнажился остов пространства. Благодаря голым ветвям стало видно, что день разделен на две части, светлую и темную. Тень осела вниз, кое-где совсем до земли, кое-где, стелясь по стенам, достигает крыш. Поверхность границы светлой и темной частей дня отчетливо видна, поскольку след ее — на ветвях. Этой границы не увидишь летом.

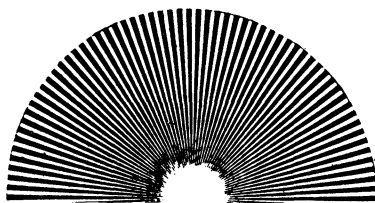
Солнце на западе — ослепительный осколок.

Дома: рассматриваю фотографию, полученную в ателье. На фотографии усы у меня разрослись вниз. Их очень хочется остричь, но теперь это невозможно.

Рисую тушью зловещие треугольники и дерево. Усмехаюсь неизвестно чему. Потом обвожу картинку рамкой и вешаю на ковер под скрепку.

Через минуту надписываю картинку, упираясь коленом в диван, — «Мнение».

За окном синее небо, по нему разлито бледное сияние, в центре которого — полная луна. Холодный воздух.

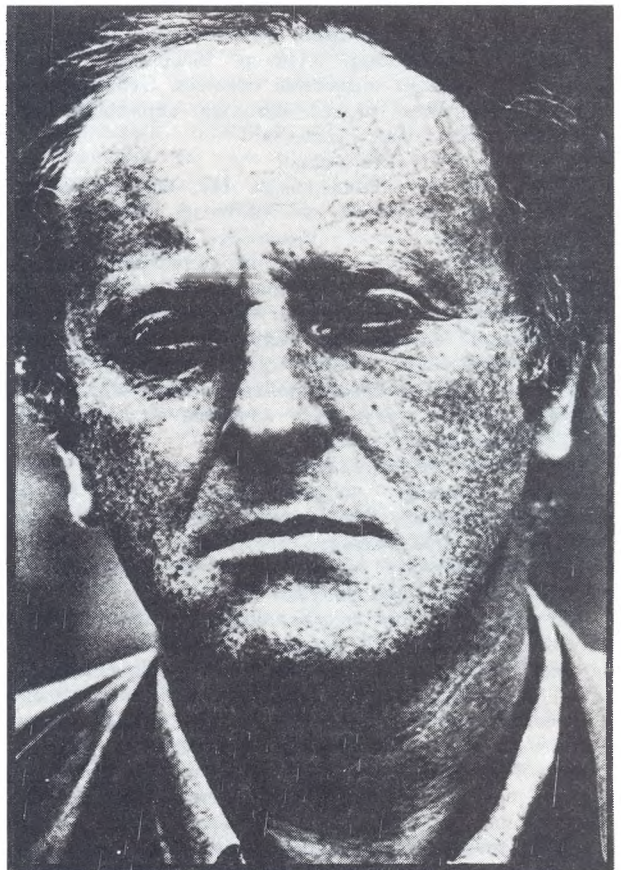


ЯРМАРКА

ИОСИФ БРОДСКИЙ

европейский
воздух
над Россией

Беседа французской славистки Анни Эпельбуан с поэтом Иосифом Бродским состоялась в июле 1981 года, но до сих пор не появлялась в печати ни у нас в стране, ни за рубежом. Публикуется с согласия лауреата Нобелевской премии 1987 года И. Бродского.



Анни Эпельбуан. Французы не знают, кто такой Иосиф Бродский, так как в 60—70-х годах слышали лишь про Вознесенского да Евтушенко. А про Ленинград знали только то, что существует группа неофициальных поэтов, которые как будто открыли новый путь в поэзии. Кто эти поэты?

Иосиф Бродский. Это слишком большая тема. Единственное, о чем я могу говорить, это исключительно о своих привязанностях. Где-то в конце 50-х — в начале 60-х годов произошел, так сказать, поэтический взрыв. По сравнению с тем, что вообще происходило в России на протяжении 40—50-х годов, это действительно носило характер взрыва. Возникла довольно большая группа людей, которые занимались стихосложением. В различных домах культуры, в издательствах, при университете существовали так называемые литературные

объединения, которые явились, можно сказать, сборными пунктами, вокруг них вращались вот эти самые начинающие поэты. От предшественников, то есть от того, что происходило в русской советской поэзии в ту пору, их отличало прежде всего значительное формальное своеобразие... Дело в том, что на протяжении двадцати или тридцати лет в советской поэзии существовало некое стилистическое плато, которое было продиктовано самыми разными обстоятельствами: диктатом цензуры, классицистическими требованиями соцреализма и т. д. и т. д. То есть уроки 10-х, 20-х и даже 30-х годов были не то чтобы забыты, а стали как бы табу. И вот в конце 50-х — начале 60-х произошел взрыв, когда все то, что было создано русской поэзией, вдруг снова вернулось к жизни. Ну, это примерно как закон,

РАЗГОВОР В ПУТИ

что количество энергии, выданное в мир, никогда не пропадает бесследно. Формальные достижения конструктивизма или, скажем, футуризма вновь дали себя знать. Хотя, казалось бы, никаких предпосылок к тому не было.

То, чем занимались эти самые более или менее молодые поэты конца 50-х — начала 60-х, чрезвычайно напоминало, скажем, раннего Пастернака, немного Маяковского, Хлебникова, до известной степени Крученых и Заболоцкого... То есть Пастернак, Хлебников и другие, как бы сказать, дали свои побег, как растение, как зерно, положенное в землю. И вдруг это все проросло. Во многих случаях имел место просто творческий импульс молодости, когда почти что всякий пишет стихи. Только несколько человек стали более или менее серьезными авторами, с которыми и сегодняшнему читателю современной поэзии или тому, кто интересуется русской поэзией, приходится считаться. Имена... Я думаю, я сначала назову имена, а потом мы займемся каждым из них в отдельности. Это прежде всего Евгений Рейн, Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Владимир Уфлянд, Михаил Еремин до известной степени. Это примерно те, чье творчество играет довольно серьезную роль в русской поэзии даже сегодня.

А. Э. Они все ленинградцы?

И. Б. Они все ленинградцы. Ну, еще, естественно, Дмитрий Бобышев и Анатолий Найман. Эту группу сегодня принято именовать в серьезном или полусерьезном литературоведении ленинградской школой. Почему я говорю полусерьезном? Потому что литературоведение, официальное литературоведение, этими поэтами всерьез не занимается. По разнообразным причинам. Только двое из них сделали более или менее профессиональную, официальную карьеру с последствиями для качества их творчества, это Горбовский и Кушнер.

Горбовский, на мой взгляд, к сожалению, превратился в довольно посредственного автора не без проблесков таланта. И конечно же, это поэт более талантливый, чем, скажем, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, кто угодно. И тем не менее, как ни грустно признать, это все-таки второй сорт.

Что касается Кушнера, здесь несколько иная история. Это человек, который начал с поэтического консерватизма формы и остался в высшей степени верен себе. Это такая, как бы сказать, тютчевская линия в русской поэзии. Хотя в данном случае скорее Тютчев, смешанный с Блоком и Анненским.

На мой взгляд, Кушнер — один из самых глубоких авторов. Он чрезвычайно традиционен по форме, но абсолютно не традиционен, я бы даже сказал, весьма и весьма авангарден по содержанию. Творчество Кушнера до известной степени характерно для ленинградской школы, именно эта контрастная комбинация консервативной формы и содержания. Когда вы привыкли к размеру, которым писали — ну, не знаю — Пушкин, Анненский, Блок и т. д. и т. д., когда ухо и глаз к нему привычны, и вдруг вы видите в этом размере современную психологию — возникает колоссальное противопоставление, поэтический оксюморон, если угодно, ощущение колоссального противоречия формы и содержания.

Наиболее, однако, интересным из этих авторов, то есть наиболее мне дорогим, является Евгений Рейн, который больше уже не живет в Ленинграде, он живет в Москве. На мой взгляд, это самый интересный, самый значительный поэт на сегодня. Он и еще один молодой человек, который хронологически не имеет никакого отношения к ленинградской школе, потому что он москвич, на десять лет моложе. Тем не менее чисто поэтически, чисто стилистически он в известной степени продукт ленинградской школы. Это Юрий Кублановский. Эти два поэта

— наиболее крупное, на мой взгляд, явление в современной советской поэзии.

А. Э. В какой среде воспитывались эти поэты и почему возникли именно в Ленинграде?

И. Б. Отличительным признаком произведений ленинградской школы является уважение к форме, к требованиям формы. Это все восходит в сильной степени к началу XIX века и даже, я бы сказал, раньше. Дело в том, что русская поэзия началась именно в Петербурге. И всякий человек, который берется за перо в Ленинграде, так или иначе чувствует себя во власти традиции или принадлежащим традиции, он не может отказаться от этого.

Что интересно, все более или менее значительные формальные достижения русского модернизма имели местом своего рождения не Петербург, но скорее Москву. Это объясняется чрезвычайно простой вещью. Петербург — действительно колыбель русской поэзии. И, как правило, с Петербургом ассоциируется Пушкин, пушкинская плеяда и все, что последовало. Резондетром * всей пушкинской плеяды был тот элемент гармонизма, который они привнесли в русскую поэзию, то есть гармонизированность речи, гармонизированность дикции, определенное благородство тона и т. д. Поэтому любой автор, берущийся за перо в Ленинграде, сколь бы молод и неопытен он ни был, так или иначе ассоциирует себя с гармонической школой, имя которой дал Пушкин. Возможно, дело не только в ассоциации с гармонической школой Пушкина, но и в самой архитектуре, в самом чисто физическом ощущении города, в котором воплощена идея некоего безумного порядка. И когда ты оказываешься среди всех этих бесконечных, безупречных перспектив, среди всех этих колоннад, пидястров, портиков и т. д. и т. д., ты вольно или невольно пытаешься перенести их в поэзию...

Специфически литературной среды не существовало. Все эти авторы, между прочим, принадлежали к различным профессиональным группам. Кто из них был инженер, кто вообще чистый люмпен. Люди приходили в изящную словесность практически отовсюду. Большинство из них были, я думаю, студентами технических вузов. Вообще в ту пору, как, впрочем, я полагаю, и сейчас, быть просто поэтом в России считалось немножечко моветоном. Как правило, восхищение и уважение вызывали те люди, которые занимались поэзией на стороне, то есть это как бы не было их главным занятием. Наиболее привлекательными членами общества являлись люди дела. И большинство из этих поэтов стали инженерами. Впоследствии она оставили свои инженерные профессии и занялись поэзией более или менее профессионально.

Среда возникала... ну, не то чтобы автоматическая, но невольная... Это и вообще правило поэзии — всякий даже бесталанный человек всегда находит каких-то поклонников. И среда была столь же разнообразна и разношерстна, как и сами авторы. Все началось при домах культуры, при газетах. Наиболее активными, что ли, литературными объединениями были литобъединения при Доме культуры трудовых резервов и при ДК промкооперации. (Объяснить, что такое трудовые резервы и что такое промкооперация, совершенно бессмысленно.) Активность этих литературных объединений в сильной степени была predeterminedена их руководителями, двумя довольно замечательными людьми. Одного из них звали Давид Яковлевич Дар. Это был довольно хороший прозаик, муж Веры Пановой, не так давно, около пяти лет назад, он уехал в Израиль, в этом году умер. Этот человек действительно воспитал, буквально воспитал Горбовского, Кушнера и Соснору, трех столь разных поэтов.

А. Э. В каком смысле воспитал?

И. Б. В каком смысле воспитал? Это замечательный вопрос. Ну, по-видимому, он просто поддерживал эти самые молодые таланты и более или менее подсказывал, что делать и чего не делать. Занятия в этих литературных объединениях носили характер полудружеских, зачастую чрезвычайно враждебных обсуждений. Поэт приносил свои стихи, и их члены этого объединения все вместе обсуждали. И, разумеется, там говорились вещи чрезвычайно жесткие. Это вообще, на мой взгляд, была довольно хорошая школа. В некотором роде эти литературные объединения были таким, как бы сказать, вариантом дворов времен Ренессанса, при которых поэты собирались. Можно себе представить трубадуров, которые обсуждают произведения друг друга.

А. Э. Все это было устно?

И. Б. Да, все это было устно. Иногда по чистой случайности, по недосмотру одно или два стихотворения у кого-нибудь из нас бывали напечатаны. И это всегда представлялось большим событием. И казалось, что с этого и начнется дорога в литературу... Иногда так и происходило. Чаще нет. Как правило, в прессе, в журналах, газетах публикуются произведения не любителей. А у этих молодых людей был статус любителей. Или, по крайней мере, они рассматривались как таковые органами прессы. Как правило, пресса публикует произведения более или менее истэблишмента. Несмотря на то, что многие из этих молодых поэтов были куда профессиональнее как поэты, чем члены Союза писателей, их произведения не публиковались или публиковались чрезвычайно редко. Не говоря о том, что, поскольку ты молодой, редактор позволял себе расправляться с твоим стихотворением, как ему заблагорассудится.

А. Э. А судили устно?

И. Б. Члены объединения сидят и просто обсуждают. Это закаляет и воспитывает совершенно замечательным образом. Я помню, однажды я приехал из Москвы, и мой приятель на объединении спросил меня: «Иосиф, ты приехал из Москвы? Ты привез новые стихи?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Почитай». Я начал читать. Он говорит: «Нет, нет, не свои», — имелся в виду другой поэт, который живет в Москве. Такое обращение укрепляет нервы, делает тебя более неуязвимым впоследствии для любой критики.

Разумеется, всякий поэт хочет читать свои стихи, если уж не увидит их напечатанными. Как правило, мы (или они? я не знаю, какое местоимение употребляют) собирались на частных квартирах, куда приглашали знакомые или полужаномые. Набиралось довольно много народу, и поэт время от времени читал свои стихи. Это, в общем, носило не столько подпольный, сколько неофициальный характер. Это было естественной формой существования. Было более или менее понятно с порога, что пресса, журналы и т. д. и т. д. — они как бы наши враги, их как бы надо завоевать, побеждать. Те, кому интересно было играть в эти военные игры, продолжали вести какую-то политику, добиваться публикации и т. д. Как правило же, большинство из нас считало самое общение с официальными лицами чистым моветоном, и мы были вполне удовлетворены вот этими личными человеческими контактами.

А. Э. Те, кто вас слушал, знают, что ваше чтение звучит как заклинание или чтение псалмов. Чем это объясняется? Чем вообще объясняется устная традиция в русской поэзии?

И. Б. Вообще цивилизация, культура — явление скорее устное, нежели письменное, на мой взгляд. Мы все запоминаем стихи друг друга. И цивилизация — это прежде всего память, прежде всего запоминание, то есть знание наизусть. Мы понимали,

что живем в эпоху догутенберговскую. То, что происходило в России в 60-е годы, было очень похоже на то, что происходило в Византии или Александрии, скажем, тысячу или полторы тысячи лет назад. И нас это нисколько не изумляло и представлялось нам нормальной.

А. Э. Это помогало?

И. Б. Это ни в коем случае не вредило. По крайней мере, поэзия превратилась для нас в искусство в сильной степени мнемоническое.

А. Э. Тут играла, наверное, особую роль декламация?

И. Б. И да и нет. Декламация... Ну, мы все более или менее одинаковым образом декламируем. Дело в том, что русская поэзия, она чрезвычайно молода... Ей от силы триста лет как авторской литературе. И она началась, как бы сказать, в эпоху классицизма, явилась сколком с псалмов, с литургии, с литургических текстов, которые запоминаются и произносятся нараспев. Это раз. Затем, в школе учитель заставляет школьника запоминать стихотворение наизусть и читать его, что называется, с выражением, то есть подчеркивая интонацией свое понимание стихотворения. Кроме того, по радио мы довольно часто слышали чтение стихов, чтение классики различными чтецами. Из этих трех элементов и складывалась наша декламация.

А. Э. Отличалась ли ленинградская декламация от московской?

И. Б. В общем, я думаю, незначительно. С той лишь разницей, что в Москве, где больше кормушек... и просто у москвичей, у них нет — это глупо говорить в советское время — аристократизма и тенденции к эзотеричности, ограниченности круга. Наоборот, у них тенденция к расширению круга. И отсюда известный элемент публичности, работы на публику. Этого нет в Ленинграде. Бессмысленно, сидя в комнате, кричать таким образом, как будто ты на стадионе. Всякий раз, когда человек позволял себе что-нибудь в этом роде, его тотчас же принимались высмеивать. Речь идет о поэзии и о ее собственных требованиях. Она требует декламации. И то, как ты декламируешь, не столько результат, скажем, аудитории, которая перед тобой, сколько самого стихотворения, его музыки. Зачастую стихотворение, то есть сама просодия в достаточной степени публична. Поэтому она порождает совершенно определенную манеру чтения. Как правило, чем сложнее стихотворение стилистически, тем больше желание автора, который его читает, донести до читателя или до аудитории все его стилистические нюансы, поэтому ему приходится подчеркивать очень многое. Подчеркивать можно, естественно, только повышением или понижением голоса, других возможностей нет. Но автор более утонченный — он не подчеркивает ничего. Он произносит все довольно громко, но с колоссальной монотонностью.

А. Э. Почему?

И. Б. Потому что ему кажется дурным тоном подчеркивать нюансы. По крайней мере, он стремится сделать все одинаково слышным, то есть пытается продемонстрировать, что все одинаково, что он лично никакой части стихотворения, никакому слову не оказывает предпочтения.

А. Э. Это реакция на педагогику?

И. Б. Это не реакция на педагогику. Это просто определенный вариант авторской скромности.

А. Э. Можно ли проследить связь между этим чтением и религиозным чтением?

И. Б. Я думаю, что нет. Единственная связь, которая тут существует, в том, что поэт в обществе (вольно или невольно хотя бы благодаря своему эгоцентризму) представляется самому себе духовным, как бы сказать, вождем, или пастырем, или пророком и т. д. Но это скорее не столько религиозный аспект, сколько социологический, опять-таки социальный. В обществе, особенно в таком обществе, где авторитет церкви сильно скомпрометирован, поэт, литератор вольно или невольно вынужден рассматривать себя как носителя неких духовных ценностей или, по крайней мере, как того, кто к этим ценностям гораздо ближе, чем все остальные. Это, может быть, отчасти религиозный аспект, хотя, как я сказал, не столько религиозный, сколько социальный.

А. Э. Сам Ленинград, Петербург — был ли он детерминирующим фактором в развитии этой поэзии?

И. Б. Прежде всего чисто историческая роль: роль столицы, но столицы, переставшей быть таковою. Отсюда совершенно определенный пафос. В общем, культура, по крайней мере физическая культура, воплощена в Ленинграде в гораздо более высокой степени, нежели в Москве. Исторически Ленинград, или Петербург, всегда противопоставлялся Москве, ее чисто русскому патриархальному духу. Еще Боратынский написал замечательные стихи:

На все свой ход, на все свои законы.

Меж люлькою и гробом спит Москва...

Он высмеивал Москву за ее интеллектуальные и литературные попопозновения, за попытку установить салоны, подобные тем, которые существуют в Петербурге или вообще в Европе.

Более того, я хотел бы сказать, что литература действительно началась в Петербурге. И это вообще очень странное явление. Петр, когда перенес столицу в Петербург, был всячески осуждаем консервативным, патриархальным русским элементом, потому что столица империи оказалась на краю империи, на берегу моря, вообще моря, которое полагается чрезвычайно враждебной стихией. Русское сознание в принципе чрезвычайно континентально, клаустрофобично, если угодно. Следует отметить, что, например, в русском фольклоре море (хотя Россия как держава со всех сторон почти окружена морями) играет чрезвычайно незначительную роль, для него существует пять или шесть стандартных эпитетов. Ни в коем случае море не рассматривается как вариант пространства, бесконечности, вечности, как приближение к оным.

Через пятьдесят лет после того как перенесли столицу, в Петербурге возникла литература. При всей древности Москвы, при всей ее связанности с русской историей и т. д. и т. д. чрезвычайно мало в смысле литературы из Москвы произошло. И вдруг в Петербурге все это началось. Почему? Потому что, на мой взгляд, люди, которые оказались в Петербурге, это первое образованное в европейском смысле русское сословие, они ощутили себя как бы на краю империи, оказались в положении, позволившем взглянуть на эту империю, если угодно, со стороны. Что прежде всего необходимо писателю — это элемент отстранения. И этот элемент отстранения был обеспечен Петербургом чисто физически, то есть географически. Открытие Петербурга для литературы было как бы открытием Нового света, подобно открытию Америки; то есть ты как бы оказываешься внутри своей культуры, но и вне ее. И ты смотришь на свою страну, на свою нацию как бы с некой, ну, если не горы, то, по крайней мере, возвышенности. Высота для последующих поколений, занимавшихся литературой в Петербурге и потом в Ленинграде, была обеспечена именно той культурной традицией, которая сложилась в Петербурге. Считается, например (я не помню, чьи это слова), что мы все вышли из гоголевской «Шинели». Это так и не так, потому что, собственно, это была даже не гоголевская «Шинель», а шинель героя «Медного всадника». Потому что первый лишний человек, который вообще в русской литературе существует, это герой «Медного всадника».

А. Э. А море?

И. Б. Ну что море? Про море можно долго говорить. В общем, оно так и не стало элементом

русского национального сознания. Так и не стало элементом фольклора. Никогда им и не было. И даже в поэзии оно в лучшем случае нашло себе приют только в творчестве романтиков, и не столько по причине того, что оно существует, сколько, на мой взгляд, как дань романтической традиции, байронизму и т. д., тому, что происходило в Европе. В XX веке, я думаю, из всех русских поэтов позволил себе писать о море в каком-то серьезном объеме, как ни странно, москвич Пастернак. «1905 год», потом «Волны» и т. д. Но даже у Пастернака это носило характер несколько, как бы сказать, московский. Это попытка одомашнивания моря или, по крайней мере, не мысль о пространстве, не мысль о бесконечности, не мысль о том, чтоб удрать отсюда.

Петербург совершенно другой город. Петербург, он действительно находится на краю. Внешность у него абсолютно европейская. Но и помимо внешности: тот факт, что он открыт ветрам, что он находится на берегу Балтийского моря, чреват довольно любопытными эффектами. Зачастую кажется, что воздух там иногда пахнет европейским бензином или европейскими духами. Или облака носят на себе отпечаток неоновых вспышек Европы, как будто они пришли сюда как фотографии. Или — как такой кучевой кинофильм, который прокручивается над миром, и вот он приходит в Россию. В воздухе много европейских признаков. Это, я думаю, производит зачастую какое-то влияние. Не говоря уж о каких-то особенных запахах, чуждых континенту.

А. Э. Каковы были ваши отношения с центром, с властью, раз вы жили на границе империи?

И. Б. Когда вы живете в империи, в централизованной империи, то есть в той или иной степени зависите от общего знаменателя, который вам преподается не только в школе, но и самой жизнью, когда жизнь чрезвычайно строго регламентирована — в этом есть совершенно определенное преимущество для поэта, для писателя. Когда печать, радио, пресса централизованы, эта централизация превращает всю страну, как бы сказать, в читательскую массу с определенным стилистическим уровнем. Поэтому всякому поэту или писателю для того, чтобы быть замеченным публикой, приходится применять какие-то инновации. И на фоне этого стилистического плато он моментально становится заметен. С одной стороны, это для писателя чрезвычайно выгодно — что его замечает читающая публика. Но, с другой стороны, одновременно он замечается и теми, кто наблюдает за литературой профессионально, то есть цензурой и т. д.

У ленинградцев, у этой ленинградской школы было между собой больше общего, чем у кого бы то ни было, еще и вот по какой причине. Дело в том, что всякий поэт хочет путешествовать — по крайней мере в ту пору мы все, будучи молодыми, очень хотели. Разумеется, ни у кого из нас не было достаточно средств, чтобы позволить себе это. Помимо всего прочего, передвижение по территории СССР более или менее регламентировано правительством. Так, чтобы сесть на поезд и отправиться куда глаза глядят, куда ты хочешь, это не особенно легко, возникают всякие проблемы с пропиской и т. д. Поэтому довольно многие из нас в той или иной степени работали в геологии. В ту пору геологические экспедиции принимали людей, у которых не было никакого специального образования, потому что нужна была просто рабочая сила: спины, руки, ноги. И на протяжении ряда лет многие из нас отправлялись в экспедиции в самые разные части страны. И это тоже был некий общий объединяющий опыт.

А. Э. И как это отражалось на стихах?

И. Б. Ну, самым разным образом. Я говорил, что существовали литературные объединения при Доме культуры трудовых резервов, при Доме культуры промкооперации. Еще существовало одно литературное объединение, которое я забыл упомянуть, это при Горном институте, этим объединением руководил довольно замечательный, на мой взгляд, поэт (он и до сих пор жив) — Глеб Семенов.

Как это сказывалось на литературе? Я не знаю... Я, например, помню, что я принялся писать стихи не потому, что мне хотелось писать стихи или я думал об этой профессии, об этой карьере и т. д. Хотя

я всегда читал, и мне это ужасно нравилось. Но я помню, что я был в экспедиции, мне было лет восемнадцать или семнадцать, может быть, даже шестнадцать. И в этой экспедиции работал человек, который мне показал стихи своего приятеля — члена литературного объединения, руководимого Глебом Семеновым. Фамилия поэта была Владимир Бриганишский. Стихи назывались «Поиски». Это такая игра слов: геологические поиски и просто поиски — смысла жизни и всего остального. Он мне показал эти стихи, и мне показалось, что на эту же самую тему можно написать получше. И я написал несколько стихотворений. С этого все и началось, с чтения этих геологических стихов и с попытки написать лучше на ту же самую тему. А дальше уже так и пошло: и на другие темы написать получше. То есть психология в ту пору была именно такая.

А. Э. Вы не окончили школу. Каким был круг вашего чтения? Как вы открыли, затем перевели английских метафизических поэтов?

И. Б. Это дух соревнования. Сначала написать лучше, чем, скажем, пишут те, кого ты знаешь, твои друзья; потом лучше (то есть, может быть, лучше и не получалось, но казалось иногда, что получается), чем, скажем, у Пастернака или Мандельштама, или, я не знаю, у Ахматовой, Хлебникова, Заболоцкого. То есть ты сражаешься со всей русской поэзией; может быть, не столько сражаешься — просто там, где они кончили, ты начинаешь.

А. Э. Например?

И. Б. Пример привести трудно, потому что я ничего не помню. Я просто помню это отношение к вещам. Потом, годам к двадцати шести, наверное, русская поэзия не то чтобы кончилась, просто я заинтересовался тем, что происходит вовне. Сначала соседи — поляки, чехи, венгры и т. д., потом дальше — югославы, потом французы, как это ни странно. Но у французов ничего факто интересного не оказалось. И тогда появились англичане. И это вот единственная поэзия, которая мне действительно, кроме русской, интересна на сегодняшний день, да и вообще наиболее интересная. Ну, так мне кажется, во всяком случае.

А. Э. А откуда это пошло?

И. Б. По моему, где-то в 1964 году я впервые прочел в переводе стихи Роберта Фроста. Это меня потрясло. Дело в том, что я не верил, что стихи могут быть такими. Фрост — это наиболее пугающий, как бы сказать, поэт. Речь идет у него в стихах не о трагедии, но о страхе. Дело в том, что трагедия — это всегда *fait accompli*^{*}, в то время как страх — это *anticipation*^{**}. То есть страх имеет гораздо больше дело с воображением, чем трагедия. Вариант экзистенциального ужаса или экзистенциального страха, который имеет место у Фроста, это совершенно не то, с чем сталкиваешься в европейской, континентальной поэзии, это совершенно другое явление. Я был поражен и не верил переводам. И тогда я нашел стихи Фроста и попытался их разобрать по-английски. Оказалось, что все действительно на самом деле так у него и есть. После Фроста мне попался Донн. Совершенно случайно. Я начал читать эти стихи и был еще раз сбит с ног. Я подумал: что же это такое происходит? Два поэта, и оба производят на меня такое впечатление. Может быть, что-нибудь есть еще? Я начал читать вокруг. И чем больше я читал, тем более мне становилось все это интересно и захватывало.

А. Э. Почему именно они были интересны вам?

И. Б. Потому что у них другое отношение к жизни. Дело в том, что европейцы, русские в том числе — хотя Россия не столько Восточная Европа, сколько Западная Азия, — рассматривают мир как бы изнутри, как его участники, как его жертвы. В то время как в английской литературе... дело в языке, наверное, я даже не знаю, в чем дело, но мне неохота про это долго распространяться... — все время такой несколько изумленный взгляд на вещи со стороны. Элемент отстранения, который европейцу, в общем, не очень присущ. И это потрясающее качество, по крайней мере для русской литературы, настроенной на сантименты, на создание эмоционального или музыкального

эффекта. Ты вдруг слышишь голос, звучащий абсолютно нейтрально. И благодаря этой нейтральности возникает ощущение объективности того, что говорится. Я думаю, что это не столько завоевание поэтов, литераторов, которые эту психологию демонстрируют, сколько самого английского языка.

А. Э. Вы, значит, обнаружили в английской поэзии ту же отстраненность, что и в сознании петербуржцев. Не предрасполагал ли сам Ленинград к английскому языку?

И. Б. Когда мы хвалим того или иного поэта, мы всегда совершаем ошибку, потому что хвалить надо не поэта, а язык. Язык не средство поэзии; наоборот, поэт — средство или инструмент языка, потому что язык уже существовал до нас, до этого поэта, до этой поэзии и т. д. Язык — это самостоятельная величина, самостоятельное явление, самостоятельный феномен, который живет и развивается. Это в некотором роде как природа. И он достигает определенной зрелости. А поэт или писатель только оказывается поблизости, чтобы подобрать плоды, которые падают, и организовать их тем или иным образом. В самом деле, что такое поэзия? Поэзия, в сущности, высшая форма лингвистической, языковой деятельности. Если нас что-то отличает от животных, так это наша способность к артикуляции, к языку. Отсюда следует, что поэзия на самом деле не область литературы, не форма искусства, не развлечение и не форма отдыха — это цель человека как биологического вида. Люди, которые занимаются поэзией, — наиболее совершенные в биологическом отношении образцы человеческого рода.

Поэзия, и вообще литература, безнадежно семантична. Можно сказать, что поэзия — это наивысший род семантики, наиболее сфокусированный, энергичный, законченный вид семантической деятельности. Язык — это важнее, чем Бог, важнее, чем природа, важнее, чем то бы то ни было иное, для нас как биологического вида.

Говоря об англичанах, о поэзии по-английски, я думаю, что это (не из патриотизма говорю, а потому, что мне приходится с этим довольно часто сталкиваться) более высокоразвитая форма языковой деятельности. Главное качество английской речи или английской литературы — не *statement*, то есть не утверждение, а *inderstatement* — отстранение, даже отчуждение в некотором роде. Это взгляд на явление со стороны.

А. Э. Это сближает английскую поэзию с ленинградской школой?

И. Б. До известной степени. Ленинградская школа — в большей мере продукт русской пластики. Мы в те времена были в чрезвычайно сильной зависимости от того, что написано по-русски. Вообще каким образом действует искусство? Оно все время отталкивается от того, что уже сделано, совершает следующий шаг. Ты написал стихотворение и следующее стихотворение ты должен уже писать, отталкиваясь от этого стихотворения. Искусство тем отличается от жизни, что в нем невозможны повторения. То, что в жизни называется повторением, в искусстве называется клише. В отличие от жизни искусство развивается линейно. То же самое происходит и с языком. Но вы правы, существует элемент сходства между ленинградской поэзией и английской поэзией, потому что методологически ты все время отталкиваешься от того, что уже произошло, и смотришь на это уже как бы со стороны.

А. Э. Как будто поэзия живет своей собственной жизнью, отдельно от реальности, я имею в виду — от современной реальности и лингвистики.

И. Б. Именно. Как я сказал, реальность политическая, социальная, какая угодно — она обеспечивает плато, с которого ты начинаешь карабкаться вверх. Но плато существует. Все время, пока ты говоришь, ты удаляешься от этого плато, и читатель ощущает дистанцию удаления, то есть все время существует референция. Вольно или невольно поэт демонстрирует эту степень удаления чисто лексически, когда он не пользуется словами и оборотами, установленными, скажем, существующими средствами информации. Наоборот, он может пользоваться ими, то есть инкрустировать ими свою речь (скажем, когда официальный бюрократизм вкраплен в строчку,

* Сверхившееся (франц.).

** Предвосхищение (франц.).

где есть церковно-славянский оборот или какая-нибудь высокая лирическая нота), но сразу же поэзия как бы проливает свет на подлинное место этого бюрократизма. Она показывает, насколько это далеко от доступной для человека психологической или лингвистической деятельности, насколько это ниже. И, конечно же, государство или те, которые следят за литературой, понимают эту опасность и понимают, что поэзия просто компрометирует их лингвистические и идеологические нормативы.

А. Э. Это заставляет вспомнить Пушкина, первого поэта-мученика. Является ли он действительно основоположником русской поэзии или Пушкин — лишь миф? Чем он был для вас?

И. Б. Русская поэзия началась задолго до Пушкина. Она началась с Симеона Полоцкого, Ломоносова, Кантемира, Хераскова, Сумарокова, Державина, Батюшкова, Жуковского. Так что к тому времени, когда Пушкин появился на сцене, русская поэзия существовала уже на протяжении полутора столетий. Это уже была разработанная система, структура и т. д. Тем не менее поэтика или стилистика (я никогда не знаю, какое из этих слов употребляют), видимо, нуждалась в некоторой модернизации, в улучшении. Русская поэзия ко времени Пушкина уже была достаточно гармонизирована, она уже отошла от силлабической поэтики, то есть от силлабического стиха, который имел место в конце XVII — начале XVIII века. Уже господствовал силлабо-тонический стих, который тем не менее нес на себе нагрузку, какой-то силлабический мусор. Сам Пушкин и гармоническая школа, возникшая с ним, как бы очистили стих от этих метрически-архаических элементов и создали чрезвычайно динамический, чрезвычайно гибкий русский стих, тот стих, которым мы пользуемся и сегодня. Разумеется, с этим процессом очищения, с этой водой было выплеснуто и изрядное количество младенца. Дело в том, что в этой шероховатости, неуклюжести таились свои собственные преимущества, потому что у читателя мысль задерживалась на сказанном. В то время как гармоническая школа настолько убыстрила или гармонизировала стих, что все в нем, любое слово, любая мысль, получает одинаковую окраску, всему уделяется одинаковое внимание, потому что метр чрезвычайно регулярный.

А. Э. Это плохо?

И. Б. Это, с моей точки зрения, не совсем хорошо, потому что все-таки стих время от времени следует задерживать — ну, замедлять, разрушать иногда. Если угодно, можно даже сказать, что всплеск модернизма, который имел место в начале XX века, был в каком-то роде попыткой возврата или восстановления неких элементов, утраченных гармонической школой. Во всяком случае, он был в значительной степени реакцией на инфляцию гармонической школы, гармонической поэтики, которая доминировала в русской литературе на протяжении всего XIX века и которая нашла свое наивысшее воплощение в символизме. То есть это была школа, стих которой читателю (по крайней мере сегодняшнему читателю) уже представляется в достаточной степени бессодержательным. Гладкопись достигла такой степени, что глаз почти не останавливался ни на чем. Упрекать за это Пушкина, безусловно, не приходится. Упрекать придется только эпигонов, потому что в тот период, когда Пушкин появился на литературной арене, он выполнял роль чрезвычайно существенную, в некотором роде облагораживал язык. То есть не столько облагораживал, он его, как бы сказать, сглаживал, но одновременно тем самым делал его доступным чрезвычайно широкой читательской массе. Это уже был язык чрезвычайно светский, лишенный архаических оборотов, лексической архаики, язык благозвучный. То, что по-итальянски *dolce stile nuovo* * — это действительно *dolce* во многих отношениях. Этот стих чрезвычайно легко запоминается. Ты его впитываешь совершенно без всякого сопротивления.

А. Э. А чем это объясняется?

И. Б. Это объясняется известной гладкописью, но главным образом, я полагаю, это объясняется музыкальностью. Я просто пытаюсь объяснить техническую сторону успеха Пушкина как поэта и вообще успеха

всей этой школы. Разумеется, когда мы говорим о поэтах, о поэзии, о чисто технической стороне говорить бессмысленно, потому что она сама по себе как бы не существует. Речь идет о содержании в первую очередь. Поэт — чрезвычайно сгущенное содержание. И привлекательность Пушкина заключается в том, что в гладкой форме у него есть это чрезвычайно сгущенное содержание. Для читателя не возникает ощутимого столкновения между формой и содержанием. Пушкин — это до известной степени равновесие. Отсюда определение Пушкина как классика. Что касается содержания Пушкина, то есть чисто дидактической стороны, я думаю, что он был, конечно же, совершенно замечательный поэт с совершенно замечательной очень глубокой психологией. Хотя рассматривать его как отдельную фигуру бессмысленно, потому что ни один поэт не существует вне своего литературного контекста. Пушкин невозможен без Батюшкова, так же как невозможен он без Боратынского и Вяземского. Мы говорим «Пушкин», но это колоссальное упрощение. Потому что, как правило, нам всегда удобнее оперировать каким-то одним поэтом, ибо по-другому довольно сложно — это уже требует определенных познаний, надо знать все, что происходило вокруг. На мой взгляд, в том самом русле психологической поэзии, по крайней мере в смысле участия элементов психологического анализа в стихе, в стихотворении, Боратынский был куда более глубоким и значительным явлением, чем Пушкин. Тем не менее, я думаю, Боратынский без Пушкина невозможен, так же как и наоборот. Дело в том, что Боратынскому не нужно было писать роман в стихах, длинные поэмы, он мог оставаться лириком, оперировать в чрезвычайно ограниченных формах, потому что Пушкин выполнил всю эту большую работу. Так же как и Пушкину, в свою очередь, не нужно было особенно напрягаться в элегиях — он знал, что это делает Боратынский.

Поэтому когда мы говорим «Пушкин», мы должны иметь в виду все то, что происходило вокруг. Пушкин — это столица страны? Или Пушкин — это не самостоятельный город, но страна, в которой много других городов с прошлым и с будущим? Он до известной степени некая линза, в которую вошло прошлое и вышло будущее.

А. Э. А почему именно он запоминается, а не Боратынский, например?

И. Б. Потому что прежде всего Боратынский сложнее, потому что речь идет об объеме и о количестве написанного Пушкиным, не говоря уж просто о чрезвычайной трагичности его личной судьбы. Судьба Боратынского была в некотором роде не менее трагична, но он не погиб на дуэли. Кроме того, никто не подвергался в то время таким гонениям, как Пушкин.

А. Э. А это имеет значение?

И. Б. Это, безусловно, играет какую-то роль, привлекает внимание читательской массы к поэту. Я не хочу сказать, что Пушкин достиг своей славы, известности именно тем, что он погиб на дуэли. Дуэль с ее печальным исходом была скорее логическим следствием поэзии Пушкина, потому что поэзия всегда более или менее приходит в столкновение с обществом. И в случае Пушкина это столкновение приняло наиболее экстремальный характер.

Ну что еще про него сказать? Вообще про Пушкина я мог бы говорить довольно долго. Это был человек... Одно из наиболее замечательных свойств поэзии Пушкина — благородство речи, благородство тона. Это поэзия дворянская. Это дворянский тон. Звучит немного банально и даже до известной степени негативно, но на самом деле вся пушкинская плеяда были дворяне. И понятие чести, благородства были чрезвычайно естественными для них понятиями. Это были не разночинцы. Это не Некрасов. Поэтому тон их поэзии не столько приподнятый, сколько сдержанный и горделивый, тон человека, держащегося в обществе и в литературе с достоинством. И это, может быть, частично определяет некоторые гармонические элементы.

Необходимо сказать еще одну вещь, ибо об этом, по-моему, никто не говорил или говорил, но не был услышан. Чрезвычайно большой загадкой представляется западному читателю, да и русскому читателю, явление Достоевского. Как это так, в литературе, которая существует только двести лет, вдруг ни с того

* Сладостный новый стиль.

ни с сего, ничем не подготовленный, появляется такой писатель? У Достоевского действительно нет предтеч, по крайней мере в прозе, если не считать Гоголя. Но это скорее стилистический предтеча, нежели предтеча по существу. Психологическим реализмом русская проза, предшествовавшая Достоевскому, не страдала. Возникает вопрос: откуда это? Ответ: из поэзии. Именно из поэзии, из Пушкина, из Боратынского, из Вяземского, из всей этой плеяды, из начала века. Дело в том, что Достоевский в своей речи о Пушкине на пушкинском юбилее, процитировав Гоголя («Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа»), сказал: «Прибавлю от себя: и пророческое». Пророческое не потому, что он пророчил какие-то беды, грозы или, наоборот, светлое будущее России, но прежде всего потому, что он явился пророческим влиянием в литературе как человек, который уделяет внимание психологической мотивировке. И Достоевский — прямо оттуда. Ахматова говорила даже, что все герои Достоевского — это состарившиеся пушкинские герои...

Но следует напомнить, что такое пушкинский герой. Когда я говорю о пушкинском герое, я думаю о трех или о четырех ипостасях. Прежде всего я думаю о герое «Медного всадника», о Евгении, об этом имени, которое вошло в русскую поэзию как синоним романтического героя. Благодаря не только «Евгению Онегину», но и «Медному всаднику». Дело в том, что Евгений — первый лишний человек, первый романтический герой, который оказывается в столкновении с обществом, вернее, с символом общества, а именно со статуей Петра. В некотором смысле это такой же чиновник, как и Акакий Акакиевич Гоголя. Евгений из «Медного всадника» — это обедневший мещанин, что называется, middle class*, буржуа, если угодно. Пушкин был первым, кто сделал героем такого человека. Второй герой — мелкопоместный дворянин. Это герой пушкинской прозы, главным образом «Капитанской дочки», «Дубровского», то есть это Дубровский и Гринев. Третий, наконец, — пушкинский Онегин. Это лирический герой, представитель светского общества. В некотором роде герой этот даже тавтологичен, потому что во многих отношениях это автопортрет поэта. Но, разумеется же, не alter ego** поэта. И, наконец, главный герой пушкинской поэзии — просто его лирический герой, продукт, безусловно, поэтики романтизма, но не только романтизма.

Вообще никакого «изма» в русской поэзии в чистом виде никогда не существовало, всегда что-то добавлялось. Пушкинский лирический герой — это романтический герой с колоссальной примесью психологизма.

Вот четыре характеристики, их можно даже свести к трем, потому что можно поженить Онегина и этого лирического героя. Но, я думаю, этого делать не следует.

А. Э. У вас есть личные воспоминания о Пушкине в детстве?

И. Б. В общем, особенных нет, за исключением опять-таки «Медного всадника», которого я знал и до сих пор, думаю, знаю наизусть. Надо сказать, что в детстве для меня «Евгений Онегин» почему-то сильно смешивался с «Горем от ума» Грибоедова. Я даже знаю этому объяснение. Это тот же самый период истории, то же самое общество. Кроме того, в школе мы читали «Горе от ума» и «Евгения Онегина» в лицах, то есть кто читал одну строфу, кто другую строфу и т. д. Для меня это было большое удовольствие. Одно из самых симпатичных воспоминаний о школьных годах.

А. Э. А у вас есть такие пушкинские стихи?

И. Б. Я думаю, есть. И довольно много, но с какими-то добавлениями, с модернизированием — когда стихотворение держится на принципе эха, пушкинского эха, то есть эха гармонической школы. Не так их много, но есть. Это уж настолько норма — поэтическая лексика Пушкина, что допускаешь время от времени перифразы. Я написал, например, целый цикл сонетов, так называемые «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», которые в сильной степени держатся на перифразах из Пушкина.

А. Э. Почитайте, пожалуйста.

И. Б. Ну, например, последний сонет:

Пером простым, не правда, что мятежным,
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:

- а) был ли он учеником прилежным,
- б) новую для русского среду,
- в) слабость к окончанием падежным.

В Непале есть столица Катманду.

Случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду.

Веда ту жизнь, которую веда,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду...

Начало сонета — это чистый Александр Сергеевич по звуку.

А. Э. Нельзя ли сказать, что Бродский начался с Пушкина?

И. Б. Нет, это был не Пушкин. Это было что-то совершенно другое... Вообще я думаю, что я начал писать стихи, потому что прочитал стихи советского поэта, довольно замечательного, Бориса Слуцкого. С него, собственно, и начались более или менее мой интерес к поэзии и вообще мысль писать стихи. Но далеко особенно я не пошел, пока не прочитал упомянутого ранее геологического поэта, дальше уже пошло само собой. Потом я читал уже всех, и каждый, кого ты прочитываешь, оказывает на тебя влияние, будь то Мандельштам или, с другой стороны, даже Грибачев, даже самый последний официальный однописец.

А. Э. Так что, в конце концов, Пушкин является мифом?

И. Б. Я думаю, что нет. Я думаю, что Пушкин все-таки не миф. Пушкин — это тональность. А тональность — не миф. Например, самый пушкинский поэт среди русских поэтов XX века по тональности — Мандельштам. Это совершенно очевидно. Просто мы все до известной степени так или иначе (может быть, чтобы освободиться от этой тональности) продолжаем писать «Евгения Онегина». У Мандельштама, например, есть стихотворение «Над желтизной правительственных зданий». И вообще, в Мандельштаме, особенно периода «Камня» и даже «Tristia», чрезвычайно отчетливо слышен Пушкин. Мы как-то говорили об этом с Ахматовой. Она спросила: «Иосиф, кто, вы думаете, мандельштамовский предтеча»? У меня не было на этот счет никаких сомнений. Я сказал, что, по-моему, это Пушкин. И она говорит: «Абсолютно верно».

А. Э. У кого из других поэтов слышится пушкинское эхо?

И. Б. Я думаю, в такой степени ни у кого. Хотя Пушкин прорывается довольно часто у Пастернака — например, «Волны» в сильной мере держатся на пушкинском эхе. Из ленинградской школы этот элемент очень силен у Кушнера.

А. Э. Как вы перенесли испытание изгнанием? Чем является изгнание для поэта? Что происходит с языком?

И. Б. Качественной разницы я не замечаю. Ну, естественно, это несколько менее комфортабельная ситуация, нежели когда ты пишешь дома и тебе стены помогают. Или, скажем, когда, написав стихотворение, ты можешь найти читателя или человека, который поправит или, я уж не знаю, с которым можно посоветоваться, проверить эффект и т. д. Но если находишься в ситуации, когда не можешь проверить эффект и стены не помогают, в этом есть и большая доблесть. Не такая уж большая хитрость заниматься литературой в условиях комфортабельных (по крайней мере лингвистически комфортабельных). Гораздо более серьезное дело, когда ты работаешь в условиях, этому чрезвычайно не способствующих. Тут-то и выясняется, занимаешься ли ты этим исключительно нарциссизма ради (то есть ради положения в обществе или, я не знаю, популярности среди друзей) или самой литературы ради, самого языка ради. Разумеется, существует масса неприятных моментов — например, когда ты не можешь вспомнить, найти рифму или забыл, как произносится слово, и тебе начинает казаться, что ты забы-

* Средний класс (англ.).

** Второе «я» (лат.).

ваешь язык. Масса разнообразных страхов. Но чем больше страхов, тем, как правило, плоды более интересные. Это с одной стороны. С другой стороны, человек, писатель в эмиграции, он в некотором роде физически напоминает уже свои книги, которые стоят на полке и которые либо берут, либо не берут. Как правило, не берут. То есть он приближается к своему будущему.

Разумеется, возникает дополнительное количество трудностей, связанных с самим писанием. Но писательство, по определению, довольно трудоемкое предприятие. Это вообще лучшая школа неуверенности. Уже не знаешь, чему приписать это возрастание трудностей: самому литературному процессу, который весьма и весьма сложен, или тому, что ты действительно забываешь язык, или, я уж не знаю, просто тому, что ты стареешь. Преимущество этой ситуации, то есть жизни вне отечества, литературы вне отечества, в том, что тебе не на кого сваливать. Может быть, и есть на кого, но ты понимаешь, что, свалив, ничего не изменишь, и тем не менее тебе нужно что-то делать. В некотором роде ты оказываешься в положении эдакого космического аппарата, автономной системы, которая либо выживает в космосе, либо не выживает.

А. Э. А английский язык ничего не приносит?

И. Б. Ну, конечно, приносит. Это совершенно замечательный язык. Надо сказать, я довольно много пишу по-английски, но не стихи. Стихи чрезвычайно редко и скорее развлечения ради. Или для того, чтоб продемонстрировать своим англоязычным коллегам, что я способен на это, — чтобы не особенно гордились. Как правило, пишу по-английски прозу, эссеистику. И это мне колоссально нравится. Я думаю, возникни сейчас ситуация, когда мне пришлось бы жить только с одним языком, с английским или с русским (даже с русским), это меня, мягко говоря, чрезвычайно расстроило бы, если бы не свело с ума. На сегодняшний день мне эти два языка просто необходимы. Может быть, в этом до известной степени мое спасение, потому что жалобы, которые я выслушиваю от своих русских коллег, они все в той или иной степени объясняются тем, что люди имеют дело только с одним языком. Действительно, русская читательская среда чрезвычайно ограничена. И русские литературные проблемы чрезвычайно ограничены или специфичны, это не универсальные проблемы. Они более или менее связаны с эмиграцией или с этой средой, которая тебя окружает. А писателю необходимо все время внимание общества или какая-то взаимосвязь с обществом, *interplay*, взаимодействие. Что касается взаимодействия, я его себе обеспечиваю главным образом по-английски. Так что у меня эта потребность в среде или во взаимодействии, к счастью, удовлетворена в большей степени, нежели у тех, кто имеет дело только с русским языком.

А. Э. Может быть, это объясняется и еврейским происхождением?

И. Б. Я не думаю. Может быть, но этого как-то просто не вижу. Я думаю, дело в том, что английский язык, английская литература интересовали меня давным-давно в России. Я довольно много переводил с английского. Когда я попал в Штаты, то подумал, что вот наконец я, переводчик, приблизился вплотную к оригиналу.

А. Э. Я имела в виду двойную культуру. Воспоминания о еврействе, даже если вы не были воспитаны в еврейских традициях.

И. Б. Ну, у меня никаких воспоминаний нет, потому что в семье, среди родственников этого совершенно не было. Я был в синагоге только один раз, когда с группой приятелей зашел туда по пьяному делу, потому что она оказалась рядом. Любопытства ради. Культура начала становиться для меня «двойной» только с помощью английского. Но вся суть заключается в том, что она начала становиться не столько «двойной», сколько культурой, потому что Россия — только часть христианской культуры, одна ее сторона, довольно интересная, но не самая интересная. По крайней мере, это одностороннее представление о мире. Та цивилизация, та культура, к которой мы принадлежим, это христианская или постхристианская культура. И мне видны на сегодняшний день, я надеюсь, две грани ее: рациональная английская и рефлексивная русская.



БЛАЖЕННЫ СВОБОДНЫЕ...

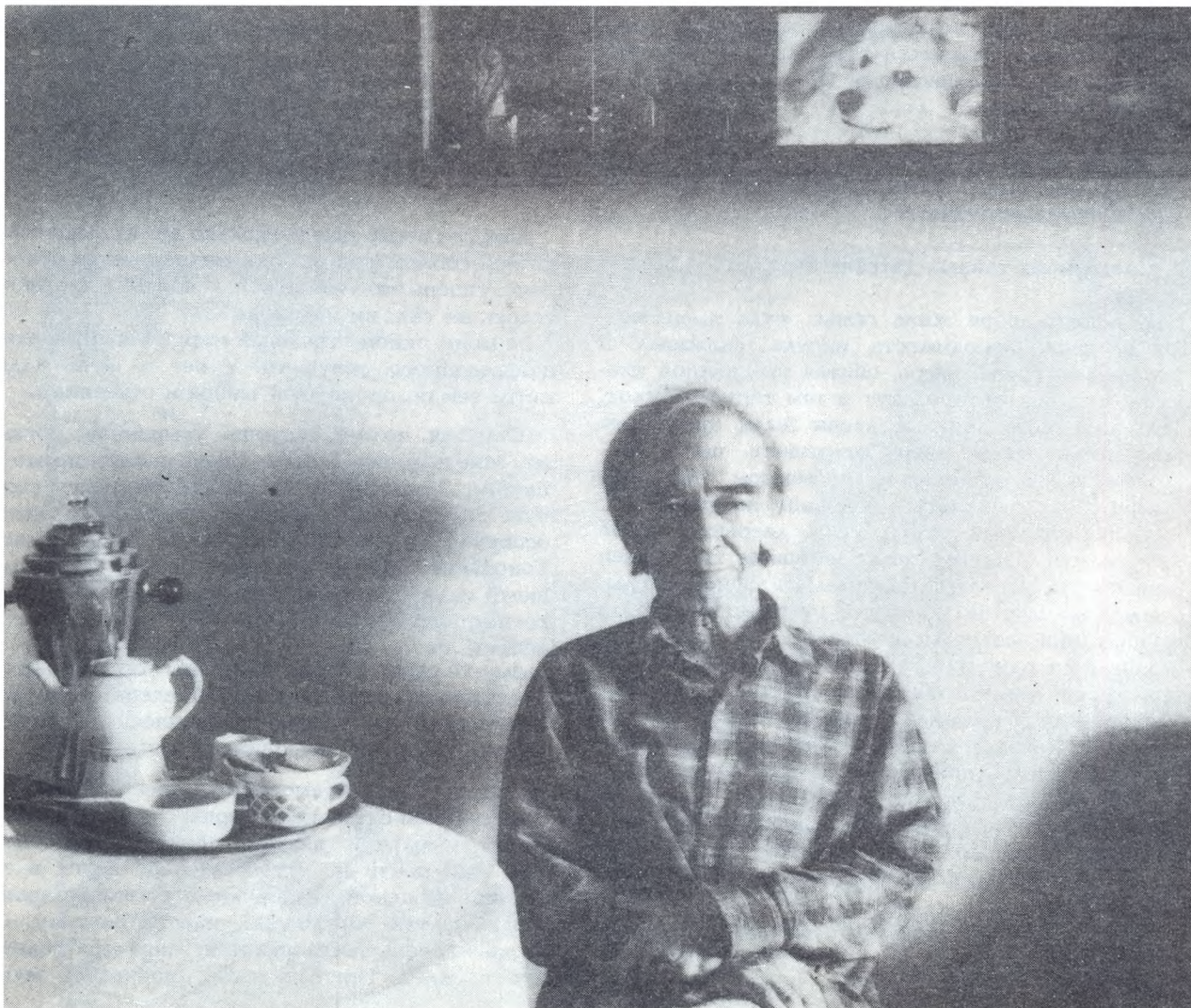
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ

На этих страницах мы встречаемся с известным кино-критиком Александром Ивановичем Александровым в его новой для читателя ипостаси. Здесь он автор стихотворений в прозе.

Что такое стихотворение в прозе? Сам термин говорит о промежуточности этого литературного жанра. Прозаикам вторжение поэзии в их область, так же как и поэтам вторжение прозы в поэзию, кажется незаконным. Особенно прозаикам и поэтам в их молодые годы, когда суждениям свойственна крайняя категоричность. В старости другое дело. Недаром Тургенев собрание своих произведений такого рода назвал «Senilia», что в переводе означает «Старческое». Все же читателю известны прекрасные образцы этого жанра. Кроме Тургенева, так грешили Бодлер, Пришвин, Рембо, Жюль Ренар...

В чем прелесть стихотворений в прозе А. Александрова? В удивительной зоркости автора, в убедительности того синтеза «Мир — Художник», которым сильно подлинное искусство (а синтез этот запечатлен здесь с примерной наглядностью). В том, что читатель здесь учится смотреть на мир глазами добра. Этим маленьким прозаическим поэмам присуща своя ритмическая основа, быть может, более изощренная, чем обнаженная стихотворная ритмика. Существование каждого стихотворения в прозе А. Александрова оправдано ясностью замысла, полнотой творческой мысли, художественной идеей. А своеобразность и талантливость их воплощения придают творчеству А. Александрова очарование, которому читатель дружелюбно и признательно подчиняется.

Арсений ТАРКОВСКИЙ.



С возрастом начинаешь почти физически ощущать, как жизнь передвигает человеческие судьбы на доске, разграфленной задолго до того, как появились на свете шахматы. Игра идет очень простая — на уровне третьего разряда. Я давно усвоил ее правила, но все-таки вздрагиваю, когда рука прикасается ко мне, чтобы сделать очередной ход.

Каждый день я могу свернуть направо или налево, зайти в дверь или пройти мимо, сесть за работу или читать книгу... Что было бы, если б я однажды пошел налево или не заговорил бы со знакомым? Переменил бы работу на год раньше?.. Сидел бы я сейчас за этим столом и писал бы эти строки, и была бы у меня собака, и так же не было бы денег? Только один шаг в сторону — и все было бы иначе?

Когда я дохожу до этой мысли, во мне совершается мгновенная переоценка ценностей. Мне становится дорого все, что я имею сегодня. Каждая клеточка моего бытия неотделима и неповторима. Дорого даже то, что изо дня в день терзает меня. Даже отсутствие того, чего мне так не хватает.

Вижу ли я гармонию предначертанности или боюсь своей беззащитности перед господством случайностей? Или, отстаивая себя, я хочу быть тем, кто я есть?

Я не хочу быть возможным в миллионах ипостасей. Трудно смириться с мыслью, что человеческая личность зависит от шага, сделанного в другую сторону.

Снова весна. Кажется, будто она — первая. Что до нее были только бесконечная зима, холод и отчужденность.

Среди моих тайных детских страстишек была и такая.

В нашем дворе жила семья, куда я, несмотря на свою нелюдимость, иногда захаживал. В их квартиру вела дверь, обитая изодранной клеенкой, из-под которой тут и там торчал войлок. Для навесного замка к двери были приделаны две петли. Когда дверь открывали, петли расходились. В маленьком и темном парадном дворе обнаруживалась в основном на ощупь.

Свою странную игру с этой дверью я начал с того, что, нащупав петли, вставлял туда палец правой руки, а левой нажимал на звонок. Я слышал, как идут по комнате, открывают дверь в кухню (она всегда была закрыта, так как в кухне было холодно и сыро), приближаются к наружной двери, гремят задвижкой, замком, цепочкой...

Поначалу я вынимал палец, заслышав, как открывают дверь в кухню. Позже — когда приближались к входной двери. Потом — когда щелкала задвижка. Под конец я наловчился выдергивать палец в момент, когда дверь уже начинала открываться. Но удовлетворения не было. Игра была сыграна, когда я однажды не успел выдернуть палец.

Это было очень давно. А я все сую и сую палец в дверные петли. И иногда не успеваю выдернуть.

Я не озорник. Я, в общем-то, тихий, и замкнутый.

Когда поезд ночью подъезжает к городу, темноту начинают прокалывать миллионы светлых квадратиков окон, сливающихся в сплошное электрическое марево. И тогда приходит эта ненавязчивая мысль: за каждым квадратиком — жизнь... Их несметное множество. Какой-то колоссальный организм, огромная живая туманность! Не может же быть, чтобы каждая из этих жизней была бы индивидуальностью, существующей своими интересами, чувствами, мыслями, — индивидуальностью, имеющей лишь какое-то отношение ко всей гигантской массе других жизней. Не может быть, чтобы наша собственная жизнь была так важна, как нам это кажется... В эти короткие минуты чувствуешь, будто вот-вот поймешь сущность человеческого бытия, поймешь свое место в этом бытии. К сознанию приближается беспокоящая и облегчающая мысль: ты — лишь частица огромного организма, твои заботы, радости и страдания — лишь слабый импульс бесконечной деятельности этой живой туманности. И если тебе дано чувствовать себя ее центром, если ты оставлен наедине со своей жадой жизни и со своим страхом перед смертью, то это только для того, чтобы каждая частица туманности чувствовала себя неповторимой и отдавала бы все силы в борьбе за себя и свое продолжение. Иначе туманность начнет остывать и погаснет.

Когда я выхожу из поезда, смешиваюсь с толпой, это озарение блекнет, начинает казаться философской натяжкой. Инстинкты сильнее мысли, потому что они созидают. Они на службе у Вечности.

Каждую весну уже несколько лет я слышу в ночи вой собаки. Год от года он становится все короче. Теперь это уже не вой — вопль. У нее не осталось ни сил, ни надежды.

За моим окном огромный мир, **полный** запахов, неизведанного, зовущего. У нее — цепь и два метра земли, пропахшей **мочой** и отчаянием.

Большая поляна, сплошь усыпанная лютиками. Мне надо пересечь ее. Сначала я иду прямо по цветам. Затем почти невольно, стесняясь своей чувствительности, начинаю обходить места, особенно густо поросшие нежной желтизной. Тоненькие стебли, повернув цветок к заходящему солнцу, раскачиваются на ветру. Их крохотные золотые тела нежатся на густеющем солнечном свете. Но вот я замечаю, что иду по **чьему-то** следу. Это не тропинка: только один человек прошел здесь до меня. Но теперь мне не надо искать пути, на котором не пришлось бы топтать цветы. И уже не так одиноко в этом мире.

В углу, почти у самого пола поселился паучок — величиной с горошину перца. Он сплел маленькую треугольную паутину. Дело было осенью, мух уже почти не осталось. Я не видел в его паутине ни одной. Раз в неделю у нас прибирают, раз в неделю он должен плести паутину. Он вновь и вновь воссоздает свой треугольник и ждет. Пришла весна, появились мухи.



Александр Александров. Блаженны свободные

Однажды одна из них угодила в крохотную ловушку. Паучок закатал ее в паутину и пристроил здесь же у стены: может быть, этим запасом ему придется жить еще полгода. На следующий день была уборка и не стало ни паутины, ни мухи.

Пришло лето. В нашей очень чистой квартире мухи все-таки водились. Но паучок исчез. То ли его однажды смахнули вместе с паутиной, то ли он просто засох.

Была по дороге на село Красное березовая роща. Пожалуй, самая красивая в этих местах. Ее только что свалили.словно на бойне побывал. Свежие срезы покрыты пенящимся белым соком. Корни еще не знают о случившемся и делают свое дело. Потом поймут и начнут сохнуть.

С тех пор в этом далеком уголке твоего детства остались только завораживающая тишина да теплое, пахнущее закатом солнце на стене дома.

Живое, трепещущее видение, как бабочку, ловишь, стараясь не повредить ее зыбкую красоту, и прикалываешь пером к белому листу бумаги. Теперь твое видение может видеть каждый. Никто не заметит, что оно мертвое. Это почувствуешь только ты. Когда замрут и распадутся ее крылья, замрет и успокоится твоя боль.

Однажды какого-то дела ради я один в небольшом зале смотрел фильм. В соседнем помещении зазвонил телефон. Я вышел и взял трубку. Поговорив, я направился обратно в зал. И вдруг меня поразила мысль: а ведь сейчас фильм идет в пустом зале... Стало даже немного жутко. Что там сейчас происходит? Видения жизни, созданные нами и для нас, остались наедине с самими собой. Ведь они неотделимы от нас, они часть нас самих. И эта наша часть может жить без нас? Что сейчас происходит в этом пустом темном зале — совершается ли там акт искусства или просто движутся по полотну тени?...

Я вспомнил этот случай, когда на днях шел через березовую рощу, уже тронутую осенней пестротой. Красота и грандиозность этого грустного акта природы всегда потрясали меня. Но в последние годы одновременно с чувством восторга я стал испытывать странное сомнение: да на самом ли деле эта красота реальна — эта гармония, это бесконечное разнообразие, это совершенство линий, красок и оттенков? Выходит, что природа живет не только биологически, но и духовно. Как могло само собой возникнуть такое совершенство? Мы уже познали сложнейшие законы физического и биологического бытия, но мы еще и понятия не имеем о законах, по которым творится красота природы.

Но, может быть, это я сам воссоздал и одухотворил нечто совсем отличное от того, что я вижу? Может быть, в мире есть физическое совершенство, но нет прекрасного, и оно наполняет мир только тогда, когда я на него смотрю, и мгновенно угасает, когда я отвожу глаза?

...Совершается ли акт искусства в пустом зале?

Пребудет ли природа прекрасной, если не станет нас?

Дворник заметает остатки лета.

После холодного лета наступила теплая золотая осень. Нет буйного разрушения: лето словно бы растворяется в этих ясных золотистых днях. Редко доводилось мне видеть такое тихое увядание.

Дни стоят солнечные, небо голубое. Южный ветерок доносит блеклое тепло неудавшегося лета. Кажется, что лето прошло мимо и теперь, на прощание, пахнуло на нас так и не сбывшимся обещанием зноя, изобилия, радости. Но все-таки красота этого покорного увядания удивительна. Смешались все оттенки желтого, голубого, зеленого. Они не буйствуют, не борются, как в обычной осени. Никаких спазм. Они не горят, а светятся, сливаются в гармоничную картину Великой смены. Природа равно прекрасна и в рождении, и в умирании. Наверное, потому, что она бессмертна. А в нас есть «я». И чем дальше от природы, тем безобразнее и мучительнее наш конец.

На тетрадь откуда-то свалилась букашка. Я пошевелил бумагу. Букашка свернулась, замерла... Единственное, чем она может защититься.

Куст садовых ромашек расцвел в конце сентября, когда уже начались ранние осенние заморозки. Цветы засохли, деревья желты. День за днем ветер и дождь. Среди осенней угрюмости расцветшие ромашки выглядят нелепо и трагично. Лепестки их еще совсем молоды, но они съжились и, слабые, дрожат на осеннем ветру. Одни стебли дождь пригнул до земли, другие еще стоят. Большие желтые глаза цветов смотрят удивленно: неужели это и есть жизнь — промучиться несколько дней на дожде и холоде и увянуть, ничего не получив и ничего не отдав?..

Природа становится все холоднее, отдаляется, уходит в себя. Она еще красивее, чем была летом. Но грустная и одинокая. Теперь мы каждый сам по себе. Она, как зверь, умирает в одиночку. Если бы могла, ушла бы и спряталась, прежде чем случится это. Но она не может уйти. И потому умирает замкнуто, с великим достоинством и великой красотой.

Наши свидания стали короче, и я чаще сажусь за эту тетрадь. Воспоминания о недавней близости с ней сжимают сердце.

Говорят, огонь очищает. Я не понимаю этого. Я не люблю огонь: он не оставляет надежды.

Если б человечество обладало чувством юмора, многие исторические преступления и безумия были бы невозможны.

Защелкал соловей. С пруда доносится неумолчное стрекотание лягушек — блаженное, весеннее... Блаженны свободные. Свободных убивают морозы, ночами поливают ледяные дожди, они тысячами гибнут в дальнем пути. Это — жизнь.

ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ?

Лев Шестов



В отличие от большинства других философов — представителей русского духовного Ренессанса первой половины XX века Лев Шестов практически не писал на актуальные социально-политические темы. Если у его друзей и коллег мы находим целые тома исследований о русской революции, ее истоках и последствиях, то Шестов лишь однажды высказался по этой больной теме в публикуемой здесь статье. Это, однако, совсем не означает, что Шестова не волновали события в России. Напротив, он внимательно следил за ними и глубоко их переживал.

**ПРОКЛЯТЫЕ
ВОПРОСЫ**

Лев Шестов. Что такое русский большевизм?

Февральская революция вызвала неописуемый восторг в среде либеральной интеллигенции, но Шестова она скорее насторожила. Он, казалось, предчувствовал будущую кровавую драму, понимал, что она лишь откладывается на некоторое время. Это настроение отразилось в письмах Шестова, написанных сразу после Февраля, в которых звучит не восторг, а скорее облегчение от не оправдавшегося тяжелого предчувствия: «Слава Богу! все обошлось необычайно хорошо: ни кровопролития, ни грабежей» (6 марта 1917 года). Вскоре у Шестова, судя по письмам, начинает появляться надежда на благополучный исход революции: «Бог даст, Россия будет разумнее других стран и перейдет к новому строю без особых потрясений» (29 марта 1917 года). Еще через месяц: «Где же такие перевороты легко проходят? В России еще сравнительно благополучно. Все-таки живем мирно, спорим, но серьезно не соримся. Дотянем до учредительной организации — тогда, верно, уляжется все и мы вступим в норму» (24 апреля 1917 года).

В конце весны и летом Шестов все более успокаивается относительно будущего России, но осенью его вновь охватывают тяжелые мысли: «О наших русских делах — лучше не говорить. Я надеюсь, что перемелется — мука будет. Но пока очень и очень грустно. Все надеялись, что революция не так пройдет. Хотя — почему надеялись? Непонятно!» (9 октября 1917 года).

Приход к власти большевиков разбивает последние надежды Шестова на благополучное завершение революционных изменений в России. «Многие, особенно из старых революционных деятелей, надеются, что из настоящего хаоса родится светлое будущее. Но это — заблуждение, — писал он 1 декабря 1917 года. — Из настоящего хаоса родится отвратительная реакция — даже в том случае, если немцам не удастся после окончания войны сохранить свое влияние. Темная народная масса уже и теперь потеряла всякое понимание происходящего. В городах она три месяца тому назад шла за эсерами. Теперь — идет за большевиками. За кем она пойдет еще через три или четыре месяца?! Не хочется думать об этом — но чувствуется, что все лучшее, что несла с собой революция, все ее высокие и светлые идеи впадают в грязь...»

Шестовы пережили в Москве тяжелую зиму и летом переехали в Киев, где они, худо-бедно, перенесли все многочисленные перемены власти. После прихода в Киев большевиков жизнь там стала совсем трудной, и Шесто-

вы решаются покинуть Россию. В это же время Шестов начинает вести «Дневник мыслей»: «Трудно? Конечно, трудно. Всего не запишешь! Есть такое, что не хочет идти из души. Заставить себя? Посмотрим... Никогда так упорно, напряженно и непрерывно не работала мысль, как в эти ужасные, кровавые дни. И никогда — так бесплодно. Отчего? Так надо? Так быть должно!» (4 октября 1919 года, Киев).

В ноябре Шестов с семьей был уже в Ялте, где историко-филологический факультет Таврического университета назначает его на должность приват-доцента «на основании... известности, приобретенной научными трудами». Затем после долгих мытарств Шестовы через Константинополь добираются в феврале 1920 года до Генуи, откуда Шестов почти сразу отправляется в Париж. Там он встречается с известным литературным деятелем И. И. Фондаминским, который и предлагает ему написать статью о событиях в России. Статья была написана очень быстро — за одну-две недели. Это непосредственные впечатления очевидца с некоторыми только первоначальными выводами и обобщениями. В марте Шестов отправил статью Фондаминскому, и 1 сентября 1920 года она была опубликована по-французски, а затем переведена на шведский язык. Тогда же, в сентябре, Шестов начинает переговоры с берлинским русским издательством «Скифы» об издании своих сочинений на русском и немецком языках. В числе других планов он принимает предложение Е. Г. Лундберга, одного из издателей, о выпуске статьи «Что такое русский большевизм?» отдельной брошюрой на русском, французском и немецком языках. Уже к ноябрю были отпечатаны 15 тысяч экземпляров, но затем дело осложнилось. Издатель, как впоследствии выяснилось, не прочел рукопись статьи перед сдачей ее в набор, так был уверен в том, что речь в ней идет о чисто философских вопросах. Прочитав статью уже в корректуре, Лундберг, который был советским гражданином, ужаснулся, и, хотя и допечатал брошюру до конца, не выпустил ее в продажу. Весь тираж остался на складе издательства, где пролежал около года. В конце концов Лундберг, так и не решившись на распространение статьи, уничтожил в октябре 1921 года весь тираж, оставив только 50 экземпляров. Из них он 25 отдал Шестову, а 25 передал в советские библиотеки, где большая часть погибла. Таким образом, эта единственная работа философа о революции и большевизме стала библиографической редкостью.

Александр КАЗАКОВ.

I

Что такое русский большевизм?

С тех пор как я приехал в Европу — все, и соотечественники и иностранцы, с которыми приходится встречаться, неизменно предлагают вопрос: «Что такое русский большевизм, что происходит в России? Вы все видели непосредственно своими глазами — расскажите нам, мы ничего не знаем и ничего не понимаем. Расскажите все, и по возможности спокойно и беспристрастно».

Спокойно говорить о том, что сейчас происходит в России, трудно, если хотите — невозможно. Может быть, удастся быть беспристрастным. Правда, пятилетняя война приучила нас ко всяким ужасам. Но ведь в России происходит нечто худшее, чем война. Там люди убивают не людей, а свою собственную родину. И совершенно не подозревают, что делают. Одним кажется, что они делают великое дело, спасают человечество, другие вообще ни о чем не думают: просто приспособляются к новым условиям существования, принимая в соображение лишь собственные интересы сегодняшнего дня. Что будет завтра — им все равно, они не верят в завтра, как не помнят, что было вчера. Таких людей в России, как, впрочем, и везде, огромное, подавляющее большинство. И, как это ни странно на первый взгляд, они, эти люди

сегодняшнего дня, всецело погруженные в свои мелкие, ничтожные интересы, творят историю; в их руках будущее России, будущее человечества и всего мира.

Это как раз менее всего понимают идейные вожди большевизма. Казалось бы, что ученики и последователи Маркса, заимствовавшего свою философию истории у Гегеля, должны были бы быть более проницательными. По крайней мере должны были бы знать, что история не сочиняется в кабинетах и что жизнь нельзя обрести, как кусок холста в дерево, в произвольные декреты. Попробуйте сказать это идейному, голубоглазому большевику: он даже не догадается, о чем вы ему говорите. А если сообразит, то ответит вам, совсем как отвечали когда-то, при царях, публицисты из «Нового времени» и других газет, бравших на себя печальную задачу идейного обоснования крепостнического режима: «Это все доктринерство». История, Гегель, философия, наука — политический деятель свободен от всего этого. Политический деятель по своему непосредственному разумению решает судьбы вверенной ему страны. Рассказывают про Николая I, что, когда ему представили проект железной дороги между Москвой и Петербургом, он, не входя в разбор, чем руководствовались инженеры, избирая направление железнодорожной линии, провел на карте ногтем прямую линию между двумя столицами и так



В. Шестов (Мелан)

сразу и просто разрешил трудный вопрос. Так же решают все вопросы и современные вершители судеб России. И если режим Николая I, равно как большинства его предшественников и преемников, заслуживает по всей справедливости названия непросвещенного деспотизма, то с еще большим правом можно охарактеризовать этим словом режим большевиков. Это деспотизм, причем — усиленно подчеркиваю — деспотизм непросвещенный. Большевики не верят, совсем так же, как и русские политические деятели недавнего прошлого, не только в добродетель (такого рода скептицизм, как известно, разрешается политикам), они не верят в знание, не верят даже в ум. Добросовестные хранители истинно русских политических традиций, традиций еще свежего у всех в памяти крепостного периода русской истории, они верят только в палку, в грубую физическую силу. Подобно тому, как еще недавно, перед войной, в Государственной думе правые депутаты типа Маркова и Пуришкевича высмеивали «слюнчатый гуманизм» и на все попытки оппозиции хоть отчасти выбить наших прежних министров и государственных деятелей из проторенной колеи реакции отвечали угрозами, виселицами и тюрьмой, так и нынешние комиссары знают только одно возражение: «чрезвычайка». И убеждены, что в этом слове заключается вся глубина государственной мудрости. Разные свободы, неприкосновенность личности и пр. — все это пустые выдумки европейских ученых доктринеров, мы в России обойдемся и без свобод и без неприкосновенностей. Издадим сотню или тысячу декретов — и нищя,

безграмотная, невежественная, беспомощная страна сразу станет богатой, образованной, сильной, и весь мир сбежится, чтобы дивиться ей, и с благоговением станет перенимать у нас новые формы государственного и социального управления. Россия спасет Европу — в этом глубоко убеждены все «идейные» защитники большевизма. И спасет именно потому, что в противоположность Европе она верит в магическое действие слова. Как это ни странно, но большевики, фанатически исповедующие материализм, на самом деле являются самыми наивными идеалистами. Для них реальные условия человеческой жизни не существуют. Они убеждены, что слово имеет сверхъестественную силу. По слову все делается — нужно только безбоязненно и смело верить слову. И они вверились. Декреты сыплются тысячами. Никогда еще ни в России, ни в какой-нибудь иной стране столько не говорили, сколько у нас говорят сейчас. И никогда еще слова не были так уныло однообразны, так мало не соответствовали действительности, как в наши дни. Правда, и при крепостном праве, и при Александре III, и при Николае II



говорили немало и обещали немало; правда, и при старом режиме несоответствие между словами и делами правительства вызывало негодование и возмущение у всех, кто умел заглядывать даже в ближайшее будущее. Но то, что теперь происходит, переходит всякие границы даже вероятного. Города и деревни буквально вымирают — от голода и холода. Страна истощается не по дням, а по часам. Взаимная ненависть и ожесточение не классов, как хотелось бы большевикам, в всех против всех непрерывно растут, а перья чиновников-публицистов продолжают выводить на бумаге всем опостылевшие слова о грядущем социалистическом рае. Как оппозиция ненавидела Столыпина, когда он провозгласил свой девиз: сперва успокоение, потом реформы! Деятели большевизма повторяют Столыпина. Они тоже хотят сперва «успокоить» страну, чтобы дать «реформы», в такой же малой мере, как министр Николая II, догадываясь, что никогда еще успокоение не приходило от «чрезвычайных» комиссий и никогда зверство и расправа без суда не приносили мира государству.

II

Я назвал большевиков идеалистами и я же сказал, что они не верят ни во что, кроме грубой физической силы. На первый взгляд, это как будто бы два противоречивых утверждения. Идеалист верит в слово, стало быть, не в физическую силу. Но противоречие здесь только видимое. Как это ни парадоксально, но можно быть идеологом и грубой физической силы. В России же правящие круги всегда именно идеализировали физическую силу. Когда на смену царю пришло Временное правительство с князем Львовым сперва, а потом с Керенским в главе, многим показалось, что наступила новая эра. И действительно, несколько месяцев подряд Россия представляла собой поразительную картину. Огромная страна, раскинувшаяся на сотни тысяч квадратных километров, с почти двухсотмиллионным населением — и без всякой власти. Ведь уже в марте месяце 1917 года распоряжением центрального правительства сразу во всем государстве была отменена полиция, и на место полиции не поставили никого. В Москве шутили: мы живем теперь на честное слово... И точно жили довольно долго на честное слово, и сравнительно жили благополучно. Временное правительство избегало всяких сколько-нибудь крутых мер, предпочитая действовать словами убеждения. Нужно дивиться, что, несмотря на такое исключительное положение, жизнь в России до большевистского переворота все-таки была сносной. Можно было ездить и по железным, и по шоссейным, и по проселочным дорогам без удобств, правда, но и без риска — или без большого риска — быть ограбленным и убитым. Даже в деревнях не грабили помещиков. Землю захватывали мужики — но владельцев, их дома и личное имущество редко трогали. Я провел лето 1917 года в деревне Тульской губернии, и хотя знакомый помещик, у которого я жил, был одним из самых крупных землевладельцев в уезде, у него никаких особых неприятностей с крестьянами не было. Я сам два раза ездил на лошадах из имения на станцию, почти 25 верст, и другие ездили — и все поездки кончались благополучно. Все это, по-видимому, внушало центральной власти уверенность, что ее сила есть сила правды и

что можно, в противоположность прежним приемам управления, добиваться и добиться порядка не мерами организованного принуждения, а одними увещаниями... Керенский даже надеялся вести в бой солдат, не признающих дисциплины. Но так было только при Временном правительстве, стремившемся поставить на место силы правду. И в этом отношении нужно сказать, что Временное правительство и в самом деле задавалось целью неслыханно революционной: создать в России государство праведников — что-то в роде того, о чем мечтали и писали гр. Толстой, кн. Кропоткин, что, по-видимому, не чуждо было нашим славянофилам. Я, конечно, знаю хорошо, что ни кн. Львов, ни Милоков, ни Керенский не были настолько наивны, чтобы стремиться сознательно к осуществлению в России анархического идеала. Но фактически они поощряли анархию. Правительство у нас было — но власти не было. И составлявшие правительство люди своими именами прикрывали безвластие. Когда нужно было выбирать между приемами управления, которыми пользовались царские чиновники, и бездействием власти, Временное правительство предпочитало последнее. Найти же что-либо новое, иное оно не умело. И большевики, сменившие Временное правительство, стали пред той же дилеммой. Либо царские приемы, либо безвластие. Безвластие большевиков соблазнить не могло — пример Временного правительства показал всем, что безвластие далеко не такая безопасная вещь, как это сначала казалось многим в России. Но придумать что-либо свое большевики тоже не сумели. Со смелостью, которая свойственна людям, не сознающим всей серьезности и ответственности принимаемой ими на себя задачи, большевики решили — целиком и во всем следовать заветам старой русской бюрократии. В этот момент для всех сколько-нибудь проницательных людей сразу выяснилась сущность большевизма и его будущее. Выяснилось, что революция раздавлена и что большевизм по своей внутренней сущности есть движение глубоко реакционное. Что он есть шаг назад даже сравнительно с режимом Николая II, ибо в короткое время большевики поняли, что уже приемы Николая II для них не годятся, что им необходимо принять государственную мудрость Николая I, даже Аракчеева. Самым ненавистным словом для них стало слово «свобода». Они быстро поняли, что в свободной стране им управлять не дано, что свободная страна с ними не пойдет, как она не хотела никогда идти ни с Николаем I, ни с Александром III, ни с Николаем II. Для француза или англичанина такое положение показалось бы совершенно неприемлемым. Он знает твердо, что в стране, где нет свободы, не может быть ничего хорошего. Но русские большевики, воспитавшиеся на крепостническом царском режиме, говорили о свободе только до тех пор, пока власть была в руках у их противников. Когда же власть перешла в их руки, они без малейшей внутренней борьбы отказались от всяких свобод и даже развязно объявили самую идею свободы буржуазным предрассудком, драгоценным для старой, разращенной Европы, но совершенно бесценным для России. Правительство, власть знает, что нужно народу для его блага; чем меньше спрашивать народ, тем больше и прочнее будет его «счастье». Если бы давно умершие Аракчеев и Николай I восстали из гробов своих, они могли бы идейно торжествовать: русская оппозиция при первой

попытке осуществить свои высокие задания должна была признать правоту старого русского государственного идеала.

Кто хочет понять то, что происходит сейчас в России, должен особенно внимательно остановиться на первых проявлениях государственного творчества большевиков. Все, что они впоследствии делали, находится в теснейшей связи с их первыми актами. Здесь, в Европе, да отчасти и в России многие склонны думать, что большевизм есть некоторое новаторство и даже огромное новаторство. Это ошибка, большевизм ничего не сумел создать и ничего не создал: в этом его тягчайший грех пред Россией и пред всем миром, поскольку Россия связана экономически, политически, морально с остальным миром. Большевизм не создает, а живет тем, что было до него создано. В своей внутренней политике, как я уже сказал, он взял готовые идеи у Аракчьева и Николая I; и во внешней политике он был столь же оригинален. Начиная с заключенного им Брест-Литовского мира и кончая его попытками выработать соглашение с Европой, о которых теперь так много говорят в газетах, во всем, что он делал, мы наблюдаем давно нам знакомые приемы азиатской политики Абдул-Гамида. На свои силы большевики не рассчитывают, как не рассчитывал и Абдул-Гамид. Россия, замученная, беспомощная, разбедаемая внутренними раздорами, не может ничего себе потребовать, не может ничего и дать. Остается одно: как-нибудь ссорить между собой государства Западной Европы. Сноситься одновременно и с Англией, и с Францией, и с Италией, и с Германией в расчете, что интересы этих стран слишком различны и противоположны и что, в конце концов, если удастся их столкнуть между собой, то можно будет извлечь из их столкновения большую или меньшую пользу. Абдул-Гамид тридцать лет таким способом «спасал» Турцию: народ бедствовал, но султан держался, страна ослабевала и шла к гибели, но неограниченная власть династии не терпела ущерба. Тридцать лет — для большевиков такой срок кажется вечностью. Они и за более короткое время успеют добиться своей цели. Какой? Об этом речь впереди.

III

Пока мне хотелось бы только выявить одну, наиболее, по-моему, характерную черту большевистской сущности. Большевизм, повторяю, реакционер; он не умеет ничего создавать. Он берет то, что у него под рукой, что без него сделали другие. Короче: большевики — паразиты по своему своему существу. Конечно, большевики этого не сознают и не понимают. Да если бы и поняли, то едва ли согласились бы открыто признать в этом. Но во всех областях, которых коснулась их деятельность, сказалась их основная особенность. Они сами формулируют свою задачу так, что сперва нужно все разрушить, а потом лишь начать создавать. Если бы идейные, голубоглазые большевики умели задумываться над своими словами, они бы ужаснулись им. Я уж не говорю о том, что такая формула идет совершенно вразрез с основным учением социализма. Само собой разумеется, что Маркс не признал бы в людях, возвестивших такую программу, своих учеников и последователей. Маркс полагал, что социализм есть высшая форма хозяйственной организации общества, с такой же железной необходимостью вытекающая из

предыдущей буржуазной организации, с какой буржуазное хозяйство следовало за феодальным... И социализм не только не предполагал разрушение буржуазной организации хозяйства — он, наоборот, предполагал полное сохранение и совершенную неприкосновенность всего, что было создано предыдущим строем. Задача социализма соответственно этому представлялась Марксу как задача созидательная. Превратить буржуазное хозяйство в хозяйство социалистическое значило путем перехода к высшей, улучшенной организации производства не разрушить, а увеличить производительность страны; это была задача положительная. От нее большевики сразу отказались, ибо, очевидно, чувствовали, что не их дело создавать. Гораздо проще, легче и доступнее существовать на счет того, что раньше было сделано. И большевики ведь, в сущности, ничего не разрушают. Они просто живут тем, что нашли готовым в прежнем хозяйственном организме. Когда Ленина кто-то упрекнул в том, что большевики занимаются грабежом, он ответил так: «Да, мы грабим, но мы грабим награбленное». Пусть это будет верно, пусть и в самом деле большевики отнимают лишь то, что раньше было насильно захвачено, но от этого дело не меняется. Большевики все же остаются паразитами — ибо, ничего не прибавляя к прежде созданному, питаются соками того организма, к которому они присосались. Как долго можно так существовать, сколько времени может питать Россия большевиков — не берусь сказать. Может быть, долготерпение, выносливость нашего отечества обманут все наши расчеты. Чего не выносила Россия! Какие паразиты не питались ее соками! Не стану вспоминать дальше прошлое — татарское иго, не стану вспоминать и XVIII век, царствование Анны Иоановны и Елизаветы Петровны. Но даже XIX век в этом смысле был ужасен. Русская бюрократия, бесконтрольно распоряжавшаяся Россией и всем русским народом, всегда исходила из мысли, что чиновники должны повелевать, а население должно повиноваться. Про Николая I рассказывают, что когда во время Севастопольской кампании один из его министров сказал ему, что следовало бы в газетах опубликовать более подробные сведения о ходе войны, ибо жители Петербурга встревожены и волнуются, он ответил: «Волнуются! А им какое дело?» Николай I среди своих чиновников был *primus inter pares*.^{*} Каждый из чиновников был убежден, что население, обыватели — слова «гражданин» Россия никогда не любила и не признавала — только объект для его начальнических распоряжений. Население должно быть счастливо тем, что у него есть хозяева, воплощавшиеся в едином высшем хозяине, царе. Иностранцам труднее всего, вероятно, будет понять такой порядок вещей. Но пока этого не поймут, не поймут, что такое большевизм. Русская бюрократия всегда была паразитарной. Больше того, не только правящие классы, но все высшее русское общество в большей или меньшей степени вело существование паразитов. Я помню, что, когда появились первые отчеты фабричных инспекторов — я тогда был еще студентом, — известный в России ученый, профессор Янжул, фабричный инспектор Московского округа, так формулировал свои впечатления от всего того, что видел он на фабриках и заводах своего округа: «Русский промышленник стремится получать свои заработки

^{*} Первый среди равных (лат.).

не как промышленник, т. е. не посредством улучшения способов производства, а каким угодно другим путем, главным образом путем бессовестной и обманной эксплуатации рабочих». Или еще факт, который, пожалуй, покажется совершенно невероятным для тех, кто не знает условий русской жизни. Граф Толстой в своих произведениях рассказывает, что, когда он в молодости задумал приобрести новое имение, он старался купить его в таком месте, где живут безземельные крестьяне. «Таким образом,— рассказывает он,— я бы мог иметь нужных мне рабочих задаром». Паразитизм был характерен для высших слоев общества дореволюционного периода — новые дворяне, т. е. те, кто присоединился к теперешнему правительству, в этом отношении сильно превзошли прежних дворян, так что и в этом смысле большевизм не оригинален. Большевики сделали все, что могли сделать, чтобы помешать революции в ее основной задаче: раскрепостить русский народ. Совершенно очевидно, что даже дело разрушения, в сущности, им не удалось. Они истребили большую часть народного достояния, они погубили в тюрьмах и чрезвычайках немалое количество прежних министров, губернаторов и богатых людей. Об этом я распространяться не стану — все знают, как работают латышские «чрезвычайки» и китайские солдаты. Но ни бюрократизма, ни буржуазии они не уничтожили. Какое уничтожили! Никогда еще в России бюрократия — и какая бездельническая, жалкая, никчемная бюрократия — не плодилась с такой неслыханной быстротой. В каждом учреждении по крайней мере в десять раз больше людей, чем нужно для поставленных ему целей. И на десять учреждений есть едва ли одно, которое

в самом деле для чего-нибудь нужно. Все, и молодые, и старые, и мужчины и женщины, служат. Большевики убеждены, что кто не служит — тот вреден и опасен для государства, и всячески преследуют людей, не находящихся на службе. Таких лишают пайков, облагают разного рода налогами и сборами, забирают на военную службу и т. д. Ну, и идут служить — тем более что образованные люди совершенно лишены всякого рода заработков, кроме заработков с жалованья. Чернорабочий или вообще человек, обладающий крепким здоровьем и физической силой, еще может пойти в деревню, где для него найдется дело и вместе с делом кров и кусок хлеба. Образованный же человек — учитель, врач, инженер, писатель, ученый — обречен на голодную смерть, если он не согласится увеличить своей персоной и без того огромные полчища паразитов-чиновников. Ну а буржуазия-то ведь истреблена! — скажут мне. Нисколько! Истреблены прежние буржуи. Фабриканты, купцы и все их наиболее крупные сотрудники в большинстве либо погибли, либо разбежались. Но буржуазия в России крепче и многочисленнее, гораздо многочисленнее, чем была прежде. Теперь все почти крестьяне в России — буржуи. У них хранятся, закопанные в земле, сотни тысяч, даже миллионы царских, керенских, советских, украинских, донских и иных денег. И у них вы богатство не вырвете. Причем новая буржуазия совсем уже не имеет никаких традиций, которые хоть до некоторой степени связывали аппетиты буржуазии старой. Я не спорю, Россия всегда была страной бесправия *par excellence*.** Царские

** По преимуществу (франц.).

Павел Шиллинговский. Петербург. Руины и возрождение. (1923)



министры типа Щегловитова, Маклакова и т. п. никогда не понимали, какая великая творческая сила в государстве — прочное народное правосознание. Они самым бессовестным образом на каждом шагу оскорбляли народ в его понятиях о праве и нравственности. В России не было не только милостивого и скорого, но и правого суда. Судебные уставы Александра II очень скоро стали казаться его министрам тяжкими цепями, которые они, соблюдая отнюдь не внешний декорум, постепенно сбрасывали с себя. Народ это отлично понимал. Он знал, зачем создавался институт земских начальников, для чего вводились розги в деревне и т. п., и ненавидел навязанные ему внешней силой учреждения и начальство. Но в глубине народного духа жила вера в правду, та вера, которая нашла себе выражение в лучших произведениях русской литературы. Даже казалось, что народ и в царя верит, и его считает жертвой окружающих его дурных советников. Но когда вспыхнула революция, сразу стало ясно, что в царя народ уже не верит. Как это ни странно, но ведь во всей огромной России не нашлось ни одного уезда, ни одного города, даже, кажется, ни одного села, которые встали бы на защиту свергнутого царя. Ушел царь — скатертью дорога, и без него обойдемся. Правда, которую искал народ, не у царя, а в ином месте, у тех, которые боролись с царем. Этим и объясняется колоссальный успех, выпавший в начале революции на долю социалистов-революционеров. У них правда, они за народ страдали — таков был общий голос; и женщины, девушки, старики — все бежали к урнам голосовать за праведников и мучеников за народ. Все вопросы хотели разрешить по правде и справедливости во славу святой Руси. Социалисты-революционеры торжествовали. Бескровная революция — вот она, Россия, не то что гнилая Европа!

IV

Но тут-то и сказала второй раз политическая беспомощность и бездарность той части русской интеллигенции, которая наследовала после свержения царя власть. Временное правительство, как я говорил, ничего не умело сделать. Оно царствовало, но не правило. За его спиной правили Советы, которые хотя ничего положительного не делали, но вносили в страну максимум разрухи. В Советах шла борьба между социалистами-революционерами, с одной стороны, и большевиками — с другой. Обе борющиеся стороны апеллировали к народу. Народ же несколько месяцев подряд безмолвствовал. Он ждал, что правительство найдет способы переустройства страны соответственно тем идеалам права, которые жили в народной душе. Но правительства не было, а были борющиеся партии, которые менее всего были подготовлены к управлению. Народа и его нужд никто не знал и знать не хотел. Заботились только о том, кому достанется власть. И так как все-таки полагали, что власть достанется тому, кто сумел расположить к себе большинство населения, то между партиями началось особое рода соревнование: кто скорее и больше сумеет наобещать народу. Обещали без конца. То разрешали народу захватывать землю, то инвентарь помещичий, то дома, то даже самих помещиков. Все ваше, берите — таково было последнее слово представителей партий. И народ понемногу стал приходить к убеждению, что все его идеалы и все его «правосознание» не стоят выеденного яйца. И прежде так было, и теперь так осталось, что прав тот, у кого есть когти и зубы, кто раньше и крепче сумел захватить. Пока были у власти бары — они были правы, теперь бар согнали — кто станет на их место, тот и сам станет бариним, дворянином.

Павел Шиллинговский. Петербург. Руины и возрождение. (1923)



Таким образом, социалисты всех толков в пылу борьбы меж собой совершенно не заметили и, кажется, еще до сих пор не замечают, что они сделали прямо противоположное тому, что они хотели сделать. Их задача была в том, чтобы ввести в народное сознание идеал высшей социальной правды,— а они изгнали из души народа всякое понятие о правде. У нас политические деятели всегда были плохими психологами. Никто и не подозревал, да и до сих пор не подозревает, какое огромное значение в деле социального устройства имеет народное правосознание. Я знаю, что большевики много разговаривают о классовой психологии. Но это в их устах слова, не имеющие для них никакого значения. В России точно возможны были колоссальные реформы. Нужно заметить, что уже в первые годы войны в нашем отечестве произошел колоссальный сдвиг той черты, которая отделяла беднейшее население от состоятельных классов. В 1915 и особенно в 1916 году мне пришлось ездить по России и много жить в деревнях, и я был поражен происшедшими там переменами за столь короткое время. Запуганный, голодный, бедный мужик, каким его рисовали наши писатели и каким он был и на самом деле еще в 1914 году, исчез. Прежде, бывало, из-за нескольких рублей, которые нужно было отдать старосте за подати, мужик шел буквально в кабалу к мироеду. А теперь ему деньги совсем не нужны. У него не купишь ни яиц, ни масла, ни курицы, разве очень дорого заплатишь. На вопрос: отчего не продаете? — один ответ: сами едим, ребятам нужно. Да оно и понятно. С начала войны деньги стали отовсюду стекаться в деревню — ведь все, что нужно было для фронта, у крестьян брали. А затем — отмена водки. Мужики за водку отдавали в казну ежегодно миллиард рублей золотом. И сверх того пьянство приносило деревне убытков еще вдвое, ибо русский мужик отдавал что угодно за бесценок, когда ему нужно было добывать водку, а денег не было. И вот все эти миллиарды остались в кармане мужика, и в самое короткое время он освободился от той ужасной зависимости от кулаков, в которую он попадал вследствие недостатка денег. Помню любопытный разговор, который был у меня с кучером того помещика, в имении которого я жил в 1916 году: «Что это, барин, такое стало. С мужиком сладу нет. Если что нужно, он сейчас: дай мне пять рублей, дай десять. Беда! То ли дело прежде: поставишь старикам ведро — какое угодно дело сладись!» Уничтожили «ведро», и мужик эмансипировался. Ни одна социальная революция не могла бы принести русскому мужику того, что дала отмена монополии. Иначе говоря, совсем необычным путем в России подготовлялась колоссальная революция, и политическая и социальная,— но то, что произошло на самом деле благодаря тому, что захватили власть теоретики революции, иначе решило грядущие судьбы нашей страны...

Я сам не читал и не помню даже, как называется эта книга и кто ее автор. Но мне передавали, что какой-то английский писатель выпустил целую книгу о том, что Россия избрала себе роль Марии, в противоположность Европе, которая предпочла роль Марфы. Конечно, все такого рода обобщения следует принимать с *sum grano salis* *, но доля правды, и очень любопытной правды, в этом есть. И интеллигенция русская и русский народ слишком погру-

жены в заботы о граде небесном, а о земных интересах не умеют и, главное, не любят думать. В первое время после свержения царя, когда еще Россия праздновала медовый месяц всяких свобод и когда все представители всех партий, не стесняясь, высказывали все, что думали, это особенно поражало. Куда бы вы ни пришли, всюду шли разговоры о высоком назначении России. Не об устройении России — об этом никто не умел и не хотел думать. Всякие напоминания об устройении вызывали взрыв негодования. Не думайте, что я имею в виду среднего интеллигента или зеленую молодежь. Мне пришлось встречаться с наиболее выдающимися представителями мыслящей России — и я не вспомню ни одного, который бы хоть раз заговорил о том, как остановить уже тогда явно надвигающуюся на страну беду. У нас, как и везде, конечно, и даже больше, чем везде, можно насчитать множество самых разнообразных течений мысли. Есть у нас верующие христиане, есть у нас позитивисты, материалисты, спиритуалисты — все, что угодно, есть. Каждый русский писатель прежде всего философ. Даже политический деятель и партийный человек очень озабочены философским обоснованием своих суждений. И, повторяю, разнообразие философских взглядов у нас бесконечно. Но в одном все сходятся. Я не хочу называть имен, тем более что они, пожалуй, иностранцам все равно мало скажут, но, говоря, все писатели больше всего боялись, как бы не случилось, что Россия вдруг устроилась бы в земном смысле благополучно. «Я не хочу, ни за что не хочу царства Божия на земле!» — кричал вне себя от бешенства представитель русской христианской мысли. «Пусть лучше Россия погибнет, чем устроится помещански, наподобие отвратительной старой Европы!» — с небольшим пафосом восклицал партийный деятель из крайних левых. А один из наиболее чтимых в России поэтов не постеснялся в присутствии большого числа людей — тоже писателей — так закончить свою речь: «Царя мы свергли. Но еще остался царь здесь. (Он показал на свою голову.) Когда мы из головы изгоним царя — тогда только наше дело будет доведено до конца». Все, что я рассказал, не заключает в себе ни на йоту преувеличения. Ненависть к «мещанству» или, вернее, к тому, что в России принято называть мещанством,— пароль всей русской литературы, всей, если хотите, мыслящей России. Первый ввел это слово Герцен, знаменитый русский революционер, всю жизнь свою проведенный в Европе изгнанником. Он уехал при Николае I из России, рассчитывая на Западе найти осуществление своих заветных идеалов. Но там, где он ждал идеалов, того, что, выражаясь языком блаженного Августина, можно назвать *amor dei usque ad contemptum sui* **, он нашел только мещанство, *amor sui usque ad contemptum dei* **. В европейских государствах изгоняли царей, но в голове европейца царь оставался жить. Думали не о себе, а о земле, устраивались и на сегодня и на завтра. Боролись с бедностью, холодом, голодом, эпидемиями, заводили фабрики, заводы, железные дороги, парламенты, суды. Казалось, того и гляди люди устроятся и на земле водворится царство Божие. Что может быть страшнее?! Конечно, европейцы покачивают головой. Они знают, что опасения Герцена по крайней мере должны быть названы преувели-

* Любовь к Богу вплоть до самоуничтожения (лат.).

** Любовь к себе вплоть до уничтожения Бога (лат.).

* Здесь: с некоторой оговоркой (лат.).

ченными. Европе до царства Божия и прежде далеко было, да и сейчас не близко. С своей стороны скажу, что и страхи русских были лишены всякого основания. Конечно, если бы ограничили только свержением царя с престола, а в головах царь остался, мы бы не дошли до тех ужасов, до которых дошли. Россия сохранила бы свое единство, не развалилась бы. Народ не умирал бы от голода, холода, эпидемий. Крестьяне и рабочие вздохнули бы свободней, раскрепощенные от векового рабства. Но разве это царство Божие? Разве мало бы осталось трудностей и страданий на долю русского человека и в обновленной России? Разве даже мещанская Европа так благоустраивалась? Европейцев, конечно, в этом убедить не приходится. Но русские люди, кажется, и до сей поры остались при своем мнении.

V

Может быть, после этого отступления станет яснее, почему я назвал большевиков паразитами. По самому существу своему они не могут создавать и никогда ничего не создадут. Идеальные вожди большевизма могут сколько угодно склонять и спрягать слова «созидание» и «созидать» — к положительному творчеству они абсолютно не способны. Ибо дух крепостничества, которым проникнута вся их деятельность и даже вся их упрощенная идеология, убивает в зародыше всякое творчество. Этого не понимали деятели царского режима, этого не понимают и большевики — хотя, пока они были в оппозиции, они много раз в Думе и в своих подпольных изданиях говорили на эту тему. Но эти разговоры забыты так, как будто их никогда не было. Сейчас в России есть только казенные газеты и казенные ораторы. Только тот может писать и говорить, кто восхваляет деятельность правящих классов. Ошибочно думать, что рабочие и крестьяне, от имени которых говорят большевики, в этом отношении имеют хоть какое-нибудь преимущество перед другими классами. Преимуществами пользуются, как и при старом режиме, только «благонадежные» элементы, т. е. элементы, безропотно или, еще лучше, охотно подчиняющиеся распоряжениям правительства. Для тех же, кто протестует, кто смеет иметь свое суждение, нет сейчас места в России еще в большей, во много большей степени, чем это было при царях. При царях можно было все-таки хоть на эзоповом, как у нас выражались, языке говорить, не рискуя свободой и даже жизнью. А молчать никому не возбранялось. Теперь и молчать нельзя. Если хочешь жить — нужно высказывать свое сочувствие правительству, нужно хвалить его. Понятно, к каким результатам приводит такое положение вещей. Огромное количество бездарных и бессовестных людей, которым все равно, кого хвалить и что говорить, всплыло на поверхность политической жизни. Это знают сами большевики и сами ужасаются тому, что произошло. Но ничего не могут поделать и ничего поделать нельзя. Честные, добросовестные и даровитые люди по самому существу не мирятся с рабством. Им как воздух нужна свобода. Большевики этого не понимают. Расскажу любопытный случай из практики моего общения с большевиками. Однажды — это было летом прошлого года в Киеве — швейцар нашего дома подает мне большой серый конверт с надписью «товарищу Шестову». Догадываюсь, что приглашают на собрание. Открываю, и точно: зовут на собрание, в котором предполагается обсуждение

вопроса о «диктатуре пролетариата в искусстве». В назначенный день и час являюсь. Собрание открывает журналист Р., довольно известный на юге России, высокий худой человек с типичным лицом русского интеллигента. Говорит легко и складно: видно, привык выступать. С первых уже слов, не называя моего имени, прямо обращает внимание на то, что я присутствую на собрании, — очевидно, желая заставить меня высказаться. Но я не беру слова; жду, что будет. Начинаются прения. Высказывается, конечно, очень сдержанно, оппозиция. Говорят писатели, журналисты, берет слово даже известный поэт. Все на тему о свободном искусстве. Затем просит слова себе представитель не помню какой военной организации. Маленький человек, хромой, с большой черной бородой. С первых же слов выясняется, что это совершенно необразованный человек, гораздо ближе стоявший к лабазу или мелкой лавчонке, чем к какому бы то ни было искусству. Из тех людей, про которых говорят, что они не умеют отличить статуи от картины. Такому бы человеку, пожалуй, было полезно прийти на собрание, чтобы послушать, поучиться. Но с самоуверенностью, свойственной невежеству и бездарности, он хочет не учиться, а учить. И чему он учил? «Железной рукой», — сказал он, — мы заставим писателей, поэтов, художников и т. д. отдать свою технику на служение нуждам пролетариата». Речь была неумелая, длинная, скучная и бессвязная — но тема все время одна: принудим, заставим, вырвем эту «технику» и используем ее. Ему отвечали (хотя я с трудом понимаю психологию тех, которые ему отвечали, я сам даже не понимаю, как можно серьезно считаться с такими пошлыми и безграмотными заявлениями) — он еще раз говорил с насмешливой и презрительной улыбкой человека, знающего себе цену. После него выступил председатель. Этот, как я говорил, уже опытный оратор. В длинной, хорошо построенной речи он заявил, что, конечно, он понимает оппонентов. Они защищают недавнее прошлое, по-своему красивое и интересное. Но оно — прошлое, навсегда погребенное. Ураган великой революции смел все старое. А тот хромой чернородый человек, ратовавший за то, чтобы «железной рукой» вырвать «технику» у представителей искусства, — он провозвестник будущего. «Я сам, — продолжал председатель, — не так давно был поклонником V века эллинской культуры. Теперь я понял, что был в заблуждении. Ураган революции смел старые идеалы. Я был тоже, — неожиданно для меня закончил свою речь председатель, — читателем (тут следовал ряд очень лестных для меня слов, которые я опускаю) произведений Л. Шестова (он назвал меня при всех полным именем), но опять-таки ураган» — и т. д. Я не был расположен говорить, но когда мое имя было названо, нельзя было и молчать. Я сказал всего несколько слов. «Ясно, — сказал я, — что хотя здесь говорят о диктатуре пролетариата, но задумано здесь устроить диктатуру над пролетариатом. Пролетариев даже и не спрашивают, чего они хотят, а прямо приказывают им только пользоваться какой-то «техникой», которую будто бы можно вырвать у деятелей искусства. Но если правда, что пролетариат эмансипировался, то он вас не послушается и вовсе не погонится за «техникой». Он так же, как и мы, захочет постичь сокровенную сущность великих творцов в области науки, искусства, философии и религии. Ураган, о котором здесь говорилось, мо-

жет быть, смел и засыпал многое, даже и «V век эллинской культуры». Но бывали — и не раз — ураганы, которые сметали и засыпали этот век еще основательнее. А потом являлись люди и с величайшим напряжением откапывали малейшие следы эллинского творчества, сохранившиеся под развалинами». Сказал и ушел, ибо отлично знал, что такие слова теперь в России не нужны тем, кто собрал нас для «беседы» на тему о диктатуре пролетариата. Но как на этом заседании, так и на других подобных, равно как из чтения советской литературы, для меня с несомненной очевидностью подтвердилось то, что с 25 октября 1917 года, т. е. с момента большевистского переворота, было несомненно: большевизм — глубоко реакционное движение. Большевики, как и наши старые крепостники, мечтают о том, как бы вырвать европейскую «технику», но освобожденную от всякого идейного содержания. Идейного содержания у наших чиновников, царских и большевистских, своего собственного — хоть отбавляй. «Нам только «техники» не хватает — и ее мы добудем силой. Поголодают у нас художники, поэты и ученые и станут творить по нашей указке. Наши идеи и их уменьше — вот когда хорошо будет». Трудно придумать что-либо нелепее этого. Но так было в России XVIII и XIX веков, так обстоит и сейчас. Непросвещенные, бездарные и тупые люди облепили тучами большевистское правительство, превращают в карикатуру даже то, что есть у большевиков лучшего и достойного. Громкие, луженые глотки на всех перекрестках выкрикивают пошлые и нелепые слова. А большевики идейные, голубоглазые недоумевают и огорчаются: как это случилось, что все хамское, бесстыдное и пошлое, что было в России, пошло с ними и почему у них так мало стоящих людей! Так же недоумевал Николай I, когда смотрел «Ревизора» Гоголя. Но говорят, что он все же чувствовал свою вину. Будто бы после окончания спектакля он сказал: «Ну и комедия, всем досталось — а мне больше всех!» Правда, передают, что и Ленин даже публично заявил, что большевики устроили «сволочную революцию». Но так ли это, произносил ли он такие слова, мне проверить не удалось. Во всяком случае, *si non è vero, è bene trovato**: печать хамства лежит на всей деятельности большевистской бюрократии.

VI

Несомненно, что сознательно или бессознательно, но рабоче-крестьянское правительство делает все от него зависящее, чтобы добиться диктатуры над пролетариатом. Да иначе, как для всякого европейца очевидно, и быть не может. Я знаю хорошо, слишком хорошо, в какой бедоте жили русские крестьяне и рабочие. Но, к сожалению, этого не знают идейные большевики (присоединившиеся к большевикам в такой огромной массе прихвостни это знают) — причину этой бедности нужно искать прежде и после всего в политическом режиме нашей страны. Там, где нет свободы — русским людям необходимо, вставая и ложась спать, неустанно повторять это, казалось бы, общее место, — не может быть ни устроенности, ни благосостояния, там вообще не может быть ничего, что ценится людьми на земле.

Только проникнутые до мозга костей крепостники старой и якобы обновленной России могут не знать этого триюизма. Я с уверенностью могу сказать: 25 октября 1917 года должно считаться днем провала русской революции. Большевики не спасли, а предали рабочее и крестьянское население России. Фразы, самые громкие, остаются фразами, а дела остаются делами. Русскому крестьянину и русскому рабочему, даже русскому образованному человеку прежде всего нужно было получить звание гражданина. Нужно было ему внушить сознание, что он не раб, над которым издевается всякий кому не лень, что у него есть права, священные права, которые он сам и всякий обязан оберегать. Это и провозгласило, как все знают, Временное правительство в первые дни своей деятельности. Но «права человека и гражданина», права, о которых целые столетия тосковала несчастная страна, остались только на бумаге. На деле же через несколько месяцев начали восстанавливать старое бесправие. Большевистские декреты и многочисленные большевистские прокламации, засыпавшие всю Россию, были поняты и истолкованы населением как призыв к захватам и грабёжам: «Бери, кто может и сколько может, потом поздно будет». Трудно описать азарт грабежа, охвативший всю Россию. Солдаты с фронта тысячами устремились по домам с котомками захваченной добычи. Бежали с возможной быстротой, чтобы не пропустить момента. Высокие слова о солидарности, об общечеловеческих задачах и проч., которыми в изобилии наполняли большевики свои воззвания, никем, конечно, не были услышаны. Народ убедился, что как прежде, так и теперь нет права, а есть сила. Кто возьмет, тот будет иметь. И брали, ничем не стесняясь. За грабёжами пошла убийства, истязания. О работе мало кто думал — да и зачем тяжелый труд, когда возможна легкая нажива. В атмосфере взаимного ожесточения и гражданской войны погасали последние искры веры в возможность осуществления хотя бы призрачной правды на земле. В маленьких городах и деревнях власть попадала в руки преступников и негодяев, прикрывавших свои волчьи аппетиты фразами о высоких задачах и призывавших к истреблению буржуев. А в Петербурге и Москве, где все-таки наряду с проходимцами и негодьями были люди, искренно веровавшие во всемогущество слова, шли бесконечные разглагольствования на тему о грядущем рае. Конечно, рай отодвигался все в более и более отдаленное грядущее. В настоящем холод, голод, эпидемии и все возрастающая взаимная ненависть. И уже не ненависть имущих к неимущим. Голодающий рабочий ненавидит равно и «буржуя», и своего же товарища-рабочего, который умел или которому посчастливилось добыть лишний кусок хлеба или вязанку дров для голодной и холодной семьи. Но с особенной силой сказалась вражда между городом и деревней. Деревня «окопалась» и наотрез отказывалась хоть что-нибудь давать изголодавшемуся городу. Рабоче-крестьянское правительство из сил выбивалось, чтобы найти хоть какой-нибудь *modus vivendi** для крестьян и рабочих. Чтобы добыть у мужиков хлеб, приходилось отправлять в деревню карательные военные экспедиции, которые зачастую возвращались обратно не только с пустыми

* Если и ложь, то хорошо придумано (лат.).

* Способ существования (лат.).

руками, но не досчитываясь половины, а то и трех четвертей своих участников. Кто следил хотя бы только за большевистскими газетами, тот знает, что большевики никогда, в сущности, не владели Россией. Им были подчинены большие города, население которых, напуганное кровавыми расправами, более или менее безропотно сносило свою участь. Но деревня, т. е. девять десятых России, никогда не была во власти большевиков. Она жила своей жизнью изо дня в день, конечно, но без всякого центрального начальства. До какой степени правительство большевиков не владело деревней — об этом лучше всего свидетельствуют статьи, которые печатал в киевских газетах украинский комиссар по продовольствию Шлихтер, человек, очень преданный коммунистическим идеям, хотя, нужно признаться, тоже очень тупой и бездарный человек. Статьи его — большие и чрезвычайно обстоятельные — в течение двух месяцев появлялись чуть ли не через день в местных изданиях. И он не писал, а вопил не своим голосом. И все об одном: «Деревня хлеба не дает, не дает и дров, и сала — ничего не дает. Рабочие, если не хотите голодать и мерзнуть, вооружайтесь и идите войной на деревню. Иначе никаким способом ничего не получите». Если бы кто-нибудь другой так говорил — его можно было бы заподозрить в провокаторстве. Но Шлихтер вне таких подозрений. Казак по происхождению, несмотря на свою немецкую фамилию, он только не умел скрывать своих истинных чувств и мыслей. Что на уме — то и на языке. Я думаю, что если бы его товарищи были так же откровенны, то давно стало бы очевидным, что рабоче-крестьянское правительство не умело расположить к себе ни рабочих, ни крестьян. И что коммунистические идеи, каковы бы они сами по себе ни были, встречают менее всего сочувствия в «широких массах» населения. Старая буржуазия, правда, не умела защищаться и разбита. Но буржуазия не только не умерла, повторяю, в России, но окрепла и расплодилось как никогда. Вместе с тем большевистские приемы «охраны» интересов, столь знакомые и родные русской душе, лишней раз показали, что люди, боявшиеся так, что Россию ждет то мещанское счастье, которым наслаждалась до войны Европа, что русским людям суждено на земле еще узреть царство Божие, мучались и тревожились совершенно напрасно. Сейчас уже идут из России вести о том, что там заводится трудовая повинность, десяти- и двенадцатичасовой рабочий день, устанавливается сдельная плата, военный надзор за рабочими и пр. Вполне естественно! Рабочий не хочет давать свой труд, крестьянин — свой хлеб. А хлеба нужно много, труд должен быть каторжный. Ясно, что выход один: с одной стороны, должны быть не работающие, привилегированные классы, заставляющие других строгими, беспощадными мерами сверх сил работать, а с другой стороны — непривилегированные, бесправные люди, которые, не щадя здоровья и жизни даже, должны нести свой труд и свое имущество на пользу «целого». Конечно, принуждать к труду может только тот, кто сам не работает. И к голоду принуждать только тот, кто сам сыт. Иначе — возврат к старому бесправию и к старой, так хорошо знакомой нищете. Или, как в сказке сказано, к разбитому корыту. Вот что принес большевизм, так много обещавший рабочим и крестьянам. О том, что он принес России, не стану говорить. Все знают. Но у

«идейных» большевиков есть еще один, последний аргумент. Да, говорят они, русским мужикам и рабочим мы ничего не могли дать и Россию разрушили. Но иначе и быть не могло. Россия слишком отсталая страна, русские слишком некультурны, чтобы воспринять наши идеи. Но не в России и русских дело. Наша задача — шире. Нам нужно «взорвать» Запад, уничтожить мещанство Европы и Америки. И мы будем до тех пор поддерживать пожар в России, пока пламя не перенесется к нашим соседям, а от них не распространится по всему миру. Вот в чем высшая наша задача, вот наша последняя заветная мечта. Мы дадим Европе идеи — Европа даст нам свою «технику», свою уметость, организационный дар и т. д. Это *ultima ratio* * большевиков. Какая ему цена?

VII

За долгое свое пребывание в областях, находившихся под большевистским управлением, я подметил один очень любопытный факт. Лучше всего отгадывали и предсказывали события очень молодые и не очень умные люди. И наоборот, те, кто постарше и поумнее, всегда ошибались в своих предсказаниях. Им казалось, что Россия недолго будет под властью большевиков, что народ восстанет, что при первом появлении сколько-нибудь организованной армии большевистские войска растают, как снег на солнце.

Действительность обманула предвидение опытных и умных людей. Деникин создал все-таки нечто вроде армии и продвинулся с большой быстротой до самого Орла — но с еще большей быстротой большевики прогнали его до самого Черного моря. Теперь он, говорят, даже в плену — и ничего невероятного в этих слухах нет. Пророками оказались молодые и неумные. И сейчас, когда пытаешься заглянуть в будущее, ставишь себе вопрос: на кого положиться, на умных или на неумных? Умные, очевидно, исходят из того представляющегося им самоочевидным положения, что люди и народы в своих действиях руководствуются своими жизненными «интересами» и инстинктивно чувствуют, что им полезно и что вредно. Для них ясно было, что большевизм губителен, что он приведет к неслышанным бедам, к голоду, к нищете, к рабству и т. д. Стало быть, говорили они, он не может долго просуществовать. Продержится недели, месяцы и сам собой погибнет. Но уже прошло больше двух лет, скоро будет три года, и все же большевизм держится. Держится, хоть и голод, и холод, и эпидемии свирепствуют с ужасающей силой. Стало быть, не здравый смысл руководит людьми? И наш русский поэт, огорчавшийся так тем, что из голов русских все еще царь не изгнан, заблуждался? Но, скажут, это — русские, они могут примириться и с нуждой, и с бесправием, и с чем угодно. В России точно пророками являются очень молодые и не очень умные люди. Европа — дело иное.

Точно ли дело иное? Я бы не рискнул пророчествовать. Сейчас мы переживаем такую историческую эпоху, когда едва ли можно рассчитывать, руководствуясь одним здравым смыслом. Я не хочу оправдывать русский большевизм. Я уже говорил и готов еще раз повторить, что большевизм предал и погубил рус-

* Последний довод (лат.).

скую революцию и, сам того не понимая, сыграл на руку самой отвратительной и грубой реакции. Но разве только большевики оказались самоубийцами? Присмотритесь внимательнее к тому, что происходило в последние годы. Все почти делали как раз то, что было для них наиболее не нужно. Кто погубил монархическую идею? Гогенцоллерны, Романовы и Габсбурги! В день объявления войны в Берлине распространился слух, что Вильгельм II послал Николаю II такую телеграмму: «Остановите мобилизацию. Если начнется между нами война, я потеряю свой престол, но и вы тоже». Может быть, такой телеграммы и не было. Но тот, кто пустил этот слух, оказался пророком. И в сущности, злейший враг монархической идеи не придумал бы более верного способа, чтобы погубить монархию в Европе. Гогенцоллерны, Романовы и Габсбурги — если бы только их разом не затемнил каким-то наваждением — должны были бы понимать, что жизненные интересы их династии повелительно требуют от носителей императорских корон не вражды, а самой тесной, искренней и преданной дружбы. Николай I это отлично понимал и послал русских солдат умирять венгерских революционеров. И Александр III это понимал. При нем все-таки существовал наряду с франко-русским союзом Dreikaiserbund.* А в 1914 году монархи Европы вдруг набросились друг на друга во славу западно-европейской демократии, которую они ненавидели больше всего на свете. Очевидно, какой-то рок тяготел над ними, и оправдалась российская поговорка: от судьбы не уйдешь. Когда народу написана гибель, люди и даже целые народы сами делают все, чтобы ускорить свою гибель. Мы переживаем явно какую-то эпоху затмения. Подумайте только о проделанной Европой войне. Все знали, каким ужасом она грозит миру. И все ее боялись. И тоже все, точно сговорившись, не только ничего не предприняли против предотвращений войны, но каждый сколько мог сознательно или бессознательно способствовал ее приближению... Ведь разразилась она в течение каких-нибудь двух недель и без всякого серьезного основания. Немцам вдруг показалось, что их экономические и культурные интересы требуют порабощения всего мира. И другим народам показалось, что их интересы — и т. д. Но теперь, думаю я, ясно всем, и немцам, и не немцам, что если говорить об интересах, то интересы требовали чего хотите, только не войны... Что война была противна всем интересам всех людей. И точно, если бы немцы истратили те средства и ту энергию, которую они вложили в войну, на задачи не разрушения, а созидания — они могли свой Vaterland**обратить в земной рай. Тогда же можно и о других народах сказать. Война обошлась в астрономическую сумму — больше биллиона франков. Я уж не говорю о погибших людях, о разрушенных городах и т. д. Повторяю, если бы правящие классы, в руках которых были судьбы их народов и стран, умели сговориться и заставить народы в течение пяти лет так самоотверженно и настойчиво работать для достижения положительных целей — мир превратился бы в Аркадию, где были бы только богатые и счастливые люди. Вместо того люди пять лет истребляли друг друга и

накопленные сбережения довели цветущую Европу до такого состояния, которое иной раз напоминает худшие времена средневековья. Как могло это случиться? Почему люди так безумели? У меня один ответ, который неотвязно преследует меня с самого начала войны. Начало войны застало меня в Берлине, я возвращался из Швейцарии в Россию. Пришлось ехать кружным путем, через всю Скандинавию до Торнео и потом через Финляндию в Петербург. В Германии, конечно, я читал только немецкие газеты. И до самого Петербурга я, собственно, принужден был питаться немецкими газетами, так как не знаю ни одного из скандинавских наречий. И только когда стал приближаться к России, мне попались русские газеты. И какво было мое удивление, когда я увидел, что слово в слово русские газеты повторяют то, что писали немцы. Только, конечно, меняют имена. Немцы бранили русских, упрекали их в жестокости, своекорыстии, тупости и т. д. Русские то же говорили о немцах. Меня это поразило неслыханно, и я вдруг вспомнил библейское повествование о смешении языков. Ведь точно, смешении языков. Люди, которые еще вчера вместе делали общее дело, сооружали задуманную ими гигантскую башню европейской культуры, сегодня перестали понимать друг друга и с остервенением только об одном мечтают — в одно мгновение уничтожить, раздробить, испепелить все, что в течение веков созидали с такой настойчивостью и упорством. Точно бы все задалось целью осуществить идеологию тех русских писателей, которые, как я раньше рассказывал, считали своим гражданским долгом не допустить осуществления царства Божия на земле и прежде всего бороться против идеологии западно-европейского мещанства.

Цари все еще прочно сидели на тронах, но из людских голов сразу, мгновенно, по какому-то волшебному мановению цари были изгнаны. Я знаю, что такого рода объяснение сейчас не в моде, что библейская философия истории мало говорит современному уму. Но я не стану очень настаивать на научной ценности предлагаемого мною объяснения. Если хотите, примите его как символ только. Но это не меняет дела. Пред нами остается непреложный факт, что люди в 1914 году потеряли разум. Может быть, это разгневанный Бог «смешал языки», может быть, тут были «естественные» причины — так или иначе, люди, культурные люди XX века сами, без всякой нужды, накликали на себя неслыханные беды. Монархи убили монархию, демократия убивала демократию, в России социалисты и революционеры убивают и почти уже убили и социализм и революцию. Что будет дальше? Кончился период затмения, снял разгневанный Господь уже с людей наваждение? Или нам суждено еще долго жить во взаимном непонимании и продолжать ужасное дело самоистребления? Когда я еще был в России, я непрерывно предлагал себе этот вопрос и не умел на него ответить. В России мы иностранных газет почти не видели, а в русских газетах, кроме непроверенных и ни на чем не основанных слухов и сенсаций, ничего не было. Но общее впечатление у нас было такое, что Европа все-таки понемногу справляется с трудным положением и, пожалуй, выйдет из него победительницей. Иначе говоря, мне казалось, что в России благодаря ее некультурности Богу и теперь, как в отдаленные библейские времена, удалось смешать языки и довести людей до пол-

* Союз трех императоров (нем.).

**Отечество (нем.).



С. Сорин. Портрет Льва Шестова. (1922)

ного одичания, но в Европе люди вовремя спохватились, одумались и перехитрили Бога; что в Европе снова началось сотрудничество людей и народов и что вавилонской башне современной культуры суждено еще продолжаться вопреки воле Всевышнего. Или, выражаясь не символами, — все мечтания истинно русских самосжигателей о том, чтобы взорвать старую Европу, разобьются о традиции здоровой и прочной политической, экономической и социальной устойчивости. Прав ли я был? За короткое время моего пребывания на Западе я еще недостаточно ориентировался, чтобы проверить свои суждения. Но вопрос, кажется мне, поставлен правильно. Для меня несомненно, что большевизм, который русские социалисты считают делом своих рук, создан силами, враждебными всяким идеям прогресса и социальной устроенности. Большевизм начал с разрушения и ни на что другое, кроме разрушения, не способен. Если бы Ленин и те из его товарищей, добросовестность и бескорыстие которых стоят вне подозрений, были настолько проникательны, что поняли бы, что они стали игрушкой в руках истории, которая их руками осуществляет планы, прямо противоположные не только социализму и коммунизму, но убивающие в корне и на многие десятилетия возможность какого бы то ни было улучшения положения угнетенных классов, они бы прокляли тот день, в который насмешливая судьба передала им власть над Россией. И, конечно, поняли бы тоже, что их мечта взорвать Европу — если ей суждено осуществиться — будет знаменовать собой не торжество, а гибель социализма и приведет пострадавшие народы к величайшим бедствиям. Но, конечно, Ленину не дано это увидеть.

Судьба отлично умеет скрывать свои намерения от тех, кому их знать не полагается. Она обманула монархов, обманула правящие классы Европы, обманула и неопытных в государственных делах русских социалистов. Суждено ли и Западу стать жертвой иллюзии и испытать участь России, или судьба уже насытилась человеческими бедствиями — на этот вопрос может ответить только будущее, пожалуй, не столь уж отдаленное. В России очень молодые и не очень умные люди уверенно предсказывают, что большевизм распространится по всему миру.

Женева, 5.III.1920.



В этом разделе будут печататься воспоминания о том, как в разное время разрушились в России быт, культура, естественная жизнь народа — когда явно, с наскока в ходе очередных кампаний, а когда и медленно, исподволь, постепенным подтачиванием душевных и физических сил человека, погружением его в пучину безысходности, доведением до полного обнищания... Само название раздела уже не оставляет надежды на радужные картины. Однако опыт людей, запечатлевших разрушение и так или иначе ему противостоявших, безусловно, положителен.

НА ПЕПЕЛИЩЕ



УГЛОВАЯ ВЕДЬМА

ЛАРИСА ЛИСЮТКИНА

Горячо любимому другу и учителю
Г. Б. Федорову посвящаю
это воспоминание.

В маленьком городке моего детства стояло вечное лето. Под босыми ногами пылал желтый песок. Окраина — настоящая деревня, казацкая станица с длинными изгородями, на которые нависали соломенные крыши беленых хат...

Мы с бабушкой жили в маленькой глиняной хатке почти на самом краю города. Наш просторный двор весь зарос бурьяном, и от улицы его отделял не забор, не плетень, а лишь ряд высоких белых акаций, обвитых диким виноградом. Среди этой живой изгороди были врыты два столба, а между ними — настоящая плотная калитка, за ней — песчаная дорожка, обсаженная пегушками (много лет спустя я раскрыла рот от удивления, когда узнала, что наши пегушки называются красивым словом «ирисы»), и вела эта дорожка прямо к дому, к верандочке из дикого винограда и к входной двери с огромной дыркой для ключа. Туда свободно пролезал палец, и открыть засов, на который запиралась наша хибара, можно было и без ключа, что я частенько и делала, когда бабушка куда-нибудь уходила.

Точно так же я тащила в дом знакомых и незнакомых гостей, не заботясь о безопасности. Да и кому мы были нужны, старая и малая, в нашей игрушечной хибарке, где бабушка из года в год варила постный борщ и жарила картошку на душистом подсолнечном масле, а я читала книжки, вышивала крестиком подушки и играла сама с собой во все, что только приходило в мою шкодливую голову. И все же дверь надо было запирать, и мне здорово влетало, когда я забывала это сделать. А запираться изнутри перед сном или когда оставалась дома одна, я не забывала, потому что боялась.

Даже сейчас сердце сжимается при воспоминании о тех давно ушедших детских страхах. Зимой вечерами ярко пылала печка, от круглых конфорок на потолок и стены веером ложились загадочные тени. Раскаленное нутро печки было притягательным. Я держала ладонь над плитой, пока хватало сил, и наступали мгновения, когда казалось, что огонь ододел и скоро я сольюсь с ним и узнаю наконец сладкую и страшную

тайну его жизни и своей смерти. И тогда за спиной появлялась Угловая Ведьма, прижимала к плите мою окаменевшую ладонь и толкала сзади прямо в пекло, навстречу смерти. Иногда же она пряталась в вечернем саду, и когда я в страхе бежала по извилистой дорожке от калитки к крыльцу, Угловая Ведьма вдруг беззвучно выступала навстречу из-за широкого ствола тутового дерева или из-за куста смородины...

Ее настоящего имени никто не знал. Она ходила в черном платке, повязанном домиком: с глубокими складками по бокам и с аккуратным уголок над лбом, как носят старые казачки в станицах. Лицо — точь-в-точь как у бабы-яги с картинки: нос крючком, запавшие губы и волосатые бородавки на щеках и на лбу. Ее дом стоял через два двора от нас, рядом с домом красивой и властной Насти Шинкарец (у которой она, как втихомолку шептали соседи, сгубила сестру Катю), на углу. Потому и звали ее Угловая Ведьма, или просто — Угловая, иногда по отчеству — Андреевна. А по имени — никогда.

Жила Угловая Ведьма с незамужней племянницей, которую так и хотелось назвать послушницей — такая она была покорная и понурая, с глазами, уставленными в пол, на тощем теле — выцветшее тряпье. Племянницу звали не то Настя, не то Нюра, а иногда — младшая Угловая. По виду нельзя было заметить разницу в возрасте между ней и ее теткой, такими морщинистыми и черными были их лица. Что творилось за глухим забором, никто не знал. Ни один человек не переступал ни разу порога их большого дома, половина которого была сараем, где жили две холеные коровы — единственная привязанность старых женщин.

На улице их не любили и боялись. «Для них собаки да коровы лучше людей, — сплетничали бабы, когда за забором Угловых надрывались лаем два здоровых кобеля, — они и жрут с ними из одной миски». Чего только не рассказывали об Андреевне и ее бессловесной племяннице! Что давным-давно они были первыми богачками где-то в станице, а потом у них все отняли, и они перебрались сюда, к нам на улицу, и ни с кем теперь не разговаривают, потому что не прощали, а только и ждут момента, чтобы отомстить. Еще говорили, что у них полным-полно денег, которые они складывают в мешки и прячут в сарае в сене и по ночам дежурят по очереди. Будто бы пытались их обворовать, но ворам пришлось худо: такое с ними сделали Ведьмы, что те еле ноги унесли.

Один случай знали все. Шел как-то ночью мимо их двора пьяница Чумаченко, бывший машинист паровозного депо. То ли вспомнил пьянчужка, что тут живут злые Ведьмы, которые не спят ночами, и решил их подразнить, то ли просто в беспамьятстве — расстегнул штаны и помочился на ведьмин забор, а потом выломал доску и потащил к себе, натываясь на гвозди и матерясь. Он не видел, что за ним по следу бесшумно идет сгорбленная фигурка в черном. Подошел уже к своему двору, открыл калитку, но войти в дом ему не пришлось. Сильная костлявая рука схватила его сзади за ворот и стала душить форменной железнодорожной рубашкой. Страшно опозорила старая Ведьма бывшего казачка: загнала в деревянную уборную и заколотила дверь снаружи украденной доской, теми самыми гвоздями, которые в ней торчали, да так добротнo заколотила, что утром жена и дети не смогли освободить задубевшего от холода узника из позорного плена, пришлось звать на помощь

соседей. По Ворошиловской улице, на которую выходила одной стороной Ведьмина усадьба, Чумаченко никогда больше не ходил, а его ночное приключение стало любимой темой бабьих пересудов. Когда он плелся в подпитии по улице, бабы, коротавшие свободные часы на скамейках за воротами, встречали и провожали его ядреными шутками и раскатами хохота.

По вечерам, всегда в одно и то же время, обе Угловые — старшая и младшая — выходили со двора с большими глиняными крынками, поворачивались в разные стороны и разносили по улице молоко своим постоянным заказчикам. Несмотря на все пересуды насчет колдовства и собак, которые едят вместе с хозяйками, молоко у них брали охотно, и все признавали, что такого жирного, густого молока нет больше ни у кого, хотя коров держали тогда многие.

В ранние утренние часы моего детства влетался звук пастушеского рожка. Мне самой сейчас не верится, что много лет назад вместе с первыми чистыми лучами света, с запахом травы и земли в мой утренний сон ласково входил этот странный, нежный звук. На нашей улице, на перекрестке, где жили Угловые Ведьмы, по утрам собиралось стадо, и звон колокольчиков, привязанных к ошейникам коров, их несуетливая поступь, всплески кнута, выкрики пастухов, голоса хозяек, сгонявших свою скотину, — все это вместе, сливаясь, было образом незримой утренней жизни, и без него был бы нарушен покой моего сна, а в окружающем мире наступил бы тревожный беспорядок. Когда стадо, медленно пройдя мимо нашей калитки, удалялось, я опять крепко засыпала, а несколько часов спустя на влажном утреннем песке можно было увидеть только следы от копыт да подсохшие коровьи лепешки.

Пригоняли стадо домой еще засветло, на углу опять начиналось движение. Пастух в брезентовой накидке ругался с хозяйками, разбиравшими своих кормилиц. Угловая широко распахивала свои ворота, и в этот момент любопытные могли заглянуть к ней во двор и увидеть там двух здоровенных цепных овчарок, льстивых котов, которые выгибались и терлись пушистыми боками о крыльцо, стожки сена, накрытые толем, аккуратные грядки, целый склад граблей, тяпок и лопат у стены сарая да в глущине его — верстак.

Однажды по городку пронесся слух, что будут отрезать земельные участки.

Без огородов в те голодные годы прожить было еще труднее, чем в наши теперешние. Но помимо хлеба насущного они давали людям возможность делать то, что люди любили больше всего: обрабатывать землю, радоваться плодам трудов своих, запасать корма для коров и свиней, которые тогда были почти в каждом дворе.

Угроза была не пустой — уже и прежде отнимали у хозяев то, что городские или государственные власти считали излишками, на отрезанных клочках поселялись пришлые новички, и разгоралась священная вражда между ними и бывшими владельцами земли, тянувшаяся через поколения. Даже на моей памяти кое-кто из непрошенных поселенцев был изувечен или убит, а их дети затевали беспощадные, кровавые драки со всеми, кто попрекал их чужой землей и быллой бездомностью родителей.

Так что к слуху отнеслись всерьез и засуетились. Отбирали только незастроженные большие

участки, а если есть дом, то отнять землю с постройкой было нельзя. И вот Угловая, у которой двор был бескрайний, как полигон, а дом ютился в самом дальнем конце, быстренько выстроила себе второй дом по диагонали от первого, и никто на улице не знал об этом до тех пор, пока саманные стены нового дома не поднялись над глухим забором. Только тогда, остолбенеv, соседи увидели, как изнутри постройки замелькали руки двух женщин, которые быстро и ровненько укладывали саманные кирпичи ряд за рядом, и дом рос как на дрожжах. Все ахнули от удивления. Ну и Угловые, это ж надо! Даже стропила сами установили. В моей детской памяти четко отпечаталась картина: две тощие фигуры в черном, сгибаясь от тяжести, несут на высоте тяжелое бревно, а потом, уложив его на нужное место, сидят на нем верхом и заколачивают молотками гвозди.

Много лет спустя в Псково-Печерском монастыре я увидела сходную картину. Там шел ремонт, надвратная церковь была в строительных лесах. На них сидел верхом тощий монах, его ряса задралась, а ноги болтались в воздухе. Монах старательно колотил молотком, и мне показалось, что под его черной шапчонкой — морщинистое лицо Андреевны, которая ни на минуту не прекращает своих чудных дел: спустилась сюда с небес и орудует, как у себя дома.

Глядя на Угловых, соседи удивлялись не тому, что те решили построить дом и таким путем избежать экспроприации. Тогда весь город толь-

ко этим и занимался. Удивляло другое — никому ничего не сказали, никого не просили о помощи, неизвестно когда и откуда приволокли стройматериалы. Нарушили обычай. Дома у нас строили всем миром.

Технология была простой. Кирпича в то время было не достать. Строили из саманных кирпичей. На улице перед двором делали большой замес. Натаскивали глины, привозили с берегов Кубани чистый песок, в станицах покупали солому. Объявляли всей улице, что завтра будут месить. И с утра все кто мог собирались перед двором, раскидывали глину большим кругом, смешивали ее с песком, добавляли соломы, несли ведрами воду из колодцев. Бабы задирали длинные юбки и подвязывали их у пояса, мужики стаскивали штаны и оставались в знаменитых семейных трусах. Все забирались в замес и разминали глину ногами, перемешивая ее с песком и соломой, а знатоки советовали, не подлить ли еще воды, если замес получался слишком крутой, или не добавить ли еще песка с глиной, если замес рассыпался. Были другие рецепты, когда вместо соломы добавляли опилки или же в готовую массу подмешивали гравий. Но это считалось новомодными излишествами, и большинство старых домов строилось на соломе.

Замес распозался на всю середину улицы. Ни проехать, ни пройти. В городе, кроме гужевого транспорта, были и машины, и в центре их можно было видеть чуть ли не каждый день. Иногда какая-нибудь «эмка» забредала и в наши края, и после того как она проносилась в клубах пыли по улице, казачки долго голосили, сзывая своих детей, а когда те прибежали — взволнованно упрасивали не бегать где попало: «А то машина задавит». Слухи о проехавшей машине долго передавались потом из уст в уста, и все дружно предостерегали беззаботную ребятню от страшной опасности.

Но когда раскидывался замес, было само собой понятно, что машине в этот день на улице делать нечего. Если вдруг и появится, пусть объезжает по соседнему переулку.

А как было весело, когда месили! Бабы и мужики обменивались мнениями по поводу того, что у них под юбками и в штанах, возникали шуточные потасовки, обливались водой, и детишки тоже во что бы то ни стало хотели попасть под прохладный водопад из широких жестяных ведер, которые казачки называли цибарками.

После того как замес был готов, из него начинали делать саманные кирпичи и относили их во двор, сушиться на солнце. Знатоки авторитетно определяли качество материала: «Хороший замес!» — или: «Песку много, вот увидишь, рассыпятся». И в самом деле: иногда недосохшие кирпичи разваливались, и хозяева с воплями, слезами и матом вытаскивали их обратно на улицу, размачивали водой и делали новый замес.

А вечером после работы вся улица гуляла. Казачки и мужики сначала разбредались по домам, отмывали глину и пот холодной колодезной водой, передевались в чистое и спешили во двор к хозяевам, где уже были накрыты столы, уставленные частоколом бутылок с самогоном и граненых стаканов. Выпив и закусив, казаки начинали петь: «На вгороде верба рясна», «Распрягайте, хлопцы, коней», «По Дону гуляет». Речь пересыпалась украинскими словами, и песни были в основном украинские. Потом все пускались в пляс. По пьянке ссорились и дрались, кто-то кого-то



уводил в огород, кто-то кого-то разыскивал и клялся убить, с разных концов стола неслись крики: «Кум, а кум!» — или: «Кума, иди сюда, сядь со мной!» Вся улица, весь город были кумовьями, и когда всплывала недолгая тайна очередной супружеской измены, то все подробности сопровождалось обычно неизменным обвинением: «А еще и кумовья!...»

Много домов построили в тот раз, чтобы не отдавать свою землю. Даже не знаю, нашлись ли дворы, которые можно было бы урезать после такой строительной кампании. Кажется, только к нам приходил землемер и грозил моей глуховатой бабушке, что отберут у нас лишнюю землю, нечего ей зря пропадать, даже огород не посажен, а уж хибара и смех и грех, снести ее надо и дать место нормальным людям, пусть живут по-человечески, путем. Бабушка обливалась слезами, лепетала что-то про погибшего на войне сына, а потом вытирала слезы, насупливалась и садилась писать письмо маме, а та — дальше: в Кремль, в редакции газет, нашему местному начальству, непосредственному начальству местного начальства. Неизвестно почему, но у нас землю тоже не отняли, хотя наш бесхозный двор был у всех бельмом в глазу. Люди шли мимо нас на огороды и видели из года в год, как пышно зеленеют за деревянной калиткой сорняки и ни одна грядка не теснит их безраздельного господства. «И что за народ тут живет, даже редиски не посадят!» — говорили друг другу. Бабушка не слышала этих разговоров, так как была туга на ухо, я же не обращала на них внимания, потому что у меня были свои дела.

Угловые Ведьмы выстроили дом от начала до конца сами, замес делали не на улице, а в своем огороде, за забором, и никто даже не подозревал, какая там шла работа. И стены сложили, и полы настелили, и крышу поставили и накрыли черепицей — все беззвучно, без суеты, даже как будто ночами. Потом, когда ставни были выкрашены в синий цвет и над фронтоном закрутился резной деревянный флюгер, все заметили, как странно поставили Ведьмы свой но-

вый дом: глухой стеной вдоль улицы, а крыльцом во двор. Жить они туда не перешли. Нарядный новый дом набили сеном и закрыли на замок. Может, под ставнями даже и стекол не было. «Для кобелей дом выстроили», — решили соседи.

А вскоре произошло еще одно событие, после которого Андреевна, Угловая Ведьма, стала кошмаром моих детских снов.

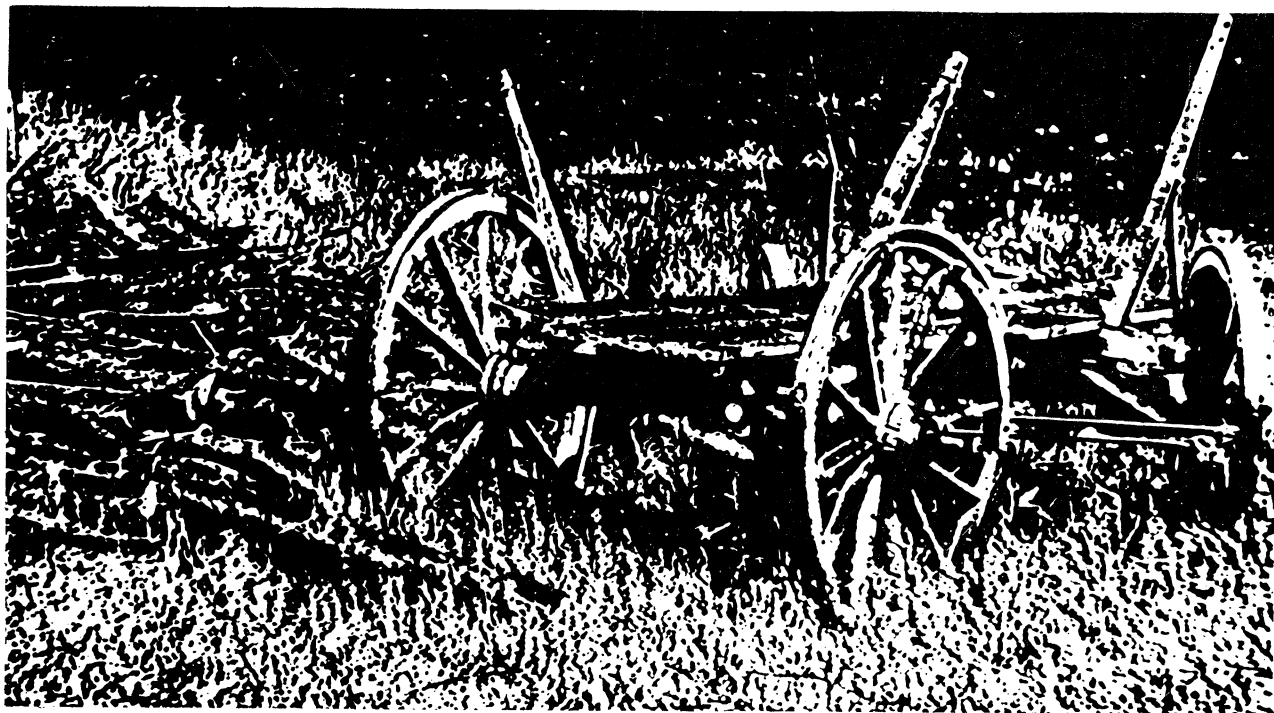
Опять пронесся по городу слух, что будут отбирать — но не землю, на этот раз коров.

Это тоже уже было. Старшие не удивились и не возмутились: это была беда, с которой не спорят. Собираясь на улице, казачки плакали, обнявшись, утирали глаза концами белых платков и голосили, обращая слезы и боль друг к другу: «Маня-Маня! Да как же жить-то! Да за что беда, Маня? Ой, горе-горе! Ой, Манечка, родная, да что ж это будет? Да чем же Митьку моего поить, Маня? Ой, Бог наказал! Ой, Маня, горе-горькое!»

На углу по утрам перестало собираться стадо. Замолк нежный пастушеский рожок. Тем коровам, которых еще не увели, хозяйки принесли сено в стойло, ласкали своих кормилиц и проливали над ними горькие слезы. И только Угловые по очереди ежедневно гоняли своих буренок в поле.

Андреевна никогда ни с кем не делилась своими думами, ее запавший рот был плотно сжат, и я не слышала ни разу, чтобы слова слетали с ее губ. Но тут она заговорила. «Не отдам коров», — объявила она всем, кто подходил к ней за сочувствием или с сочувствием. Казачки посмотрели на нее с испугом и уважением. Такая слов на ветер бросать не станет. Но как же не отдать? Ведь придут и заберут. Все знают, как это делается. «Ничего у нее не выйдет. Только беду на свою голову накличет», — так думали рассудительные пожилые мужики. «А может, она средство знает, может, заколдует она их», — возражали бабы.

Однажды в жаркий полдень перед воротами Угловых остановился почталыон и стал стучать. За-



лаляли хриплым басом овчарки. Следом на всей улице поднялся лай, соседки повывагали из дворов. Долго стучал своей палкой почтальон. Было ясно, с чем пришел он к одиноким старухам. Писем им было ждать не от кого, даже почтового ящика не было на глухих воротах. Почтальон подошел к соседке: «Настя, возьми повестку, распишись здесь и передай им». Но Настя даже слушать не стала: «Тебе за это платят, ты и передавай».

Поймал он Угловую как-то вечером, когда та гнала коров домой. Встретил с повесткой у самого двора, уже без сумки. И она ему показала свой нрав. Повестку изорвала на глазах, даже не взглянула, а потом так же тихо и яростно искрошила бумагу, в которой надо было расписаться. «Больше не носи, неграмотная я, читать не могу».

После этого случая Угловых надолго оставили в покое. Уже начали говорить на улице, что вот, мол, ты смотри, не далась Андреевна. Да и кто с ней, старой ведьмой, связываться будет?..

Но не тут-то было. Как-то перед воротами углового дома появился новый гонец. Это был не почтальон. Никто не знает, кто это был — вроде бы какой-то начальник из конторы. У него был портфель под мышкой, и он не стучал в ворота, а громко звал хозяек по фамилии. Все услышали наконец фамилию Ведьмы, которую громко бабым голосом прокричал начальник, но ее никто не запомнил. Из дома не откликнулись. Начальник прокричал-прокричал и пошел искать квартальню.

Квартальной была тетя Нина Земцова. Все восемнадцать лет, которые я прожила в городке, она была квартальной. У нее дома была грязная, засохшая печать, которую она держала в кухонном столике вместе с алюминиевыми вилками и ложками, и корявая школьная ручка с пером № 11 (мы таким писали в первом классе), и на справках и документах, за которыми к ней приходили соседи, она корябала кривыми детскими буквами свою фамилию и припечатывала ее совершенно бесформенной чернильной лужей. Иногда ее дочь Люба выносила печать на улицу, и мы играли, рассматривая отпечатки на сыром песке либо увенчивая печатью наши песчаные постройки.

Тетя Нина очень неохотно пришла к Угловой с начальником. Она добросовестно прокричала: «Андреевна! Андреевна!» — и решила, что на этом ее дело кончено. Но начальник потребовал, чтобы она вместе с ним вошла во двор к Ведьме. Тетя Нина категорически отказалась. Начальник понял, что настаивать бесполезно, но ему самому, видно, надо было сделать свое дело во что бы то ни стало. Уговорив тетю Нину не уходить, подождать у ворот, он дернул туда-сюда железную ручку, и, к удивлению тети Нины и его самого, калитка подалась. Помявшись, он вошел со своим портфелем в Ведьмин двор, чего не делал еще никто в городе.

Несколько минут было тихо. Нина стояла, потупив голову, и чертила прутиком по земле. И вдруг, еще до того как раздался шум, она в несколько прыжков добежала до калитки Насти Шинкарец и спряталась у нее во дворе. Попятились к своим убежищам и другие соседи. А из двора Угловой раздался душераздирающий крик, топот и лай, из открытой калитки с воем выкатился начальник, без портфеля, с разодранными штанами, с вылупленными от ужаса глазами. За ним на полкорпуса высунулись было овчарки, но невидимая рука в несколько попыток утащила их

обратно. Калитка захлопнулась, гроыхнул деревянный засов.

Вечером племянница, как всегда, пригнала коров с поля. Бабы попытались подойти к ней с увещеваниями: «Нюра, нехорошо как, человека затравили собаками, ты бы сказала Андреевне, что так нельзя, ведь беду накличет и на себя и на нас, на всю улицу». Но Нюра ничего не ответила, только еще ниже склонила голову, так, что никто не видел ее скорбных и жалких глаз. И исчезла за воротами вместе с обеими буренками.

А на следующее утро случилась беда.

Хорошо помню, как в непонятном беспокойстве я проснулась еще затемно и не могла уснуть, потому что в комнате была одна — бабушка уже ушла. Может, на базар, а может, возилась с керосинкой во дворе, собираясь приготовить наш обычный завтрак: жареную картошку и кружку подогретого молока. «Хоть бы не ушла, хоть бы была дома» — с такой мыслью я выскочила из теплой кровати и бросилась на крыльцо, надеясь, что вот сейчас я ее увижу, узнаю, что не одна, и станет легко и хорошо, и я вернусь в теплую постель и буду спать долго и сладко, со счастливой душой.

Но я оказалась дома одна. Во дворе пусто. Утренний холод был неприятным, а свет тусклым и мрачным. Ни один лист не шевелился. И так же неподвижно, как в стоп-кадре, у ворот маячили люди — их не сразу можно было заметить из-за полутьмы. Я тоже пошла к калитке.

На углу возле ворот Андреевны стояла машина. Вокруг расхаживали приземистые мужики в галифе и в гимнастерках. Их было человек пять-шесть. От них, казалось, даже возле моего дома пахло табаком и потом. Было очень тихо.

Вцепившись руками в свою калитку, я ждала самого страшного...

Позже я узнала, как все началось. Они подъехали на машине и ждали за углом, когда Ведьмы откроют ворота и, как всегда, погонят коров в поле. Те действительно высунулись было из своей крепости, но тут же все поняли и моментально затащили скотину обратно, заперли ворота и притаились. И вот теперь мужики в широких штанах цвета хаки — то ли бывшие вояки, то ли нынешние милиционеры — осатанело лупили железом по железу (кольцо калитки вставлялось в пластинку из металла в форме сердечка, привинченную к деревянной основе). Улица отдала на этот стук дружным собачьим лаем, и больше всех надрывались собаки за забором Угловых.

Начался штурм Ведьминой крепости, и велся он по всем правилам. Осажденные тоже стихийно проявили знание законов фортификационного искусства. Когда мужики с пыхтением и матом начали высаживать бревном ворота, на них сверху вылили ведро помоев. Теперь нападавшим уже не надо было подогреть в себе злость, они все тряслись от ярости, отплеываясь и отряхиваясь. А из-за ворот тем временем был пущен «газик» яркий огненный факел — большой пук соломы, привязанный к снопику тонких деревянных лучинок. Мужики взвыли дурными голосами. На брезентовой крыше «газика» запылал яркий костер. Пока кривоногие вояки в галифе и тяжелых сапожищах бестолково металась вокруг машины, пытаясь смахнуть с крыши огонь и вопя, второй факел описал в воздухе дугу и опустился почти на головы озверевшей команды. В воздухе запахло керосином и гарью.

Двое бойцов, не сговариваясь, выхватили нага-

ны. Сначала один, а там и другой принялись тупо палить из нагана по воротам, звуки выстрелов перемешались с шумом мотора «газика», который отгоняли в безопасное место, и с лаем совсем уж очумевших псов.

Наконец, подмоченные помоями герои сделали свое дело: доски затрещали и проломилась, их с довольным урчанием выломали напроць, и в образовавшуюся брешь бросился вооруженный десант. За забором вновь раздался выстрелы, послышался собачий визг, переходящий в предсмертный хрип,— победители поквитались с Ведьминскими овчарками за вчерашний позор. Там продолжалась возня, несколько раз из общего шума извергался истошный вскрик и как бритвой полосовал наш слух. Вот сейчас их приканчивают, вот, наверно, одну убили, принялись за другую, сейчас конец... Смерть из-за угла скользнула в провал разбитого забора, ее увидели все, и я тоже, хотя понятия не имела, в чем дело, почему и за что крушат Ведьмин дом. Вернее, было подсознательное объяснение: она же ведьма, страшная, не такая, как все, вот ее и ловят. Наверное, это хорошо, все этого хотят, и теперь, когда злых уведут или убьют, начнется счастливая жизнь, останемся только мы, хорошие люди, как все, и Ведьмы не будут больше нам вредить. Был даже азарт — кто кого, и была минутная радость, когда Ведьмы брали верх: обливали наступающих помоями или закидали машину. Если бы они победили, то тогда они были бы правы, и я бы их одобрила в своей детской душе. Но так не вышло...

Борьба была окончена. В широкий проем ворот сопящие штурмовики вывели двух спокойных, холеных коров. Они шли, как всегда, неторопливо, и даже колокольчики на их ошейниках позванивали. Как в те далекие дни, когда на углу возле Ведьминых ворот собиралось теплое рыжее стадо, и щелкал кнут, и нежно пел пастушеский рожок. Но сейчас между сытыми коровами шла не Нюра-послушница с опущенными долу глазами, а кривоногий солдат в галифе и с наганом в правой руке. Насти не было. Старая Ведьма, растрепанная и растерзанная, без платка, с косматыми седыми патлами, цеплялась за ошейник. Ее вновь отгаскивали, опрокидывали, били. Но уже без энергии, устало и отупело.

Коров привязали сзади к подводе. Часть победителей укатила на «газике», остальные пошли рядом с подводой. А Ведьма не отставала. Она цеплялась за подводку, висла на коровах, и тогда ее опять били и отшвыривали. В конце концов она схватилась за низкий борт подводки и поволоклась безжизненно, костлявые босые ноги чертили на песке две извилистые борозды. Когда ее с трудом оторвали от телеги, она мертвой хваткой вцепилась в тех, кто отрывал. Долго волокли ее мужики лицом по песку, не в силах сбросить, ругаясь и пригибаясь под тяжестью жилистого тела. Но все же оторвали и бросили посреди дороги, руки раскинуты крестом, лицом вниз, неподвижную — полумертвую. А может, мертвую.

Телега и коровы уже скрылись из виду, а худое безжизненное тело Ведьмы оставалось лежать. Люди, которые во время боя попрятались у себя во дворах, теперь стояли на улице. Все тихо переговаривались, но никто не двигался с места. Спустя некоторое время из Ведьминых ворот вышла Нюра. Ни на кого не глядя, она тихо пошла туда, где лежала на земле распластанная фигурка. Никто не последовал за ней. Все молча смотрели вслед.

Но вот резко стукнула калитка, и Настя, соседка, решительно пошла туда же, на ходу повязывая белую батистовую косынку. Люди медленно потянулись за ней. Она опустилась на колени рядом с телом Ведьмы по другую сторону от Нюры, народ стянулся в круг. В первом ряду, опережая взрослых, но и не отрываясь от них далеко, оглядываясь на них, переминались дрожащие от страха и любопытства детишки, и я среди них, оставив распахнутую дверь пустого дома. И в тот момент, когда мы были совсем близко, метрах в трех от женщин, склонившихся над телом, им удалось это тело перевернуть — и я услышала свой крик. Никогда в жизни, ни до, ни после, я не видела ничего ужаснее плоского месива из песка и крови, которое было прежде человеческим лицом, а теперь стало пятном грязи, мертвее самой смерти...

Очнулась я только неделю спустя в городской детской больнице, где возле моей кровати неотступно дежурила похудевшая и заплаканная бабушка. Придя в себя, я протянула вперед руки и сказала: «Не надо, пожалуйста, не надо мне ничего говорить про нее. Никогда, никогда не надо. Я боюсь».

Сейчас все это — другая жизнь, которая комом лежит на дне моей памяти. Кто была Угловая Ведьма на самом деле, умерла ли она после того страшного утра? Она ли продолжала ходить по улице в черном платке до бровей, или только в моей испуганной фантазии в минуты одиночества является ее образ перед раскаленной пастью печки да в темноте заколдованного двора? И так ли было все, как вспомнилось сейчас? Да и было ли вообще, или из обломков прошлого сплетаются новые картины, и то, что оживает как воспоминание, на самом деле — лишь одна из причуд калейдоскопа, никогда не повторяющего самого себя?



СТРАННИК

Издательским отделом ТПО «Странник» выпущены и готовятся к печати:

Романы Б. Стокера «Вампир (Граф Дракула)» и «Логово Белого Червя» — лучшие образцы так называемой «вампирической» литературы, советскому читателю практически не знакомой.

Повесть маркиза де Сада «Жюстина» и анонимный французский эротический роман XVIII века «Тереза-философ».

В серии «Ретро-детектив» выходят некогда весьма популярные русские «полицейские романы» К. Голохвастова, Н. Животова, В. Сухаро, П. Орловца и др., а также детективы Э. Уоллеса «Тайна тюрьмы» и «Мелодия смерти».

В серии «Мир христианской культуры» выходят сочинения Св. Иоанна Кронштадтского, «Жития русских святых», а также семитомный труд французского историка и философа Эрнеста Ренана «История происхождения христианства («Жизнь Иисуса», «Апостолы», «Апостол Павел» и др.).

Репринтные издания: «Тайны карточной игры и разоблачения шулерских приемов», «Ордена и знаки отличия гражданской войны» (по материалам русского зарубежья), «Дуэль и честь в истинном освещении» и др.

Заказы принимаются по адресу: 127427, Москва, а/я 31.

ТПО «Странник» принимает заказы на подготовку макетов книг, брошюр, журналов и иллюстрированных изданий.





В «Войне и мире» подробно описывается, как в доме Ростовых получили первое письмо из армии от Николая. Волнения, радость, слезы, восторги — все домочадцы, каждый по-своему, переживают полученное с фронта известие: «Письмо Ни́колушки было прочитано сотни раз, и те, которые считались достойными его слушать, должны были приходить к графине, которая не выпускала его из рук...»

Примечательно, что старая графиня не только проливает счастливые слезы по поводу письма от сына, она произносит краткую речь в похвалу его эпистолярного стиля:

«— Что за *шталь*, как он описывает мило! — говорила она, читая описательную часть письма. — И что за душа! О себе ничего... ничего! О каком-то Денисове, а сам, верно, храбрее их всех. Никого не забыл».

Письма, подобные этому, действительно существовали, и Л. Н. Толстой их читал. Речь идет о письмах отца писателя с театра военных действий в 1812—1813 годах.

Николая Ильича Толстого (1794—1837) обычно отождествляют в романе с Николаем Ростовым. Однако по возрасту и по тому, как он начал свою военную службу, он более напоминает Петю Ростова.

Семнадцать лет Николай Ильич был зачислен корнетом в 3-й Украинский казачий полк. Это произошло 11 июня 1812 года, за день до начала войны. 28 июля его перевели в формирующийся П. И. Салтыковым Московский гусарский полк, где он стал однополчанином А. С. Грибоедова. До 30 августа полк формировался в Москве,

затем был направлен для дальнейшего формирования в Казань. 17 декабря 1812 года Салтыковский полк вошел в Иркутский драгунский, переименованный в гусарский. Н. И. Толстой, как свидетельствуют его письма к родителям, получил назначение адъютантом к генералу Андрею Ивановичу Горчакову и с декабря 1812 года находился в походе. Боевое крещение Николай Ильич получил в апреле 1813-го под Дрезденом, а в ноябре отличился в «битве народов» под Лейпцигом. Был награжден орденом Владимира 4-й степени и удостоен чина штаб-ротмистра.

В рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого имеются восемь писем Николая Ильича из армии, хранившиеся у Татьяны Александровны Ергольской (1792—1874), троюродной тетки и воспитательницы Л. Н. Толстого. По-видимому, не все письма сохранились, значительная их часть была утрачена или уничтожена в 1826 году, когда во многих дворянских домах, опасаясь арестов по делу декабристов, предавали огню семейные архивы.

Биограф Л. Н. Толстого Николай Николаевич Гусев процитировал три отрывка из писем Н. И. Толстого к родителям в первом томе своего исследования (Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954). Однако полностью эти интереснейшие документы публикуются впервые.

Письма Н. И. Толстого написаны по-русски и по-французски. Французский текст дается в переводе.





Илья Андреевич Толстой, отец Н. И. Толстого

1.

Милым моим папеньке и маменьке в Москву. <Надпись на оборотной стороне письма>.

<Без даты>¹.

Дорогие родители!

Я нашел моего дядюшку готовым отправиться в Москву и поспешил воспользоваться этой оказией, чтобы сообщить вам мои новости. Андрея Андреевича Безра² нет в деревне, он поехал на освящение Новосильцевской церкви. Бричка моя мне служит как нельзя лучше. Мы нынче будем в Орле, откуда я вам напишу еще раз нынешний день. Целую ваши ручки мысленно и прошу вас не забывать меня, то есть огорчаться как можно меньше. Остаюсь навеки вам покорный сын

Граф Николай Толстой.

Яков³ у вас целует ручки и просит вашего благословения на его бракосочетание на неизвестную мне особу.

Мои милые сестры⁴, любите меня, как вы это делали до сих пор, и вы будете довольны тем, кто называет себя навеки вашим любящим братом.

Николай, Граф Толстой.

Целую руки моей доброй Туанетт⁵, мои приветствия — мадам Бутье⁶.

¹ Письмо может быть датировано концом июня-июлем 1812 года, когда Николай Ильич состоял на службе в 3-м Украинском казачьем полку.

Родители Николая Ильича: Илья Андреевич Толстой (1757—1820), в молодости служил в гвардейском Преображенском полку, в 1793 году вышел в отставку в чине бригадира, жил в Москве, в богатом доме, находившемся в Кривом переулке, между Тверской и Никитской; старшина московского Английского клуба; в 1815—1820 годах губернатор Казани; Пелагея Николаевна Толстая, урожд. княжна Горчакова (1762—1838). Ее внук А.Н. Толстой писал ей в «Воспоминаниях»: «...как дочь старшего в роде, она пользовалась большим уважением всех Горчаковых» (Толстой А. Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. т. XIV, М., 1983, с. 393).

² Безра Андрей Андреевич — муж племянницы И. А.



Пелагея Николаевна Толстая, мать Н. И. Толстого

Толстого Анастасии Владимировны, урожд. Ржевской (1784—?), дочери Анны Андреевны Толстой от брака с Владимиром Матвеевичем Ржевским (ум. ок. 1813). Дочь Андрея Андреевича и Анастасии Владимировны Наталья Андреевна Безра (1809—1887), героиня бакунинского романа, прототип Натальи Ласунской в «Рудине» Тургенева, — троюродная сестра А. Н. Толстого.

³ Яков (фамилия не установлена) — слуга в доме Толстых.

⁴ Сестры Николая Ильича: Алина — Александра Ильинична (1795—1841), с 1814 года замужем за графом Карлом Ивановичем Остен-Сакеном (1797-1855), сводным братом Александра Михайловича Горчакова, лицейского товарища Пушкина; Полина — Пелагея Ильинична (1797—1875), с 1818 года замужем за Владимиром Ивановичем Юшковым (1789—1869), офицером лейб-гвардии гусарского полка, участником походов в 1813—1815 годов, полковником в отставке.

⁵ Туанетт — Татьяна Александровна Ергольская, после смерти матери в 1806 году была взята на воспитание теткой Пелагеей Николаевной Толстой, до конца своих дней жила в семье Толстых. Любви Татьяны Александровны и Николая Ильича посвящены страницы «Воспоминаний» А. Н. Толстого. (Толстой А. Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах, т. XVI, с. 401-402).

⁶ Мадам Бутье — по-видимому, француженка, гувернантка в доме Толстых.

2.

<Без даты. >¹

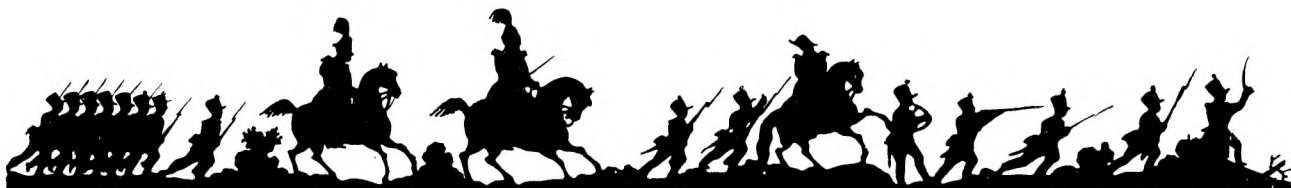
Моим родителям. <Надпись на оборотной стороне письма>

Дорогие родители!

Я, слава Богу, здоров и был бы довольно весел, если бы не был в разлуке с вами. Увидел я Москву хуже Костромы, найти ничего нельзя, а про дома, которые сторели, и говорить нечего, ибо ужасно взглянуть; кроме поля и оставшихся от пожаров труб ничего нигде не видно².

Я был у Петра Степановича Валуева³, который также отпускает своего сына в армию. Мы приехали сюда 14 числа, а едем завтра и уже нигде не останавливаемся, что мне очень приятно.

Сделайте милость, дайте мне как-нибудь знать, куды мне адресовать мои письма, а я покуда буду просить дядюшку⁴, чтобы он пересылал их к к(нязю)



Алексею Ивановичу⁵, который их вам будет доставлять.

Простите, милый папенька и маменька, целую ваши ручки, молю Бога, чтобы вы были здоровы, и прошу вас ради Христа писать мне почаще, это, право, будет единственная моя отрада, живши с вами врозь. Остаюсь навсегда ваш покорный сын и друг Николай, Г<граф> Толстой.

Мягков, Маркус⁶ свидетельствуют вам свое почтение и просят вас не забывать их.

Мои милые сестры.

Я здесь уже в течение трех дней, и вы можете себе представить, как я скучаю. Никого из знакомых здесь нет. Хотите знать, что я делаю, чтобы развлечься? Я расставляю ваши портреты, я беседую с ними и иногда даже танцую, считая, что я нахожусь в Костроме среди вас, моих добрых друзей. Я уверен, что вы меня любите и не откажете мне в моей просьбе, с которой я к вам обращаюсь,— грустите по возможности меньше. Подумайте, если бы я знал, что вы спокойны и довольны, моя разлука (с вами) была бы мне намного легче. Прощайте, мои милые друзья, мне нечего вам сказать, кроме того, что я очень вас люблю; но эта старая песня, которую вы слишком хорошо знаете. Любите всегда вашего брата, часто пишите ему и будьте уверены, что он будет для вас всегда тем же самым, т.е. вы всегда будете занимать первое место в его сердце.

Николай.



Николай Ильич Толстой

нине вступления в Москву наполеоновской армии Илья Андреевич с семьей выехал в Кострому.

³ Валуев Петр Степанович (1743—1814) — главный начальник Кремлевской экспедиции (охраны памятников московского Кремля), в канцелярии которого числился губернский секретарем Николай Ильич Толстой до поступления на военную службу. В письме речь идет об одном из младших сыновей П.С. Валуева. Его старший сын Петр, офицер Кавалергардского полка, был убит в Бородинском сражении.

⁴ Горчаков Андрей Иванович (1779—1855), генерал-от-инфантерии. Поправившись после ранения, полученного в Бородинском сражении, догонял Главную квартиру (штаб) русской армии, преследовавшей противника после его разрома в битве при реке Березине 16 ноября 1812 года.

⁵ Горчаков Алексей Иванович (1769—1817) — родной брат Андрея Ивановича Горчакова. В 1812—1813 годах генерал-лейтенант, управляющий Военным министерством, затем военный министр; находился в Петербурге.

⁶ Мягков Гавриил Иванович — магистр военных наук и математики с 1831 года, профессор Московского университета. Был преподавателем в Московском университетском пансионе, где накануне Отечественной войны 1812 года его учениками были будущие декабристы (см.: Не чкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1951, с. 83). Мягков давал также уроки молодым людям, получавшим домашнее воспитание. Упоминание Г. И. Мягкова как хорошего знакомого И. А. Толстого дает основание предположить, что среди учеников магистра был и Николай Ильич Толстой. Этот факт в корне меняет традиционное представление об уровне домашнего воспитания Николая Ильича. Маркус Михайлович Антонович (1790—1865) — известный врач, автор «Сельского лечебника» (М., 1833, 1856, 1865). В 1812—1813 годах М. А. Маркус был штаб-лекарем в прославленной 27-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Д. П. Неверовского. Во время Бородинского сражения дивизия входила в группу войск под общим командованием Андрея Ивановича Горчакова. По-видимому, Маркус оказывал медицинскую помощь раненому А. И. Горчакову.

⁷ Соллогуб Анна Михайловна — двоюродная племянница П. Н. Толстой, дочь Михаила Алексеевича Горчакова и Елены Васильевны Ферзен, в первом браке за Иоганном-Густавом Остен-Сакеном. Анна Михайловна — сводная сестра Карла Ивановича Остен-Сакена и старшая сестра Горчакова — лядейского товарища Пушкина. Замужем за Львом Ивановичем Соллогубом. Их дочерью Надеждой Львовной Соллогуб (1815—1903) был увлечен Пушкин и посвятил ей стихотворение «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...».



Алина и Полина, сестры Н. И. Толстого

Благодарю еще раз любезную Туанетт за то, что она написала о себе добрые вестки. Если Вы еще в Костроме, то Вы будете удивлены получить эти письма от графини Соллогуб⁷. Причина в том, что если бы Вы были в Петербурге, она бы Вам их доставила. Из этого Вы можете видеть, что я аккуратный малый. До свиданья, мой добрый друг, старайтесь развлекать маменьку, насколько это возможно. Не забывайте меня, и этим Вы докажете, что любите (меня).

Николай.

¹ На основании текста письма его можно датировать 16 декабря 1812 года.

² Так выглядела Москва после пожара, бушевавшего со 2 сентября 1812 года, когда город был оставлен русскими войсками и в него вошла армия Наполеона. Во время пожара сгорел дотла дом И. А. Толстого в Кривом переулке. Нака-



1812-го 28 декабря.

Гродно.

Поздравляю вас, милые папенька и маменька, с прошедшими праздниками и с наступающим Новым годом; крайне прискорбно, мои дражайшие, что я этот день должен провести розно с вами, но я надеюсь на милость Божью и уверен, что это не предвещает мне целый год разлуки с вами.

Рождество Христово провели мы в Смоленске, где мы слушали обедню и видели внос Смоленской Божьей матери после (ее) трехмесячного присутствия при армии¹; теперь приехали в Гродно, перенеся долгое и скучное путешествие. Главная квартира выступила из этого города², и нашли мы здесь только двух оставших от нее генералов, а именно Дохторова и Уварова³, у которых кн. Андрей Иванович был и которые сказали ему, что нам надо будет следовать к Кенигсбергу⁴.

Не бывши еще ни разу в сражении и не имевши надежды в нем скоро быть, я видел все то, что война имеет ужасное: я видел места, верст на десять засеянные телами; вы не можете представить, какое их множество по дороге от Смоленска до местечка Красное⁵, да это еще ничего, ибо я считаю убитых несравненно счастливее тех пленных и беглых французов, кои находятся в разоренных и пустых местах Польши; вы можете не поверить, что мы почти были свидетелями, как прикалывали казаки тех, кои, не имевши более силы идти, упали от усталости.

Признаюсь вам, мои милые, что если бы я не держался русской пословицы: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж», я бы, может, оставил военное ремесло; вы, может, мне скажете, что не имею права говорить это, оставя уже все то, что я всего более на свете люблю; но что же делать, я так же как (и всякий) другой, не умел быть доволен своим состоянием. Но что про это говорить? Я всегда любил военную службу и, вошедши в нее, считаю приятною обязанностью исполнять в точности мою должность.

В Борисове останавливались мы у коменданта, который вам довольно знакомый человек, он велел вам кланяться и сказать, что по молчанию вашему он примечает, что вы совсем забыли Николая Петровича Свечина⁶.

Не знаю, дойдет ли к вам письмо, ибо почта здесь совсем почти не установлена. Простите, мои дражайшие папенька и маменька, целую ваши ручки, молю Бога о сохранении вашего здоровья и остаюсь навек с известными вам чувствами

ваш преданный сын и друг

Николай, Граф Толстой.

Сейчас только узнал, что из Пруссии не принимают на почту партикулярных писем⁷, а так как я до тех пор не буду иметь случая писать вам с казенным письмом, пока кн. А. И. не приедет в армию и не будет иметь нужды писать о чем-нибудь к брату, то не беспокойтесь, если недели две не получите от меня известия. Простите еще раз, мои бесценные, будьте здоровы и спокойны за мой счет.

¹ При оставлении русскими войсками Смоленска 5 августа 1812 года артиллерийской ротой полковника Глухова была взята икона Смоленской Божьей матери, и с тех пор ее возили за полками 3-й пехотной дивизии. После освобождения Смоленска от неприятеля 6 ноября 1812 года М. И. Кутузов отдал распоряжение о возвращении иконы в Смоленск (см.: Михайловский-Данилевский А. И.



Император Александр I

Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб. 1839, с. 35-37). Смоленская «большая, с черным ликом в окладе иконы» упоминается Толстым при описании событий в осажденном французами Смоленске и в главе, посвященной Бородинскому сражению (описание церковного шествия и молебна накануне битвы. — См. Толстой Л. Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. М., 1980, т. VI, с. 124; 203-204).

² Главная квартира, т.е. штаб главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова, находился к 1 января 1813 года на пути к польскому городу Плоцку на Висле; 24 января город был занят русскими войсками (см. Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974, с. 328).

³ Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал-от-инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. В «Войне и мире» Толстой дал высокую оценку боевым действиям Дохтурова, его мужеству, стойкости и скромности. (Собрание сочинений в двадцати двух томах. М., 1981, т. VII, с. 116). Д. С. Дохтуров был знакомым Ильи Андреевича Толстого по службе в Преображенском полку (см. об этом в письме Николая Ильича отцу от 9 февраля 1813 года из Эйлерсдорфа). В марте 1813 года Д. С. Дохтуров был назначен командующим войсками в Варшаве.

Уваров Федор Петрович (1769—1824) — генерал-лейтенант, начальник кавалерии Главной армии. Упоминается Толстым в «Войне и мире» как участник Аустерлицкого и Бородинского сражений. (Собрание сочинений в двадцати двух томах. М., 1979, т. IV, с. 355, т. VI, с. 196, 247, 257).

Ф. П. Уваров — родной брат полковника, флигель-адъютанта Александра I Дмитрия Петровича Уварова (1774—1820), женатого на Екатерине Васильевне Горчаковой, племяннице П. Н. Толстой.

⁴ 4 января 1813 года русские войска овладели Кенигсбергом, поэтому воинские части, прибывавшие в Гродно, направлялись далее не на север, а на запад, к Варшаве (см.: Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России, с. 327-328).

⁵ Красное — населенный пункт по дороге от Смоленска к Орше. 5-8 ноября 1812 года произошло сражение под Красным, в котором армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение, потеряв 6 тысяч убитыми, 26 тысяч пленными, почти всю артиллерию и конницу (см.: Жилин





А. И. Горчаков

П. А. Гибель наполеоновской армии в России, с. 297). В «Войне и мире» описано обращение М. И. Кутузова к войскам после сражения под Красным. В этой и следующих главах Толстой изобразил толпы обмороженных, полуодичавших французских пленников. (Собрание сочинений в двадцати двух томах, т. VII, с. 197-208).

⁶ Свечин Николай Петрович (1778—?) — тульский дворянин, сын Петра Ивановича Свечина (1740—1808), председателя Тульской гражданской палаты, знакомого семьи Толстых. В 1815—1818 годах Н. П. Свечин вел дела по именным И. А. Толстого и его жены (см.: Гусев Н. П. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954, с. 19). Николай Петрович Свечин был известен как актер-любитель.

Письма от частных лиц.

4.

Его сиятельству милостивому государю Графу Илье Андреевичу Толстому в Петербурге. (Надпись на оборотной стороне письма.)

1813-го 4 ф (еврала).

Ленгицы ¹.

Письмо ваше из Москвы, дражайшие родители, имел утешение получить после того, которое доставлено мне было через кн. Алексея Ивановича из Петербурга. Папенька напрасно на меня целый день сердился за то, что не имел от меня известия из Минска. Дядюшка тогда писал к своему брату, когда я им же самим отправлен был вперед; поверьте, мои милые, что оставя удовольствие, которое мне приносит моя переписка с вами, я очень хорошо знаю, как приятно получать письма от людей, близких нашему сердцу. И потому вы должны быть уверены, что я не пропускал бы ни малейшего случая доставлять вам о себе известия, если бы это от одного меня зависело; но так как кн. Анд-

рей Иванович пишет часто, когда нет меня при нем, то и грех вам на меня сердиться.

Теперь поставлю приятным долгом поблагодарить вас от искренней души за родительские, но больше дружеские советы, которые вы мне подаете; поверьте, мои неoceneнные, что я умею ценить вашу любовь ко мне и что наисладчайшее мое упражнение будет стараться заслуживать ее хорошим моим поведением. Вы же мне говорите, что я оним могу подкрепить старость вашу, то можете ли вы сомневаться, чтоб не употребил я возможные силы, дабы усладить дни столь драгоценных людей моему сердцу.

Граф Федор Иванович ² виделся со мною недели две тому назад, а теперь я не знаю, где он находится, ибо он прикомандирован к отдельному совсем корпусу. Дети графа Дмитрия Борисовича ³ остались в Вильне у какого-то дяди, и поэтому я еще не мог отдать им ни вещей, ни денег, которые были им со мною посланы. Я писал кн. Алексею Ивановичу, благодарил его за позволение, которое он дал, писать прямо к себе, говорил ему о здоровье его брата и просил его доставить вам это письмо. Здесь, кроме червонцев, никакие больше деньги не ходят, товарищи мои все почти без копейки, сам князь очень беден, и я кой-как еще держусь. Прощайте, мои дражайшие, будьте спокойны, здоровы, не лишайте меня вашей любви и будьте уверены, что как поведением, так и всем тем, что только будет касаться до спокойствия вашего, я буду стараться, так, как вы говорите, утешать вашу старость.

Ваш преданный сын и друг
Николай, Граф Толстой.

Здравствуйте, мои милые друзья, ваше письмо мне доставило такое удовольствие, какое самый красноречивый писатель едва ли мог бы выразить на бумаге. Признаюсь, что ваше молчание начало меня беспокоить. Я, всегда говоривший, что письма не имеют никакой пользы, теперь убедился, что это единственное утешение для тех, кто, как я, обязан быть вдали от обожаемой семьи и от лиц, дорогих его сердцу. Теперь, когда у вас есть возможность писать часто, я надеюсь, что вы будете это делать. Это доступное мне удовольствие в том несносном путешествии, которое я обязан предпринимать.

Хотя милая Алина полагала, что, очутившись в незнакомой мне стране, я найду прелестные сюжеты для описания, напротив, чем больше я удаляюсь от страны, где я оставил все мои привязанности, тем более я затрудняюсь, чем вас занимать; и если бы мои чувства к вам не диктовали мне большую часть моих писем, я не мог бы заполнить и полстраницы, как я это сделал. Однако, прощайте, я должен вас покинуть, чтобы сказать словечко Туанетт, которая, как я вижу, меня не забывает. Будьте здоровы, мои милые друзья, любите меня, как вы любили до сей поры, и верьте, что мои дружеские чувства столь же живы, как и постоянны.

Ваш друг и брат Николай.

Благодарю мою добрую Туанетт за те несколько строк, которые она мне написала, это доказывает, что я по-



прежнему занимаю место в ее памяти. В то же время скажу ей, что напрасно она думает, будто я о ней помню только потому, что она носит имя малоизвестной мне особы. Нет, я ее люблю ради нее самой, и было бы трудно поступить иначе, так как она к этому вынуждает и всех тех, кто знает ее меньше, чем я. Ваш брат ⁴ чувствует себя прекрасно, он переведен в Преображенский полк и весел так, как нельзя больше.

¹ Ленгиды — населенный пункт в Польше на пути к городу Калишу, бой за который велись 1-8 февраля 1813 года авангардом русских войск под командованием М. А. Милорадовича; в состав авангарда входил корпус генерала Андрея Ивановича Горчакова (см.: Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России, с. 333-334).

² Толстой Федор Иванович (1782—1846), прозванный Американцем — двоюродный брат Николая Ильича. Участник Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении был ранен в ногу, получил Георгиевский крест за храбрость.

³ Толстой Дмитрий Борисович (1763—1844) — генерал-майор, двоюродный брат Ильи Андреевича Толстого. Был женат на Елизавете Андреевне Закревской. По-видимому, речь идет об их младших детях: дочери Софье (род. 1801) и сыновьях Александре (род. 1806) и Модесте (род. 1809).

⁴ Ергольский Семен Александрович (1785—1849) — старший брат Татьяны Александровны Ергольской. Начал военную службу в 1806 году прапорщиком, с 1808 года штабс-капитан 1-го Егерского полка. Был награжден орденом Владимира 4-й степени, золотой шпагой за храбрость.

5

Эйлерздорф 1813-го 9 ф (еврала).

Поздравляю вас, милые папенька и маменька, с наступающим праздником. Вы так хорошо знаете мою привязанность к вам и сколь нежно я вас люблю, что не почитаю за нужное описывать, как тягостно мне быть принуждену провести сей праздник в разлуке с вами, тем более что это будет еще в первый раз. Вы мне пишете, милый папенька, что думаете завесновать в Петербурге, и по тому я вижу, что вы еще катаетесь в санках, тогда как у нас уже давно лето.

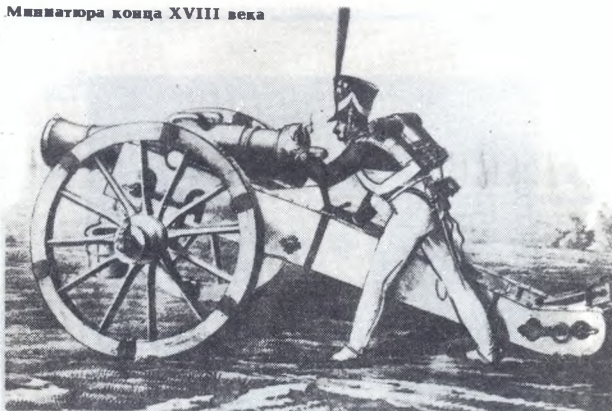
Я теперь в Шлезии ² и надеюсь скоро быть в Саксонии, где жизнь для меня очень приятна, ибо я горю по-немецки.

Дмитрий Сергеевич Дохторов, который доселе был все с нами, а теперь уехал в Варшаву, велел вам кланяться и сказать, что если вам вздумается идти в военную службу, то чтобы приезжали прямо к нему, ибо он очень будет рад старому товарищу.

Признаюсь вам, мои милые, что мне здесь не очень весело, и если бы кн. Андрей Иванович не так много был ко мне милостив, то я бы не знал, что мне делать от скуки. Я все с ним вместе, и если вы будете ему писать, то поблагодарите его за все его ласки ко мне.

Благодарю вас, мои милые, за чай, табак и книги, которые точно такие, как я желал. О Гресе ³ я вам не писал, думав, что уже давно знаете, что он офицер. Вы думаете, добрейший папенька, что я от недостатку искренности не писал вам, что мне нужны деньги, совсем нет, мой бесценный, я доселе ничего от вас не скрывал и слишком хорошо знаю, что вы единственно прямо искренние мои друзья, чтобы решиться (слово неразб.) утаить что-нибудь. Мне тогда не были нужны деньги, а теперь признаюсь вам, я в недостатке и

Миниатюра конца XVIII века



принужден занять у Добровольского ⁴ 300 рублей до присылки от вас.

Простите, мои бесценные папенька и маменька, будьте здоровы, веселы и верьте, что я есть по гроб преданный вам душой и сердцем и искренний ваш друг и сын

Николай, Граф Толстой.

Я поздравляю милую Полину с праздником. Ты легко поймешь, как грустно мне в этот день быть разлученным с тобой. Я нахожусь теперь в Силезии и надеюсь скоро быть в Саксонии, страна эта прелестна, и, зная немного немецкий язык, я имею большое преимущество перед своими товарищами. У нас здесь прекрасная погода, деревья все зелены, цветы везде распустились. Наш поход приятен, как прогулка ⁵. Я был бы вполне счастлив, если бы мог сказать по крайней мере иногда, что я нахожусь в лоне своей семьи. Но что делать, это удовольствие у меня в настоящее время отнято, и Бог знает, скоро ли оно мне будет возвращено. Если графиня Соллогуб находится в настоящее время в Петербурге, поздравь ее от меня с праздником и скажи ей, что хотя я не видел Льва ⁶, я знаю, что он здоров, что я ему передал ее портрет и ее письма и что я прошу ее, если она время от времени вспоминает меня, сохранить ее дружбу ко мне, и особенно скажи ей, что я много вспоминаю о 9-м декабря, которое было последним днем, проведенным в кругу моей семьи и вместе с ней.

Еще я должен тебе сказать, моя дорогая Полина, что ты очень ленива. Ты не пишешь никогда больше двух строк, правда, они удачны. Кроме шуток, милая Полина, твои письма очень хороши, ты умеешь придать цену незначительным вещам. Во всяком случае, не прими это как упрек с моей стороны, я далек от этого и благодарю тебя за точность и прошу продолжать писать мне так, как ты это делаешь теперь. Прощай, целую тебя так же нежно, как тебя люблю. Скажи графине Соллогуб, что я ей целую руки так же, как я это делал столько раз в Костроме. Еще раз прощай и будь здорова и верь моим чувствам самой искренней дружбы.

Твой брат Николай.

Здравствуйте, моя милая Гуанетт!

Ваше письмо далеко мне не наскучило, как Вы это думали, но доставило мне такое удовольствие, что мне





не хватает красноречия описать его. Страна, в которой мы сейчас находимся, прекрасна. Мы все наши переходы совершаем верхом; и это была бы, как я уже писал Полине, настоящая прогулка, если бы эти прогулки совершались бы всегда в то время, когда мы хотим быть на воздухе, но, к несчастью, мы вынуждены гулять с того момента, когда мы больше хотим спать, чем наслаждаться прекрасными видами, которые ежедневно открываются перед нами в Силезии.

Если бы Вы могли видеть меня теперь, Вы бы меня не узнали, мое военное настроение настолько утихло, что деревенская жизнь начинает приобретать для меня свою прелесть. Мне хочется сделать Вам сюрприз⁷, который будет заключаться в том, что в одно прекрасное утро Вы пойдете гулять и Ваши уши услышат звуки волынки. Вы остановитесь и будете слушать, музыкант Вас заинтересует. Вы подойдете к ручью и увидите пастуха, и этот пастух, кто он, думаете Вы? Это не просто пастух, Вы узнаете в этом пастухе Николая.

Но остающаяся бумага недостаточна и не позволяет мне продолжать болтать, нужно, чтобы я использовал ее на другое, т.е. на то, чтобы сказать Вам, что моя дружба к Вам так же нерушима, как и постоянно, и что случайно обернувшись пастухом, я буду Вас всегда любить, как я это делал до сих пор.

Николай.

¹ Э й л е р з о р ф — населенный пункт в Силезии, неподалеку от города Калиша, где с 8 февраля 1813 года находилась Главная квартира русской армии.

² Ш л е з и я — старинное название Силезии.

³ Об офицере Грасе сведений найти не удалось.

⁴ Д о б р о в о л ь с к и й — по-видимому, офицер, сослуживец Н. И. Толстого. Сведений о нем нет.

⁵ После занятия русскими войсками города Калиша главнокомандующий М.И. Кутузов отдал распоряжение о сосредоточении основных сил у реки Одер; войска в ожидании подхода резервов из России продвигались к Одеру, им дана была возможность передохнуть и привести себя в порядок. По свидетельству историка А.И. Михайловского-Данилевского, который участвовал в походе 1813 года, будучи адъютантом М.И. Кутузова; «поход к Дрездену, совершенный в прекрасную весеннюю погоду, улодоблялся прогулке» (Записки о походе 1813 года А. Михайловского-Данилевского. Второе издание, СПб, 1836, с. 90). Другой участник похода 1813 года, Федор Николаевич Глинка, адъютант М.А. Милорадовича, писал: «У нас здесь танцуют и веселятся под гром Глоганских пушек». (Имелась в виду крепость Глогау на Одере, на пути в Дрезден). Однако это было затишье перед

ожесточенными, кровопролитными боями: 9 апреля русские войска овладели Дрезденом; 16 апреля 1813 года в городке Бунцау скончался М. И. Кутузов. Командование войсками перешло к Александру I, П. Х. Витгенштейну, М. Б. Барклаю-де-Толли. Наполеон воспользовался трудным для русской армии моментом и 20 апреля под Люценом нанес ей сокрушительный удар. Русские и прусские войска потеряли 20 тысяч человек и отступили за Эльбу. Наполеон занял Дрезден. 27 апреля на рассвете Федор Глинка записал: «Пальба усилилась. Генерал Милорадович услышал ее — и забыл болезнь свою! Он велит сесть лошадей, и все мы едем в дело. — Оно будет жарко. — Прощай!» (Ф. Г л и н к а. Письма русского офицера. М., 1815, часть пятая, с. 98).

⁶ С о л л о г у б Лев Иванович (1785—?) — муж графини Анны Михайловны Соллогуб. 5 августа 1812 года Л.И. Соллогуб поступил в Московский гусарский полк П.И. Салтыкова, во время движения русских войска к Одеру в феврале 1813 года командовал кавалерийским отрядом и за отличие в боях был произведен в полковники.

⁷ В этой части письма до слов «Вы узнаете в этом пастухе Николая» Николай Ильич сделал на полях пометку: «Шутка».

6

Плищын.

1813, 14 февраля.

После некоторого беспокойства, причиненного мне вашим молчанием, письмо ваше от 26 января имел утешение получить. Вы мне в нем писали, милый папенька, что, может, скоро получу приятное для меня известие, и тем заставили меня ждать следующего курьера с нетерпением, которое я не в силах вам описать. Но вместо обещанной вами радости не получил от вас ни строчки.

Не удивляйтесь, бесценные папенька и маменька, что письмо мое не имеет ни складу, ни ладу, — комната наполнена офицерами, которые пляшут, поют и кричат, что дурно выбираю свое время писать вам, тогда как в первый раз после двух недель нашел стол и вместо лучины свечку. Сейчас приехал сюды Дмитрий Иванович Павлов¹, который велел вам кланяться.

Сказать вам больше нечего, кроме только то, что я вас люблю так, как должен любить сын подобных вам родителей. Прощайте, мои милые, целую вам ручки, прошу вашего родительского благословения, столь бесценного для меня; я остаюсь в ожидании обещанного вами известия с чувствами искренней любви навеки вам преданный сын и друг

Николай, Граф Толстой.

Мне здесь совершенно нечего делать, коли можно будет вам достать какие-нибудь описания о нынешней легкой кавалерийской службе, то сделайте милость, пришлите мне.

Здравствуйте, милые друзья. Последнее ваше письмо совершенно спутало все мои мысли. Гуанетт пишет загадки, которые я понимаю только напсловину, и, признаюсь вам, она так меня интригует, что я волнуюсь целыми ночами. У меня нет ничего нового сказать вам, потому что все, что здесь делается, очень обыкновенно. Мы теперь заняли замок вроде замков из романов m-me Радклифф².

Прощайте, я должен передать это письмо князю для курьера.

Ваш Николай.

¹ Павлов Д. И. — по-видимому, офицер Московского ополчения, помещик, знакомый И. А. Толстого.



² Радклифф Анна (1764—1823) — английская романистка, ее романы с атмосферой «ужасного и таинственного» пользовались большой популярностью у русской читающей публики в начале XIX века.

7

Его сиятельству милостивому государю Графу Илье Андреевичу Толстому в Петербурге. (Надпись на оборотной стороне письма).

Добжица¹

1813-го 15 февраля.

Вот уже скоро три недели, как не имею от вас никакого известия, я жду с большим нетерпением обещанного вами известия. Князь Андрей Иванович едет в Главную квартиру, и я, предполагая, что он будет оттуда писать князю Алексею Ивановичу, не хочу пропустить случая, чтобы не дать вам знать, что я, слава Богу, здоров и живу довольно весело в прекрасном замке с добрыми товарищами, в числе коих находится Нелединский², который переведен в гвардию и имеет за отличия Володимирский крест и Анненскую шагу. Я думаю, что мне не нужно будет извещать вас о переименовании Московского гусарского полка в Иркутский, ибо вы прежде меня знаете через кн. Алексея Ивановича.

Простите, милые папенька и маменька, целую ваши ручки, прошу вас о продолжении той любви, которой я всегда пользовался и которую всеми силами буду стараться заслужить искренней моей привязанностью к тем, которым я более жизни обязан. Прощайте еще раз, будьте здоровы, спокойны на мой счет и верьте чувствам любви, с которыми навек пребуду

ваш преданный сын и друг

Николай, Граф Толстой.

Еще забыл вас попросить кой о чем; здесь ни за какие деньги нельзя найти чаю, то если это не очень затруднит дядюшку кн. Алексея Ивановича, то прошу вас мне прислать немного одного.

Что сказать вам, мои милые друзья? Я здоров, но веселого мало; сильно скучаю, занят недостаточно; словом — ем, пью, сплю и, несмотря на все это, не жирею. Кроме шуток, мои дорогие друзья, я не прочел и двух страниц с тех пор, как с вами расстался. Вы, может быть, мне не поверите, что, войдя в один польский дом, весьма благоустроенный и покинутый его хозяевами при нашем приближении, я был доволен, отыскав в нем модный журнал за 1807 год, и менее чем в полчаса буквально проглотил четыре выпуска, несмотря на все имеющиеся там глупости.

Ты мне пишешь, милая Алина, что холода помешали вам выходить из дома. Вообрази, что мы в это же время наслаждаемся настоящей, приятной весной.

Как мне досадно, мои милые друзья, что я не с вами и не могу рассказать вам все те глупости, которые приходят мне в голову; я уверен, что вы им очень посмеялись бы. Воинственного духа во мне поубавилось, истребление рода человеческого уже не так меня занимает, и я думаю теперь о счастье жить в безвестнос-

Миниатюра начала XIX века

В оформлении использованы рисунки Федора Толстого и Георгия Нарбута



Следы минувшего

ти, с милой женой, окруженной детьми мал мала меньше...

На листке остается мало места, что не позволяет мне продолжать мою болтовню, к тому же я чувствую, что если я дам волю моему веселому настроению, я выскажу больше глупостей, чем это позволено высказывать в одном письме. Итак, прощайте, от всего сердца обнимаю Туанетт и остаюсь, как вы это издавна знаете, преданный вам брат и друг

Николай.

¹ Добжица (или Добжицы) — населенный пункт в четырех милях от города Калиша.

² Нелединский-Мелецкий Сергей Юрьевич (1796—1871) — сын известного поэта Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого. В 1812 году поступил в армию унтер-офицером, в мае того же года произведен в офицеры. 25 января 1813 года переведен из подпоручиков Московского пехотного полка в лейб-гвардию Финляндский полк и назначен адъютантом к Д. С. Дохтурову. Был награжден золотой шапкой за храбрость. Упоминается среди лиц, причастных к движению декабристов (см.: Декабристы. Биографический справочник. М., 1988, с. 127-128).

8

Крошвиц.

1813-го 17 июля¹.

Вчера только к вам писал, милые папенька и маменька, и крайне удивляюсь, что вы от меня редко получаете известия, ибо я ни малейшей okazji не пропускаю. Теперь пишу вам очень наскоро, потому что сию минуту приехал фельдъегерь и отдал мне ваше письмо, которое по желанию вашему я дал читать кн. Андрею Ивановичу. Курьер торопится; мне совестно его удерживать; итак, прощайте, милые папенька и маменька, будьте здоровы и веселы, целую ваши ручки, прошу вашего родительского благословения и остаюсь навсегда ваш покорный сын и верный друг

Н., Гр. Толстой.

По твоему письму, милая Полина, я вижу, что здоровье твое лучше. Зная мою привязанность к тебе, ты легко можешь себе представить, как я этому рад. Я с нетерпением жду Нелединку², так как он, вы обещаете, должен привезти мне много писем. Прощай, мадам Кюни³, прости мне мой лаконизм, право, у меня нет времени. Обнимаю тебя, так же как Туанетт и Мари⁴.

Николай.

¹ Последнее сохранившееся письмо Николая Ильича было написано в период перемирия с неприятелем (с 23 мая по 18 июля 1813 года) после ожесточенных боев за Дрезден. Из послужного списка Николая Ильича Толстого известно, что он отличился в арьергардных боях 26 и 27 апреля 1813 года «при удержании неприятеля под городом Дрезденом и при переправе через реку Эльбу». За отличие в этих боях он был награжден чином поручика.

² Нелединкой Николай Ильич называет Сергея Юрьевича Нелединского-Мелецкого. Это свидетельствует о дружеских отношениях между семьями Толстых и Нелединских-Мелецких.

³ Так в шутку называли в семье Полину — по-видимому, по имени героини модного французского романа.

⁴ Кто такая Мари, установить не удалось.

Публикация,
вступительная статья
и примечания
Наталии АЗАРОВОЙ.

ВЕЛИКИЙ ЕРЕТИК

ВИКТОРИЯ ЧАЛИКОВА

Мир жив только еретиками. Еретик Христос,
еретик Коперник, еретик Толстой...
завтра — непременно ересь для сегодня...
Е. ЗАМЯТИН.

Я открываю первую книгу статей Андрея Дмитриевича Сахарова по гуманитарным проблемам, вышедшую, наконец, на родине накануне дня его рождения — 21 мая. Перечитывая знакомое, вчитываясь в незнакомое, вижу Андрея Дмитриевича, слышу его голос. И думаю, что по любым ортодоксальным критериям (советским, антисоветским, религиозным, антирелигиозным) он — образцовый еретик. Ведь одна из древнейших ересей в христианстве — непризнание онтологии зла. Расшифровывается это приблизительно так. Злых людей и злых дел в мире сколько угодно — больше, пожалуй, чем добрых. Но у зла нет того вечного и бесконечного источника, который есть у добра. Есть Бог, но нет Дьявола.

Сахаров неутомимо обличал зло во всех его видах. Иногда казалось, он не знает меры: можно ли говорить безногому мальчику, что он участник преступной войны; как сказать матери, что сын ее, может быть, убит не «душманами», а своими же? Допустимо ли твердо заявить только что распятой на крови Грузии, что несправедлива она к туркам-месхетинцам, абхазам, осетинам?

И вот парадокс: указывая прямо и откровенно на дурные слова и дела, Сахаров, похоже, не верил, что у них есть абсолютный и неделимый корень. Составитель сборника Елена Георгиевна Боннэр, называя Сахарова во вступительной заметке идеалистом, по существу, и указывает на этот парадокс. Возможно, это была интуиция гениального физика, открывавшего все новые и новые уровни делимости элементарных частиц. Зло было для него **слишком элементарно**, слишком делимо и разложимо, чтобы быть возведенным в абсолют, в статус Дьявола, то есть Антибога. Чем же иначе объяснить опубликованные в книге его открытые письма Брежневу, президенту Академии наук, в разные организационные комитеты и комиссии? Письма серьезные, подробно аргументированные, они были по замыслу не метанием бисера перед свиньями, но следствием глубокой убежденности в призрачной, фантомной, ирреальной природе зла. Характерно, что, вступив в полемику с некоторыми позициями письма Александра Исаевича Солженицына «Вождям Советского Союза», Сахаров не подверг **ни малейшему сомнению** саму идею диалога с вождями, хотя знал очень хорошо, что это за вожди: одни косноязычны, другие привыкли к заборной ругани, третьи не только говорят, но и думают на языке резолюций. Но ко всем и ко всему на свете

он обращался с продуманной программой перестройки социальных отношений в стране и мире почти двадцать лет напролет так настойчиво и уверенно, как будто знал, что даже там, наверху, раньше или позже возникнет импульс к обновлению. На языке науки он сделал то же, что Солженицын на языке искусства (хотя и с иных идейных позиций): создал образ реальности, которая возникла вслед за этим образом. (Собственно, творчество и означает **творение реальности**: девушки, которых называли тургеневскими, не существовали до появления романов о них, нигилисты тоже ведь не было в том виде, который им придала русская литература.). Страсть и способность к творчеству казались мне глубинной сутью Андрея Дмитриевича, тихо светившей сквозь его скромный облик.

Утолив первый страстный порыв к творчеству в процессе создания новой, немислимой комбинации элементов творчества, Сахаров с новой страстью стал творить социальную реальность. Сейчас мы к ней привыкли, но ведь еще пять лет назад это была чистая фантазия: назвать имена всех замученных тоталитарным террором; избрать свободно парламент; вернуть крымских татар в Крым; иметь много партий вместо одной; дружить с Америкой; свободно ездить за границу. И всю эту фантастику он не проповедовал — он ее видел, жил в ней, привык к ней, он ее всем существом своим хотел. Для него, например, возвращение крымских татар было не пунктом программы, а личной великой заботой, тем, чего ждут всю жизнь, как рождения ребенка или выхода заветной книги.

Так же лично, чувственно, неутолимо он хотел, чтобы отменили смертную казнь и чтобы наши тюрьмы и колонии перестали быть адом. Мысль, что десятки тысяч людей подвергаются там истязаниям и унижениям, не давала ему покоя. Среди первых цветов, брошенных на землю у его дома в утро после смерти, были цветы от эзков, «от малолеток-уголовников». Сахаров понимал, что за преступления надо наказывать и что некоторых преступников необходимо изолировать, но он был убежден, что так наказывать и так изолировать людей нельзя. А нелюдий? Но он, видимо, не понимал, что такое нелюдий, в этом-то и была его великая ересь.

Точно так же он не знал, не понимал, что значит «малый народ», «маленький человек», «мелкое дело».

Гений неведения, он месяцы тратил на хлопоты о делах и людях, которые для многих даже очень передовых и гуманных его современников просто не существуют.

При этом, как мне кажется, он не был наивен. Доверчив — да, но не наивен. В нем жило какое-то озорство мысли, лукавая догадка, обгоняющая мысли других и тем ставящая в тупик окружающих. Незадолго до его смерти был чудный, теплый, уютный «круглый стол» в «Литературке» — встреча с Ниной Николаевной Берберовой. Тогда разразилась очередная эпидемия генеалогических изысканий (поиск тайных еврейских родителей), и кто-то в «памятной» листовке назвал одного явно русского человека сыном Каменева. Все расхохотались, а Андрей Дмитриевич, озорно улыбнувшись, вдруг спросил: «Это правда?» «Да Господь с вами, Андрей Дмитриевич, — вырвалось у меня, — что вы такое говорите?» И тут же стало неловко: что же я на шутку так отвечаю? Недавно, читая какие-то мемуары о Каменеве, я вспомнила эту озорную улыбку и поняла, что он говорил не о кровном родстве...

Светлая аура Сахарова захватывала всех, кто оказывался рядом с ним. После собраний «Московской трибуны» в Доме ученых наша молодежь проводила его и старалась помочь одеться: у Андрея Дмитриевича всегда возникали какие-то сложные отношения с рукавами и пуговицами. Женщин в гардеробе это обижало: мы что же, сами не оденем Андрея Дмитриевича? Они ухаживали за Сахаровым не из подобострастия — в Доме ученых привыкли к академикам.

Я не могу сказать, что Сахаров был «простой человек» или, наоборот, «сложный человек», поскольку ни одного несложного человека не видела в жизни и считаю само словосочетание «сложный человек» тавтологией: сложное — это синоним человеческого. Есть, однако, сложность, организованная природой и волей так тонко, что кажется простотой. Такая видимость простоты у Сахарова была и, как свойство чрезвычайно редкое, действовала очень сильно. Горький, зная высокую цену простоты, вводит в свой поздний, пригнанный к цензуре очерк о Ленине отзыв рабочего: «Прост, как правда». Но независимо от достоверности этого отзыва Ленин не производил на близких его знавших впечатление простого человека. А Са-

харов — антипод Ленина — производил.

Сочетание славы и таланта с простотой и страданием всегда делает личность центральной фигурой времени — магнитом, притягивающим и самого изощренного интеллектуала, и самого неприятельного человека физического труда. Может быть, успех или поражение Реформации в любом обществе и в любое время зависят от наличия или отсутствия таких личностей в стане реформаторов. В этом смысле нашему народу не повезло прямо по горькой пословице, процитированной еще Некрасовым в одном из его поэтических некрологов: «У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает». Как предсудитительно убрала наша коварная история накануне поворота две центровые личности, двух любимых сверху донизу людей: Василия Шукшина и Владимира Высоцкого! До этого был оклеветан и выслан на Запад Солженицын. Сахарова же буквально вытравили из сознания народа. Вызванный из небытия звонком Горбачева, Андрей Сахаров сразу стал естественным центром начавшихся прекрасных и грозных событий, и по мере того как они все меньше становились прекрасными и все больше грозными, центровое значение его фигуры возрастало. Он был центровым не в смысле политического централизма: здесь его природный либерализм как раз достигал того предела радикальности, которая и есть граница либерализма. Центровой была его нравственная, духовная, житейская, бытовая, эстетическая природа. Не грозный проповедник, но и не смиренный; не аскет и не богема; не мягкотелый и не жесткий. Он был такой, какой был нужен стране на несколько мучительных лет перехода от необщества к нормальному обществу, и смерть отняла его как раз на пороге этих лет. Слова моего молодого друга при известии о смерти Андрея Дмитриевича: «Это политическая катастрофа!» — показались мне чуть ли не кощунством: до политики ли тут, когда его больше нет, не будет никогда, не будет у Елены Георгиевны, у той девочки, что, плача, позвонила ему ночью после первого съездского дня и спросила: «Андрей Дмитриевич, нас разгоняют, значит, этот съезд — нечестный?» Но прошло пять месяцев, и мы видим: потеря невосполнима. Да, не в его силах было остановить национальный конфликт, отвести





Фото Вячеслава Помигалова

экологическую беду. Но в политике он мог многое — он мог быть самим собой, не заложником блока, не слугой избирателей. Я не раз видела, как пытались его заангажировать: почтительно, но настойчиво уговаривали бросить свой авторитет на чашу весов новых политических лидеров. Но он, охотно и совершенно доверчиво помогая утвердиться в политике людям безвестным, никогда не рекламировал слишком известных. Его нельзя было вызвать на личную оппозицию власти. В личную вражду легко впадают те, кто прежде унижался перед начальством. А он, не лгавший и не ползавший, ни на кого не держал зла за себя.

Сегодняшний день дышит ленинизмом. О самом Ленине пишут и говорят уже все что угодно, но ленинизм жив и крепок как никогда. Принцип ленинизма таков: если в обществе, которое мы хотим переделать, есть потенциальная опасность стать еще хуже, надо реализовать эту возможность и вызвать массовое недовольство. Если есть тенденция у реформаторов скатиться вправо, так подтолкнем же их туда, чтобы все видели, какие они правые и какие мы левые. На основе именно этих принципов маленькая партия Ленина победила крупные партии, свершила октябрьский переворот, перешедший в гражданскую войну, а затем в многолетний тотальный террор.

Стратегия Сахарова противоположна ленинской: не актуализировать враждебный потенциал, не помогать политическому

противнику становиться хуже. Сахаров в этом смысле не менялся: менялись его взгляды на экономику, на идеологию, но не менялось отношение к противникам и оппонентам. Это наши «вожди» менялись, они были величинами переменными, а он был величиной постоянной. Они могли считать его юридом или злодеем, могли преследовать или не преследовать. Но он всегда желал одного: чтобы они были лучше, потому что так лучше и для них, и для мира, и для страны. Яростный спорщик, он не знал мелкой ненависти и никогда не впадал в экстаз мятежа. Не звал Русь к топору. К топору формально сегодня в России почти никто не зовет. Наоборот, все попрекают Чернышевского фразой про топор, но мало кто помнит, что это лишь вывод из рассуждения в письме Герцену, которое приписывается Чернышевскому, а суть его в том, что столетиями губит Русь вера в добрые намерения царей. И уже отсюда: не верить надо, а звать «к топору!» Чернышевский (или кто бы ни был автор знаменитого пьема) вовсе не был разбойником: но из убеждения, что нельзя верить в добрые намерения реформ сверху, топор следует неизбежно. Сахаров, не боявшийся никаких царей, знал: губит людей только вера в злые намерения, а не в добрые. Призывая быть бдительными к действиям, он избегал быть подозрительным к намерениям. В сегодняшнем массовом оживлении стратегии и тактики ленинизма великая ересь Андрея Сахарова, ересь о первичности добра, живет как молодой хрупкий побег, как истина завтрашнего дня.

ПАМЯТИ

ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА

Черноусый пони и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев...»

«Москва-Петушки»,
глава «Есино—Фрязево».

Венедикт Васильевич Ерофеев из прозаических жанров любил жанр доноса на самого себя. Так он утверждал еще в начале 60-х годов и тогда же в доносе на себя писал: «Венедикт Ерофеев собирает вокруг себя людей и говорит-говорит, говорит он все по-русски, а смысл-то все иностранный». В то время доносы были очень популярным жанром, читали их избранные, а вот писали из ста человек девяносто. Венечка привлекал к себе любителей этого жанра, поэтому всякого вновь входящего спрашивали: «А у тебя — есть **нудостоверение**? Да ты не суетись, садись, мы тебе дадим информацию. Где ж тебе ее взять, бедолаге, а жить-то хочется с комсомолом-партией душа в душу». А из стихотворных жанров, создавался Веня, любимый — фальшивки ЦРУ.

Но вот жанр некролога, да еще на самого себя...

Ведь и «Благовествование от Венедикта» автор кончал: «И вот ухожу я, и вот ухожу я из мира скорби и печали, которого не знаю, в мир вечного блаженства, в котором не буду» (весна 1962).

И «Москва-Петушки» — на той же ноте: «...с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду» (осень 1969).

И «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», трагедия в пяти актах, заканчивается гибелью всего ж и в о г о, кроме бессмертных мертвяков, и «издохшим ото всего этого попугаем» (ранняя весна 1985).

А бессмертный И., в которого Каплан из нагана стреляла, описанный Веней в «Моей маленькой Лениниане»? Наверное, Веня прикончил бы даже и разговоры об И. в задуманном (увы, только едва начатом) произведении «История маленькой девочки из бедной еврейской семьи Фанни Каплан».

А уж «Заметки психопата» (1956—1958), статьи о своих любимых земляках-норвежцах Гамсуне, Бьернсоне, Ибсене * (начало 60-х), маленький роман «Дмитрий Шостакович» (1972) погибли еще в рукописях: аккуратно, каллиграфически выписанные строчки на листочках, листочках... опадали с Вени, как поздней осенью... Он сам сетовал.

«Я как клен опавший...» И куда ветер унес эти листочки?

Кроме того, были еще учебники маленького сына Венедикта Венедиктовича по истории России, по русской литературе, по географии. Они послужили растопкой в деревенской печке (деревня Мышлино под Петушками, на картах не указана), когда маленький Веня начал учиться писать букву «ю».

Только в этюде о Василии Розанове герой ускользает из объятий, ну, скажем, Прозерпины. Все попытки расправиться с собой физически и метафизически были тщетны. «Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вы благосклонны ко мне?» — «Благосклонны», — ответили Созвездия (лето 1973).

Если уверовать в теорию Венечки (которую он спас «сотканные из пылких и блестящих натяжек» построения Черноусого), и трезвенник Иоганн фон Гете, спаивавший всех своих персонажей, сам ходил от этого «как обалделый» и был, по сути, «алкаш», «и руки у него как бы тряслись» («Москва-Петушки», глава «Есино—Фрязево»), то Веня только и делал в своей жизни, что писал некрологи на самого себя. Одни только некрологи!

...О, как Веня не любил пятниц! Потому что «каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги...» («Москва-Петушки», глава «Железнодорожная—Черное»). «О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя,— я удавлюсь в один из четвергов!..» (глава «Петушки. Перрон»). Веня ловчил!

«Вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не разувааясь, с одной только мыслью: проснись у утром в пятницу или не проснись? И все-таки утром в пятницу я не просыпался» (глава «Черное—Купавна»).

Венедикт Васильевич Ерофеев проснулся в пятницу 11 мая 1990 года, посмотрел на мир ясными голубыми глазами обиженного ребенка, как бы спрашивающими, за что «эта боль», «этот холод собачий», «эта невозможность», — и уснул навеки.

Веня мог и в пятьдесят один сказать: «Нет, вот уж теперь — жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы

* В. Ерофеев родился на Севере и называл себя земляком знаменитых норвежцев. (Рег.)

прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен», — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить... «Жизнь прекрасна», — таково мое мнение» (глава «Черное—Купавна»).

Вышло первое издание книги «Москва—Петушки» на родине. Веню впервые прочитали не только друзья и кэзэбэшники, но и жители Петушков. Дали пенсию в 28 рублей, пусть по инвалидности, пусть ее хватит только на две бутылки российской по 9 рублей 20 копеек и три бутылки грузинского сухого, кислого, как концентрированный раствор витамина С. Правда, если выпить сначала всю российскую, сдать бутылки и уже потом купить грузинской кислятины. То есть месячной пенсии хватило бы успокоить нервы в понедельник, но чтобы вечером в четверг выпить три с половиной литра ерша и не проснуться в пятницу, на это пенсии бы не хватило. Две российских — это литр, и три бутылки по 0,75 грузинской кислятины — это два литра и 250 граммов. Не хватает еще 250 граммов. Да и не смешивай ерша, ведь после российской надо сделать перерыв и сдать бутылки, чтобы...

Недодало Советское правительство на 250 граммов. Как там в поэме? «...райсобес, а за ним — тьма... Петушинский райсобес — а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших... О, нет, нет!..» (глава «Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому»).

А до пенсии советская сверхдержава делала вид, что такого подданного у нее вовсе нет. Социальная защищенность на склоне жизни в 28 рублей — хоть такое признание от государства, которого Венедикт Ерофеев не признавал никогда. Веня жил, по его выражению, как у антихриста за пазухой, как во чреве мачехи.

Он не был путником, скитальцем, он был изгнанником. Его гнало по стране... Украина, Белоруссия, Заполярье, Литва, Узбекистан — и Россия, Россия, Россия... И каждую весну мечта вернуться на родину. Он писал в дневнике: «...о переселении душ. Может, я когда-нибудь был птвичкою? Почему меня тянет на север с наступлением лета?» Но его гнало и швыряло порывами — чего?!

Четыре вуза — Московский государственный университет, Орехово-Зуевский, Коломенский и Владимирский педагогические институты — изгнали его. «Горе тебе, Хоразине! Горе тебе, Вифсаидо! ибо...» — и т.д. В этом государстве партийного контроля и кэзэбэшного учета Веня семнадцать лет, с 1958-го по 1975-й жил без «приписки», то есть — никому в мире этого не понять! — просто не существовал как житель государства. Жил без «приписки» — никому в мире никогда не понять! — то есть в эпоху «холодной войны», во время тления карибского конфликта, в разгар дружеской помощи чехословацкому народу в 1968-м, в период полыхания колониальных войн Венедикт Васильевич Ерофеев не выполнял «священной обязанности» службы в Советской Армии. Когда он в 1975 году пришел в военный комиссариат встать на учет, полковник задрожал, как Агаг перед Самуилом в Галгале.

Веня никуда не вступал и не выказывал предпочтения никакой партии, он всегда был целен. Он утешал в минуты горечи и почвенника, издателя журнала «Вече» Владимира Осипова, и многострадального Петра Якира, и самоуверенного, но покидающего родину Андрея Амальрика, и «нежно любимых» Вадима Делоне с Ириной Белгородской...

Веня ценил в людях только человеческое страдающее сердце. И если человек страдал, ну хотя бы оттого, что он пахнет, Веня любил его. Он был махровым отщепенцем и понимал, какие нужны усилия человеку, чтобы не вляпаться в эту толщу масс, в эту паству, в это общество, в этих современников и т.д., которые всяческую махровость норвят облысить. В музыке, в стихах, в прозе, в живописи, в жизни — Веня слышал боль и страдание человеческого сердца. И соврать при нем было невозможно. Он припечатывал! «Говно», — и лицо кривилось, будто это говно ему в рот положили. Сам он был человеком по д л и н н ы м, то есть, по рассуждению Владимира Даля, под линниками, под пытками, под батогами ставший истинным. Он был нежной душой: любил цветы лютики, романсы Александра Гурилева на слова Алексея Кольцова («На заре туманной юности...», «Вьется ласточка...», «Матюшка-голубушка»), симфоническую поэму «Финляндия» своего земляка Яна Сибелиуса. Его ранила даже Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной, что нам за дело, родной?..» Веня вздыхал на каждый вздох человека в этом мире, будь он хоть эллин, хоть иудей. Страдание человека в этом мире было ему пыткой.

Какие страсти разыгрывались вокруг «членства» Пастернака и Солженицына в Союзе советских писателей! Ведь лишить писателя «членства» — значит лишить его последнего куска хлеба, последнего гроша, хотя бы и за перевод с ханты на манси. Ерофеев, переведенный на 30 языков мира, не стал членом ССП, не стал советским писателем. Как не был советским гражданином, при своей из-государства-изблеванности.

Но четыре профиля — классических! — кто не помнит их, высывающихся друг из-за друга! По всей родине и в братских странах социализма (простите!) на самых видных местах, на всех высоких зданиях, над всеми толпами — четыре профиля...

«один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило...

Они вонзили мне шило в самое горло...»

Так написал Веня осенью 1969. Мучаясь от рака горла, он скончался 11 мая 1990-го.

И как в день рождения в двадцать лет, и в день рождения в тридцать лет, и в сорок, и в пятьдесят, на погребение пришли все те же (глава «Черное—Купавна»). Любимая старшая сестра Нина Васильевна. Владимир Сергеевич Муравьев — «достоцитимый Мур», которому посвящена трагедия «Вальпургиева ночь». Вадим Тихонов — «любимый первенец», ему посвящены «трагические листы» поэмы «Москва—Петушки». Участники Октябрьской Петушинской революции: Борис Сорокин — премьер, Владик Цедринский — посол в Норвегию, Лида Любчикова (как Веня любил ее сопрано!)... «Поэтесса» Ольга Седакова. Друзья, персонажи, актеры, игравшие в Вениных пьесах, старые читатели. Человек 120.

Отпевали раба Божия Венедикта, католика, в православном храме Положения Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, похоронили на Новокунцевском кладбище. Помяните раба Божия Венедикта и католики и православные, помяните его почитатели и просто читатели. Петушки — апофатичны, но Веничка садился в катафатическую электричку Москва—Петушки и ехал... Все мы в этой электричке.

ЧЕРНОУСЫЙ (И. АВДИЕВ).



философия побежденных

ПИСЬМО
ИЗ-ЗА
ГРАНИЦЫ

александр янов

Прошло без малого пятнадцать лет с тех пор как мой диалог с советским читателем внезапно и насильственно прерван. Я теперь американский профессор и пишу книги о России для другого читателя, на других языках, а у вас — перестройка. Я могу следить за тем, что у вас происходит, только по вашим дискуссиям и, боюсь, потерял то непосредственное ощущение русского читателя, которым так когда-то гордился. Короче, я стал другим, и вы стали другими, и поэтому, прежде чем возобновить диалог, давайте попробуем определить критерии.

Я всем сердцем желаю успеха вашей мирной революции, так удивительно соединяющей в себе пафос социального обновления, который больше всего напоминает великую реформу 1861-го и политическую драму, напоминающую 1905-й. Россия опять вступила в переходную эпоху. Переходную — от чего к чему? От автократии, обособившей ее от человечества, к политической модернизации, которая только и может помочь ей «обрести себя в человечестве». Наш учитель Чаадаев, писавший в преддверии другой переходной эпохи (помните: «Мы

принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества»), словно бы предчувствовал и ее наступление и ее грядущую неудачу: «... но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?»

И ведь тот неудавшийся переход к политической модернизации, который предчувствовал Чаадаев, вовсе не был единственным в русской истории. Не удалась первая попытка такого перехода между 1480 и 1560 годами, закончившаяся торжеством московской автократии. Не удалась и вторая между 1672-м и 1770-м, завершившаяся победой автократии петербургской. В свое время я написал об этих постоянных неудачах, об этой страшной обратимости русского политического процесса книгу «Происхождение автократии: Иван Грозный в русской истории», которую опубликовало в 1981 году издательство Калифорнийского университета. Если действительно завяжется сейчас у нас диалог, я буду, конечно, говорить об этой уникальной в европейской истории черте русской политики в своих последующих письмах. Сейчас я хотел лишь обратить ваше внимание на самый факт того, что, во-первых, грандиозные попытки прорыва к политической модернизации, подобные той, в разгаре которой вы сейчас находитесь, Россия предпринимала уже не раз и что, во-вторых, ни одна из них пока что не закончилась успехом.

В этом нет ровно ничего фатального и это вовсе не означает, что нынешний не менее грандиозный прорыв обречен на неуспех. Означает это лишь необходимость серьезно задуматься над прошлыми неудачами, глубоко осмыслить ошибки, совершенные раньше, и постараться их не повторить. Я начал думать об этом двадцать лет назад, в дискуссии о славянофильстве, которую мне посчастливилось открывать в «Вопросах литературы» в 1969 году. Именно потому, что дилемма эта оказалась в центре моих интересов, я и стал специалистом по политическому изменению в России здесь, в Соединенных Штатах. Заключение, к которым я пришел за эти годы, изложены во многих книгах, лишь одна из которых, к сожалению, опубликована по-русски, да и то в Нью-Йорке.

Кратко суммируя эти заключения, можно сказать, что успешный прорыв России к политической модернизации возможен лишь при соблюдении следующих условий:

1) выработкой сознательной политической стратегии перехода. Политическое руководство должно отдавать себе ясный отчет в том, что страна находится в режиме перехода к политической модернизации, сопоставимом с другими подобными попытками в прошлом, принимать во внимание все ошибки, оказавшиеся роковыми для этих предыдущих попыток, и корректировать свою стратегию в соответствии с действительным историческим опытом своих предшественников;

2) выработки целенаправленной философии перехода (требующей от интеллигенции страны радикального — и беспощадного — пересмотра всех идеологических стереотипов предшествующих поколений, так же как и вовлечения в сферу национальной дискуссии опыта тех стран, которым этот переход удался);

3) максимально благоприятной окружающей политической среды или, проще говоря, мобилизации мирового интеллектуального потенциала

для активного содействия прорыву России к политической модернизации.

Над этим я работал. Для этого я работаю. И в этом мне, естественно, нужна ваша помощь. Таков диалог, к которому я вас приглашаю.

Начну с одной мысли, вычитанной мной в прошлом году в «Литературной газете» и весьма популярной, по-моему, среди нынешней российской интеллигенции. Речь шла о том, что всякому внимательному и думающему человеку сегодня «не миновать русской религиозно-философской мысли, наживившей, а временами уже и глубоко разрешившей все вопросы, которые сегодня встали перед нами во всей пугающей, тревожной, жизненно важной новизне»¹.

Картина поистине впечатляющая. Повторяется почти буквально ситуация европейского Ренессанса, когда неслыханные богатства сверкающей античной мысли вдруг затопили на исходе средневековья Запад, дразня, искушая и ослепляя темные средневековые умы, регламентированные догматической схоластикой. Разница, впрочем, в том, что тогда все узлы, завязанные религиозными догмами, разрубались секулярной мыслью, а в сегодняшней Москве все, кажется, происходит наоборот...

Да вправду ли русская религиозно-философская мысль прошлого «глубоко разрешила» все вопросы, которые встали перед нами сегодня? Вправду ли только и остается нам что черпать ее пригоршнями? А как же быть с тем, что во всей этой философии не содержалось ровно ничего, что способно было предотвратить катастрофу предшествующей попытки России прорваться к политической модернизации? Как быть с тем сокрушительным поражением, которое потерпела она при практической проверке в XX веке? Как быть с тем, что только сейчас возвращается она к нам — после десятилетий оглушительного забвения? Как быть, другими словами, с ее поразительной непрактичностью, по сути, и обрекшей ее на поражение? Можем ли мы после этого взять ее в путеводители теперь, в нашей нынешней попытке прорыва, когда на кону наша собственная жизнь и будущее наших детей?

Автор процитированной мною статьи прав, конечно, что нельзя до конца понять пастернаковского «Доктора Живаго» без соотнесения его идей с «Письмами» Чаадаева или дудинцевские «Белые одежды» без «Оправдания добра» Вл. Соловьева. Но вот правы ли были Пастернак и Дудинцев, когда даже при беспощадном свете опыта, достигшего пронзительной трагической ноты в памятном восклицании Флоренского («Да какая же сволочь имеет право считать меня арестантом, меня, русского философа...»), ни на шаг не продвинулись дальше старых истин, так точно, исчерпывающе и кратко сформулированных Пастернаком: «...в нынешнем понимании она (история) была основана Христом... Евангелие есть ее обоснование»? Да неужто же даже в середине, а тем более в конце нашего трагического XX века может еще кому-нибудь быть не ясно, что не так это?

Один лишь пример. Нехристианская Япония, культуру которой Чаадаев считал когда-то «нелепым уклонением от божеских и человеческих истин», сумела в середине века прорваться к политической модернизации, тогда как Россия со всем своим религиозно-философским «обозом» только начинает свой очередной прорыв. Каких еще доказательств нам надо, чтобы увидеть, до какой степени не прав был Чаадаев — которого

я тоже, заметьте, считаю своим учителем — и тем более Пастернак, повторивший за ним слово в слово старую, отжившую несработавшую истину?

Вот почему не могу я согласиться с человеком, который с энтузиазмом заявляет (повторяя Хомякова), что «русская литература опять выходит в ту нравственную сторону, куда западная, вскормленная логикой и торжествующим умозрением, почти не заглядывает». Это западная-то литература, худо-бедно да сумевшая обосновать образ жизни, при котором никакая сволочь не посмела бы считать арестантом Флоренского, и немыслимо было бы гнать Пастернака, унижать Платонова или стирать с лица земли Булгакова, и невозможно было бы отнять у крестьян раз завоеванную ими землю? Вот почему не нахожу я в русской философии того национально-нравственного опыта, который, по словам все того же автора, «есть условие действительной полноты понимания мира». Уж чего никогда в ней не было, так это полноты понимания мира. На самом деле была она всегда, начиная с Чаадаева, последовательно односторонней, с зияющими прорехами, с резким креном в сторону религиозно-этического, с очевидным отвращением к реально-политическому, т. е. к тому, что только и в состоянии обеспечить осуществление если не прекрасных нравственных максим, то уж во всяком случае нормальной жизни.

У западных людей тоже есть религиозно-философское наследство. Да только основано оно (или, по крайней мере, та его ветвь, что лежит в фундаменте политической модернизации) на противоположных посылах. Вслед за Кальвином исходит эта философия из того, что земной ум находится во вражде с Богом, а не в согласии с ним, и вслед за Гоббсом — что естественное состояние человечества есть состояние войны, а не гармонии. Она не верит в имманентный разум истории или во врожденную добродетель. Верит она лишь в способность порока нейтрализовать порок. Иначе говоря, в возможность заставить самую порочность человеческой природы работать на добродетель.

Отсюда преобладание в ней мотивов политических над этическими. Отсюда ее внимание не столько к высоким идеалам морального возрождения, сколько к первичным основам человеческого общежития, без правильного устройства которого любые нравственные максимы обречены оставаться бесплодными мечтами. Ведь и сама основополагающая идея разделения власти — исполнительной, законодательной и судебной, идея, впервые сделавшая возможной политическую модернизацию, оказывается при ближайшем рассмотрении всего лишь конституционным воплощением этой традиционной западной мысли о нейтрализации порока пороком.

Русская религиозно-философская мысль, свято веровавшая в человеческую добродетель, никогда о таком и не помышляла. Естественно, не нашла она ответа на коренной вопрос здоровой жизни — на вопрос о перманентном обуздании государственного произвола. Не потому, что качество ее было ниже западной, отнюдь. Просто потому, что никогда и не ставила она перед собою этого вопроса. Посылки ее были отличны от западных. Соответственно отличны были и выводы.

Никогда не забуду читательского письма в самиздатском «Вече». Прилежный ученик традиционной русской религиозно-философской школы писал с негодованием: «Теория правового

государства по своему происхождению всецело прозападная... Суть теории в разделении и противопоставлении законодательной и исполнительно-распорядительной власти, что, по мнению теоретиков, ведет к демократизации государства. На практике же такое разделение оборачивается не демократизацией, а совершенной бессмыслицей... Такая диалектика не в духе русской традиционной юрисдикции, сводящейся к сосредоточению в одном государственном органе, в одном лице как законодательных, так и исполнительных функций». В результате такой «традиционной юрисдикции» всегда находилась сволочь, считавшая себя вправе вешать декабристов, посылать на каторгу Достоевского, отдавать в солдаты Шевченко, отлучать от церкви Толстого и издеваться над Ахматовой.

Если высокая наивность Пастернака вдохновлена была могучим пафосом Вл. Соловьева, то ведь сам этот пафос уходит корнями в философию истории Чаадаева. Давайте же кратко поговорим здесь о ней, о прародительнице той религиозно-философской мысли, которая возвращается теперь к вам «со dna морей, с каналов», как когда-то, после 1953-го, возвращались те из ее носителей, кто выжил в сталинском аду.

Вот как суммировал главную ее идею сам Чаадаев: «Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение, есть результат влияния религии, и если, с другой стороны, слабость нашей веры или несовершенство наших догматов держали нас в стороне от этого общего движения, где развилась и формулировалась социальная идея христианства, и низвели нас в сон народов, коим суждено лишь косвенно или поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно-христианский импульс, так как на Западе все создано христианством. Вот что я подразумевал, говоря, что мы должны от начала повторить на себе все воспитание человеческого рода».

В другом месте Чаадаев объясняет, что именно не дало нам воспользоваться плодами чудотворной идеи, образовавшей Европу: «Обратимся еще раз к истории: она — ключ к пониманию народов. Что мы делали в ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранилище современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца эта семья народов была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческой страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный принцип единства. Все исходило от него и все сводилось к нему... Непричастные к этому чудотворному началу, мы сделали жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, — мы подпали еще более жестокому рабству, освященному, притом, фактом нашего освобождения» — т. е. сами объявили себя

третьим Римом, наследником «жалкой и презираемой» Восточной Римской империи.

В этих нескольких фразах содержится, по сути, все — и то, за что считаю я Чаадаева своим учителем, и то, что легло в основу религиозно-этической односторонности нашей философии минувшего.

Сначала о первом.

Здесь очевидна живая мысль о причастности России, о законной ее принадлежности к европейской семье народов. Объяснена здесь и «злая наша судьба» — мощная струя диктаториальной и застойной византийской традиции, расколовшая надвое русскую политическую культуру, превратившая отечество наше в византийствующего изгоя европейской семьи. Нет здесь и следа той гордости нашим особнячеством, якобы выходящим в нравственную сторону, куда западная литература, вскормленная логикой и торжествующим умозрением, почти не заглядывает. Гордость эта — лишь позднейшая примесь, имеющая отношение скорее к славянофильскому комплексу национальной неполноценности, нежели к главной магистрали русской философии истории, идущей от Чаадаева к Вл. Соловьеву и от него к Пастернаку.

Славянофильская гордыня просто не могла примириться с очевидным фактом, что не сумела Россия — благодаря изначальной двойственности своей культуры — прорваться к политической модернизации. И мы, мол, не лыком шиты, утешала она соотечественников, словно горьковский Лука. И нам есть чем гордиться перед Западом; уверяла она. Пусть он и впереди в «торжествующей умозрительности», но зато далеко ему до нашей «нравственной стороны» (своего рода возвышенная вариация на тему «а также в области балета мы впереди планеты всей»).

Благородная мысль Чаадаева полностью свободна от славянофильского комплекса неполноценности. С презрением отверг этот комплекс и Вл. Соловьев. Не понадобился он и Пастернаку, сводившему счеты «со всеми видами национализма».

Спокойно и серьезно признал Чаадаев, что Россия — запоздалое дитя в европейской семье. Запоздалое не означает, однако, худшее. Напротив, может оно означать, как часто и бывает в семьях, залог наивысшего развития — в случае, если России удастся когда-нибудь воссоединиться со своей семьей (т.е., на моем языке, если удастся ей прорваться к политической модернизации). Именно поэтому и стоял Чаадаев выше мелких славянофильских счетов, который из членов семьи и в чем лучше другого. Вовсе не это было для него главным. Им руководила великая идея о воссоединении европейской семьи, тот прорыв России к «животворному принципу единства», о котором и я говорю и который, без сомнения, отразился в важнейшем постулате сегодняшнего нового политического мышления об «общем европейском доме». Вот этим пафосом европейского братства, вот этим категорическим отвержением особнячества и славянофильской гордыни и логически вытекающего из них изоляционизма и близок мне Чаадаев. У него научился я непосредственному ощущению европейского братства.

Есть, однако, в потоке его мысли, как должен был заметить читатель, и совсем другой элемент. Касается он того, что история была создана

христианством. Но писалось-то это в 1829-м, когда история действительно делалась в христианской Европе. Нехристианские народы трактовались тогда как этнографический материал. История их считалась принадлежавшей безвозвратно ушедшему прошлому. Это было общее место в тогдашней философии истории, всеми признаваемая тривиальность, обыкновенный интеллектуальный стереотип. Чаадаев, увы, разделял его. Случается такое и с великими мыслителями.

То, что писал он о японской культуре, я уже упоминал. Но вот что говорится в «письмах» о двух других великих нехристианских народах: «Из зрелища, представляемого Индией и Китаем, можно почерпнуть важные назидания. Благодаря этим странам мы являемся современниками мира, от которого вокруг нас остался только прах; на их судьбе мы можем узнать, что случилось бы с человечеством без того нового толчка, который был дан ему всемогущей рукой в другом месте. Заметьте, что Китай с незапамятных времен обладал тремя великими орудиями, которые, как говорят, всего более ускорили у нас прогресс человеческого ума: компасом, книгопечатанием и порохом. Между тем, к чему послужили они ему? Что касается Индостана, то жалкая доля, на которую обрели его сначала татарское, потом английское завоевания, ясно обнаруживает... то бессилие и ту мертвенность, какие присущи всякому обществу, не основанному на истине, непосредственно исходящей от высшего разума».

Кому же в конце второго христианского тысячелетия может еще оставаться не ясно, что все это была элементарная ошибка? И Япония, и Индия, и Китай — живые и великие нации, идущие вперед, далеко во многих отношениях обгоняя народы христианские. И уж во всяком случае нет в них и следа «бессилия и мертвенности», которым нехристианские народы обязаны якобы своей отчужденностью от «истины, непосредственно исходящей от высшего разума».

Вывод напрашивается как будто сам собою: вся сфера чаадаевского учения, касающаяся того, что история создана христианством, основана все же лишь на расхожем стереотипе первой трети прошлого века. Зачем же нам повторять ее некритически полтора столетия спустя, когда история ее уже опровергла?

Я, конечно, понимаю, как ярко, свежо и привлекательно выглядит сейчас — после десятилетий «бессилия и мертвенности» — эта философско-историческая атлантида, внезапно поднимающаяся из глубины времен. Она зовет к нравственному очищению. В ней есть не только очарование сложной, пульсирующей, напряженно ищущей истину мысли и не только пылкий пафос русского европеизма, она еще как бы воссоздает двухтысячелетнюю крепость христианской морали и в этом смысле противостоит языческой нечисти с ее бредом о жидомасонском нашествии на Россию и культом кулачного права. Она заново ставит фундаментальные вопросы о смерти и бессмертии, о боге и дьяволе, о смысле жизни. Те самые, от которых нас старательно отучали и без которых немислима европейская культура. В этом смысле философия минувшего, казалось бы, вооружает нас для возрождения здоровой жизни. Мы не замечаем, однако, что это безраздельно восхищенное (чтоб не сказать — коленопреклонен-

ное) отношение к ней на самом деле разоружает нас. Хотя бы потому, что имеем мы дело с философией побежденных.

Сможет ли она провести нас через рифы переходной эпохи на этот раз, если не смогла в прошлом? Поможет ли она нам вырвать наконец из нашего национального сознания его византийскую половину, неизменно проваливавшую все предыдущие попытки России «обрести себя в человечестве»? Можно ведь до второго пришествия противопоставлять деспотизму евангельский смысл истории и торжествующему насилию христианскую правду — и ни на шаг не продвинуться к раскрепощению жизни. Ведь и Византия была вполне христианской державой, что ничуть не мешало ей оставаться воинственной деспотией тысячу лет ее существования. Христианином был и Великий Инквизитор Достоевского. Да и Чаадаев не отвергал насилия — во имя движения к христианской идее. Разве не он писал: «Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, — мы можем только завидовать доле народов, создавших себя... в кровавых битвах за дело истины»? Он одобрял кровавые революции, лишь бы были они духовными революциями.

В руках Великого Инквизитора религиозная философия истории, даже самая благородная, неизменно оборачивается орудием нового закрепощения. Вот почему и начинается прорыв в политическую модернизацию с осознания того, что философия раскрепощения должна быть секулярной. Не христианской и не антихристианской, ибо антихристианство есть не более чем языческая религия, но политической. Религия — личное дело каждого, у нее своя функция, ничего общего с функцией философии истории не имеющая. Так, по крайней мере, разрешили этот вопрос в тех странах, которым прорыв в политическую модернизацию удался.

В том-то и беда русской философии, что она никак не разрешила этого вопроса. Самое главное в переходную эпоху — секулярно-политическое измерение — в ней просто отсутствует. Вот почему постоянно бродила она впотьмах, отвечая невпопад на вызов истории, неизменно ошибаясь в оценке долговременных политических перспектив, ошибаясь подчас наивно, но подчас и чудовищно.

Один лишь пример. Николай Бердяев, самый, пожалуй, блестящий ученик Вл. Соловьева, восторженно принял возникновение фашизма. Он счел его началом новой эпохи, эры «нового средневековья», в которую вступает человечество

всерьез и надолго, возможно, навсегда. Вот что писал он в 1923-м: «Никто более не верит ни в какие юридические и политические формы, никто ни в грош не ставит никаких конституций... мы, особенно Россия, идем к своеобразному типу, который можно назвать «советской монархией», синдикалистской монархией... власть будет сильной, часто диктаторской. Народная стихия наделяет избранных личностей священными атрибутами власти... в них будут преобладать черты цезаризма». Если бы Бердяев даже не ссылался на Муссолини, все равно было бы очевидно, кто его вдохновитель. Но ведь он ссылался: «Фашизм — единственное творческое явление в политической жизни современной Европы». И словно бы этого было еще недостаточно, он продолжал: «Значение будут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого государственного деятеля Европы». А ведь Бердяев был замечательным христианским философом.

Не отсутствием ли политического измерения объясняется то странное чувство беспомощности, которое порою овладевает читателем даже самых смелых гуманитарных статей последнего времени? Вот Игорь Золотусский, первоклассный критик и философ литературы, пишет в первой книжке «Нового мира» за 1989 год: «Для настоящего момента услуг социалистического реализма не требуется, его, может быть, завтра позовут, но это в том случае, если права окажется Нина Андреевна и все повернется обратно. А опасность такая есть. Она не просто гипотетична и теоретична, а весьма действительна — одного мановения сверху достаточно, чтобы стрелка часов пошла в обратную сторону».

Как назвать это, если не чувством обреченности? Тысячи и тысячи людей в сегодняшней России пытаются что-то практически сделать, чтобы стрелка не пошла в обратную сторону. Пытаются вслепую, не предвидя последствий того, что они делают, не понимая существа переходной эпохи, не отдавая себе отчета в природе системы, в которой они работают. А в это самое время мыслители, интеллектуалы, потенциальные Вергилии, которые только и могли бы все это им объяснить, самозабвенно предлагают в путеводители политически инфантильную философию минувшего, вместо того чтобы в поте лица работать над принципиально новой секулярной философией перехода к политической модернизации.

Право, что-то не то у вас происходит...

Александр ЯНОВ.

Р. С. Если говорить о восстановлении исторической памяти, то в самый раз было бы припомнить сейчас, что есть ведь у нас и другое, реалистическое наследство в истории русской общественной мысли. У меня, во всяком случае, был еще один учитель, ничуть не менее мной уважаемый, нежели Чаадаев или Вл. Соловьев. Я подозреваю, что именно он и удержал меня в свое время от некритического увлечения их религиозно-философским пафосом, помог мне отделить их благородный европеизм от их же наивного и исторически преходящего христианоцентризма, если можно так выразиться. Для меня этим учителем был Юрий

Крижанич, один из самых замечательных и самых основательно забытых русских мыслителей всех времен. Он жил за полтора столетия до Чаадаева и был не только на уровне, но во многих отношениях далеко впереди современной ему европейской мысли.

Судьба Крижанича была горестна, как судьба всех независимо мыслящих людей в тогдашней Московии. Хорват по происхождению, выпускник католического колледжа в Риме, он всю юность мечтал о России как о единственной — и великой — надежде славянства (Польшу, которая, казалось, в католичестве своем должна была быть ему ближе, он считал безнадеж-

ной). Попав наконец в Москву в 1660-е, он прожил в ней всего шестнадцать месяцев, расплатившись за это шестнадцатью годами сибирской ссылки. То было брежневистское время на Руси. Если бы внимательнее присмотрелись к нему в сегодняшней Москве, его, наверное, назвали бы эпохой застоя.

Разумеется, после смерти тогдашнего Брежнева, царя Алексея Михайловича, Крижанича реабилитировали. Московия вступала в свою переходную эпоху. В воздухе запахло перестройкой. Но вернулся Крижанич в Москву из Сибири во второй половине 1670-х уже сломленным старцем. В отчаянии отпросился он за границу, где сразу же (в Вене) и умер. Казалось, не мог он жить без России. Но и в России не мог жить тоже.

Сочинения его, написанные в Сибири по-старославянски, возвращены были в 1680-е русскому читателю. Оказалось, что этот европейски образованный иностранец, говоривший в отличие от тогдашних московских интеллектуалов на многих языках и вдобавок проведший полжизни там, куда Макар телят не гонял, предвидел наступление переходной эпохи в Московской Руси ничуть не менее остро и ярко, нежели Чаадаев предчувствовал его в России петербургской. И так же, как впоследствии Чаадаев, ни минуты не колебался Крижанич занять отчетливую гражданскую позицию в борьбе изоляционизма и «европеизма», раздиравшей тогдашнюю Москву в той же степени, что и сегодняшнюю. Он не сказал реформаторам и контрреформаторам «чума на оба ваших дома», хоть и предал его в 1660-е и те и другие, не пытался в отличие от современных ему эстетов встать над схваткой, ссылаясь на одинаково низкую культуру обеих сторон или «малую высокохудожественность» их сочинений. Без всяких сомнений встал он по европейскую сторону барьера.

Более того, пошел он в этом значительно дальше и Чаадаева, и Вл. Соловьева, и Пастернака. Он не удовлетворился констатацией оторванности России от главной магистрали европейского развития и проклятием ее византийской отсталости. Он не возлагал надежд на воссоединение христианских церквей и двухтысячелетнюю мораль Евангелия. Вместо этого он со тщанием и изобретательностью готовил в своих сочинениях Россию к предстоящему ей историческому выбору. Он предложил ей конкретный политический план «обретения себя в человечестве». Он работал над стратегией ее перехода к политической модернизации. Одним словом, и во глыбе сибирских руд, непонятый, не оцененный, не уклонился Крижанич от своего долга. Он встретил его лицом к лицу, как и подобает русскому мыслителю.

Он был верующим человеком, но историческое мышление его было глубоко секулярно. В отличие от Чаадаева, его страшили «религиозные войны и костры, зажженные нетерпимостью». Он с подозрением относился к политическому средневековью, а значит, и к истинам, добытым «в кровавых битвах». И в этом, признаться, сердце мое с юности было с Крижаничем, не с Чаадаевым. Конечно, не мог я еще

знать тогда об аятолле Хомейни, но ведь знал я о протопопе Аввакуме и о Константине Леонтьеве.

Вл. Соловьев писал однажды с убийственной иронией: «Вечно для нас, по мнению Леонтьева, только личное существование за гробом, а оно ведь несколько не связано ни с какими культурными элементами — политическими, экономическими или художественными. Спасать свою душу можно при всяких условиях, и для того, кто этим занят, такие вопросы, как взятие Царьграда, возрождение русского дворянства и основание новой охранительной цивилизации, совершенно не нужны и не интересны... проповедуемый Леонтьевым идеал сложной принудительной организации общества не имеет ни вечного достоинства, ни минутной приятности».

Читатель легко поймет отсюда, почему случилось Леонтьеву называть Вл. Соловьева Сатаной. Наблюдение и впрямь дьявольски пронизательное: между личной религиозностью и философией истории Леонтьева не было ровно никакой связи. Одного лишь не заметил Вл. Соловьев: убийственный аргумент его в той же степени относился и к его собственной философии истории. Из того, что веровали они в Христа, вовсе не следовало, что история обоснована Евангелием. Не существует связи между личной религиозностью и философией истории. Точка.

Крижанич был полностью свободен от того смещения понятий, которое Вл. Соловьев так язвительно высмеял у Леонтьева — и не заметил у себя самого. Так же как и для отцов американской конституции, переход к политической модернизации был для Крижанича делом сугубо секулярным. Может быть, поэтому стали его сочинения вдруг популярны среди московских интеллектуалов, как только началась тогдашняя перестройка. Они оказали серьезное влияние и на тогдашних реформаторов в московском правительстве 1680-х. Как говорят историки, «Политика» Юрия Крижанича вдохновляла радикальные преобразования, задуманные да отчасти и осуществленные лидером реформы князем Василием Голицыным.

Пять поколений должно было миновать, прежде чем снова оказалась Россия на том же историческом перепутье, где стояла она в 1680-е. Прежде чем опять могла ей понадобиться деловая, реалистическая и секулярная реформистская мысль Юрия Крижанича. К сожалению, его сочинения к тому времени были так глубоко погребены в архивах (они даже не были переведены со старославянского, да и сейчас, кажется, не переведены полностью), что не мог Крижанич принять участие в новом яростном споре изоляционистов с «европеистами» — споре, закончившемся для петербургской России столь же печально, сколь и для Московской Руси.

Казалось бы, пришло его время сейчас, когда возобновился этот судьбоносный спор снова. Но нет, не видно и не слышно у вас его имени. Бердяев есть, а Крижанича опять нет. Это очень печально. Это надо исправить.

**А. Я.
Нью-Йорк.**



ЗАБАВЫ
МУДРЕЦОВ



В ГОСТЯХ У



БОРИС ПУШКОВ



В конце апреля 1990 года московский театр «Эрмитаж» организовал первый международный фестиваль творчества обэриутов. Инициатором был главный режиссер этого театра Михаил Левитин.

— Михаил Захарович, у вас явно какое-то особое отношение к группе писателей, входивших в 20—30-е годы в группу ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства). Что же для вас значат обэриуты?

— Они — братья, и я напрашиваюсь к ним в родственники. Они — совпадение: я хотел бы писать так, как писали обэриуты (ну, так хотели бы писать многие!), хотел бы ставить вот такие тексты. Они — идеальное авторское воплощение нашего театра. И меня всегда вело отношение к обэриутам как к современникам, как к людям, живущим сегодня.

— Конечно же, не случайно фестиваль состоялся в вашем театре. Вы создатель первого в мире спектакля по произведениям Даниила Хармса и автор композиции, положенной в его основу. Премьера «Хармса! Чармса! Шардама! или Школы клоунов» в начале 80-х была настоящей сенсацией для тех, кто любит театр. Но поразительна в то время была и сама возможность легальной встречи с произведениями, которые ходили по рукам в самиздатовских перепечатках. Как вам удалось пробить этот спектакль?

— Когда возникла идея поставить Хармса, знал я его чрезвычайно мало, но чувствовал, что он родной, свой. Кого тогда интересовали его произведения, кроме Запада? Там они были опубликованы широко, а у нас никто не рвался их печатать. В основном все это воспринималось как полный бред одного из сумасшедших людей 20-х годов. И когда появились эти тексты (их привез мне Михаил Мейлах, ленинградский литератор-уровед) и стали объединяться в общую картину спектакля, они показались долгожданными, и я помню, как вышагивал тут за театром по дорожкам нашего сада и думал, как все это будет. Уже нашлись для спектакля прекрасные артисты: Полищук, Карцев, Ильченко, Герцаков, Пожаров... Вообще, это было время большого счастья, такое любовное время в театре, означавшее, что встреча состоялась. Встреча друг с другом. Встреча с автором.

Но существовала могучая цензура, она достигла тогда апогея своей бдительности, это же был 1982 год. И материалы, положенные на стол Управления культуры, были восприняты как диверсия. Я давно считаю, что эстетический бунт страшнее бунта идеологического. Непонятные форма и язык вызывают гнев, ненависть, неприятие. Можно выбросить слово, можно сделать замечание, можно посадить в тюрьму за чужеродность идеологии, но что сделать с эстетикой?.. В данном случае я поступил крайне просто, вспомнив урок, преподанный мне и очень многим режиссерам Николаем Павловичем Акимовым. Он ставил спектакль «Дерева умирают стоя», в котором была сцена смерти — бабушка умирает. Акимову показалось, что мизансцена должна быть очень эффектной и выразительной. И бабушка в спектакле поднималась куда-то по лестнице и исчезала. Ну конечно же, для Управления культуры это был какой-то мистический акт, и Акимова спросили на обсуждении: «Куда исчезает бабушка?» А он ответил: «Она просто пошла на второй этаж». И когда я понял, что надо именно так, просто и реально, объяснить ситуацию, то назвал хармсовские тексты клоуна-

дами и написал: клоунада первая, клоунада вторая... И даже пошел в своем блефе дальше, заявив, что «Хармс» — спектакль для детей. Ну, а если для детей, то возможна, как им казалось, любая чушь. А если эта чушь еще названа клоунадой, тогда все в порядке. И они разрешили мне ставить спектакль.

Запретное слово прозвучало, когда уже было цветение на сцене, а цветение, скажу без ложной скромности, было. Так вот, на первое же запретное слово народ пошел стеной. Тогда нас поддержал Вениамин Александрович Каверин. Он был на генеральных репетициях и мгновенно написал статью в «Литературку». Через какое-то время у нас появились Виктор Борисович Шкловский, Сергей Иосифович Юткевич. И вообще, кого только не было. Помню, мы делали отдельный просмотр для авторов запретного «Метрополя». Одним словом — не дали нас в обиду, и спектакль стал жить. Сценарист Климентий Минц назвал его тогда «Турандот 80-х годов». Я думаю, он был чрезвычайно близок к истине, потому что атмосфера тех дней была схожа с описанной в литературе атмосферой во время премьеры «Принцессы Турандот» — полное счастье и на сцене и в зале. Но у Управления культуры и цензуры возникла новая формула: «Ну, это театр на обочине, пусть привлекает к себе внимание как может и чем хочет. Давайте ему разрешим, в конце концов, сюда не все ходят». Кого они имели в виду, нам с вами абсолютно понятно.

— Михаил Захарович, вы были знакомы с замечательной художницей, ученицей Филонова и Петрова-Водкина — Алисой Ивановной Порет, в молодости многим связанной с Хармсом и другими обэриутами. Помогли ли вам в работе встречи с ней?

— У Порет было невероятное величие эксцентрисма. Что-то очень грандиозное было в ее облике, она производила впечатление человека, переполненного юмором и весельем. Ну, как Бомарше, сделаем ей такой комплимент. Она мне открыла много сторон обэриутского, и прежде всего хармсовского, творчества. У нее были забавные записные книжки, что-то она мне из них читала. Я не очень люблю путь исследования творчества художника через его друзей, но тем не менее тут мне стал понятен дух обэриутов. И преступная сторона натуры Хармса. Порет утверждала, что гениальность в Хармсе сочеталась с преступностью. Она говорила, что юмор его и мистификации были на грани садизма. Он мог поставить человека в такое страшное положение, что это пахло уже чем-то запретным, криминальным. Вот одна история из рассказов Порет, происшедшая в 20-е годы (кажется, об этом еще никто никогда не писал).

Порет с Хармсом прогуливались по Ленинграду в очень голодное время, оба хотели есть, и Хармс сказал: «У меня мама сегодня жарила котлеты, пойдемте, я вас угощу, Алиса Ивановна». Она с удовольствием пошла к Даниилу Ивановичу в гости, тем более что до того никогда не была у него в квартире. О быте Хармса ходило много легенд — об его отношениях с отцом, с мамой, об особом порядке в комнате, о чехлах на креслах, о фисгармонии, об освещении. Он был волшебник и свое логово волшебника как-то по-своему устраивал, чтобы было удобно.

Хармс привел ее в этот удобный для себя дом, посадил и исчез, извинившись, сказав, что придет через какое-то время. Очень долго его не было, а запах котлет был сильный, и она просто изверте-



Алиса Порет. Портрет Даниила Хармса

Юрий Любимов



Забавы мудрецов



лась вся. Вдруг он появился с сальными губами и сказал: «Там было шесть котлет. Я съел сначала три котлеты, потом подумал и съел все остальные. Больше там котлет нет». Алиса Ивановна говорила, что она испытала в тот момент жуткую растерянность и совершенно не знала, что ей предпринять. Если б это был не Хармс, то она могла бы совершенно четко сказать этому человеку все, что она о нем думает. Но так как это был Даниил Иванович, она, потрясенная, просто молча ушла...

Таких историй в жизни Даниила Ивановича было страшно много. Вероятно, ему интересно было посмотреть, как поведут себя люди в подобных обстоятельствах. Мейерхольд тоже ужасные вещи делал такого рода. Например, прятался за штору, предварительно пригласив в кабинет гостя, и наблюдал из-за штор, как он ведет себя в его отсутствие. Это были какие-то очень странные желания — проникнуть в поведение человека, когда он один или когда ему неловко. Какая-то жажда эксцентризма невероятная. Порет рассказывала мне, что Хармс ставил в записной книжке человеку из своей компании минусы, когда тот недостойно шутил. Он постоянно вступал с людьми в удивительные игровые театральные отношения.

— Первый международный фестиваль творчества обэриутов — явление историческое. Закономерно, пожалуй, что он состоялся именно тогда, когда вы как бы прошли из конца в конец обэриутское пространство и освоили оба его полюса — полюс Хармса и полюс Введенского. И все же: как родилась мысль о фестивале? Как он был организован и оформлен?

— Внутренняя необходимость фестиваля возникла прежде всего оттого, что после спектакля, связанного со счастьем и удачей, мы создали, можно сказать, спектакль финала обэриутской истории, спектакль о судьбе не только обэриутского творчества, но и о судьбе культуры, спектакль, связанный с Пушкиным, показавший, как мне кажется, глубину зрелости обэриутского мышления. Это «Вечер в сумасшедшем доме» по Александру Введенскому с вкраплениями стихов Заболоцкого и Олейникова. И когда возникли эти, как вы их определяете, два полюса (ваше определение очень правильное) — полюс счастья и полюс понимания, стало абсолютно ясно, что мы смело можем собрать в своем театре все, что связано с обэриутами, потому что мы что-то поняли, что-то постигли. И возник этот самый международный фестиваль.

Возникал он трудно чрезвычайно. Вы спрашиваете, как он был оформлен? Это все было игрой. В театре существуют сейчас талантливые сотрудники, которым можно смело доверять целые сферы. Им достаточно идеи, чтобы они начали ее развивать. И обэриутская идея их вдохновила. Театр стал играть в обэриутов. У нас появился прекрасный художник — главный художник театра Гарри Гуммель, который, по-моему, замечательно оформил спектакль «Вечер в сумасшедшем доме». Под его руководством перед фестивалем в театре был создан целый мир, который возникал как бы сам собой, неожиданно для меня. Единственная моя идея заключалась в том, что надо использовать совпадения. В театре ремонт, крыша падает, денег нет, довольно жуткая атмосфера. И я сказал: давайте усилим эту антиэстетику. Вот нам запретили играть спектакли, зал закрыт. Так давайте все закроем, к чертовой матери! У Хармса сказано в припеве «Хорошей песенки про Фефюлю»:

Эх, ремонт, ремонт, ремонт!
Первакокин и киниб.

Вот и у нас сплошной «ремонт» и сплошной «первакокин и киниб». И это удалось сделать — наш театр легко поддается такому разрушению. Создалась антиэстетика, которая страшно привлекательна в масштабе и пространстве маленького театра. Оформители придумали множество каких-то фигур в фойе, возникали сюжеты. Потом появились хармсовские тексты на стенах. Потом — скульптуры из двух лопат, из граблей, из бутылки. Вроде кич и в то же время не кич и несет в себе обэриутскую любовь к реальности, к комбинациям реального. Обэриуты интересны тем (впрочем, на этом строится и эстетика нашего театра), что в своих комбинациях пользуются вещами, которыми располагают. Как они это комбинируют, как выстраивают композицию, как сочетают факты и что из всего этого высекают — вот что удивительно.

— Фестиваль был международным. Кто принимал в нем участие, какие зарубежные гости приезжали, как вы говорите, «играть в обэриутов»?

— В мире ширится обэриутское влияние. Во-первых, обэриуты переведены на все основные языки. Во-вторых, серьезные ученые занимаются их творчеством. И кое с кем из них мне удалось на протяжении жизни познакомиться.

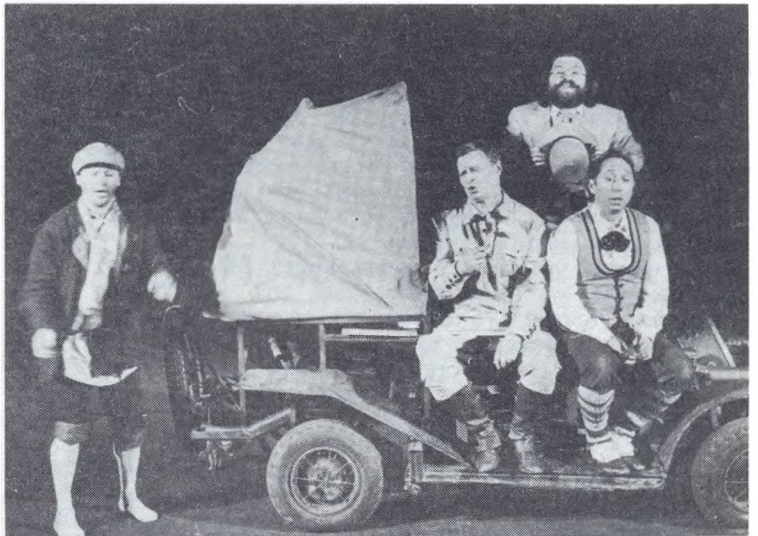
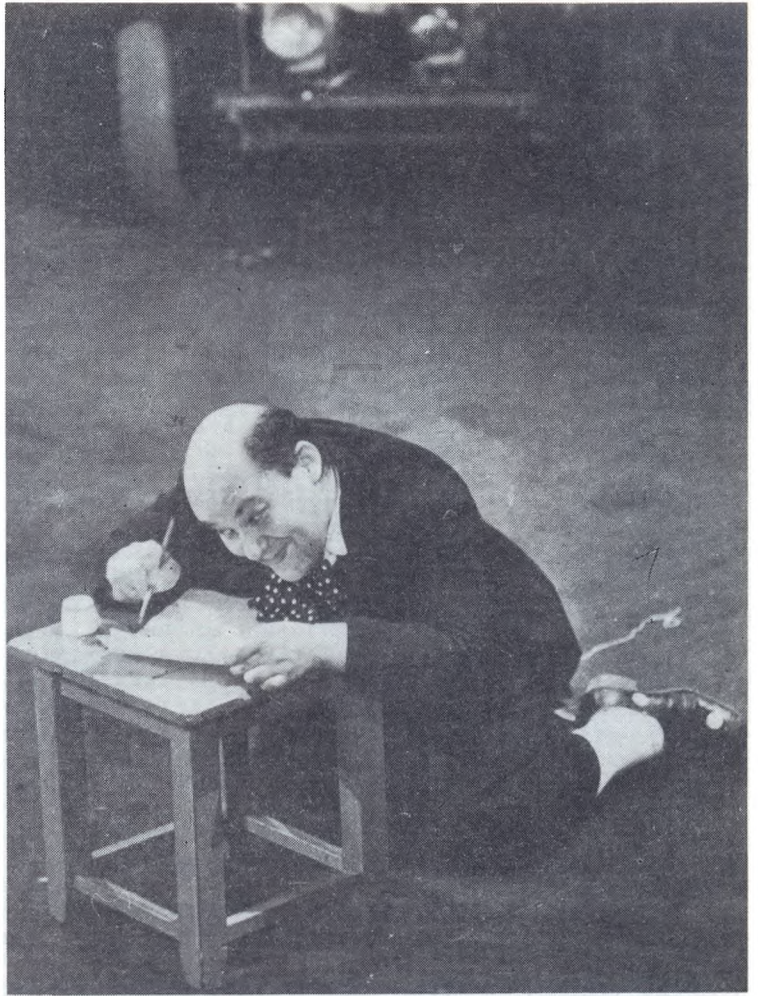
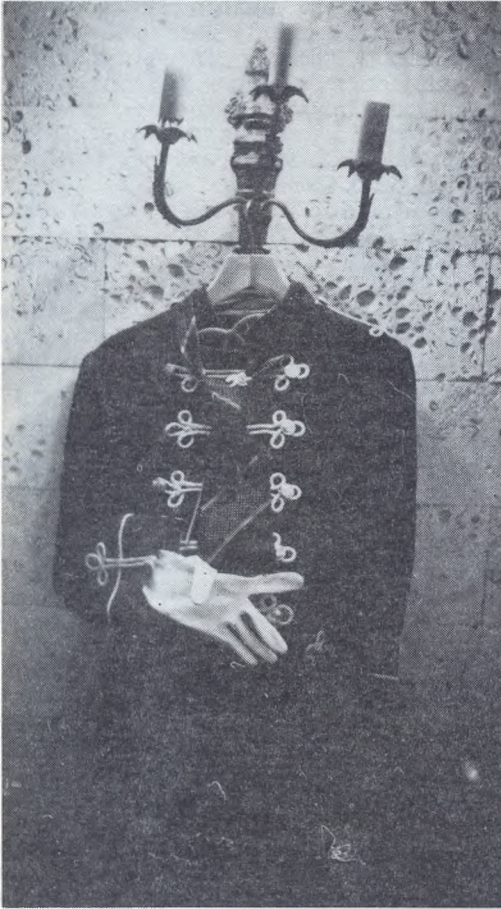
Мы пригласили молодого ученого из Швейцарии Жана Филиппа Жаккара, и он приехал. Я встречался с ним в Швейцарии, был знаком с его работами. Он знает русский язык, как свой родной французский, прекрасно мыслит. У него настоящее обэриутское (или близкое к обэриутам) мышление.

Был приглашен профессор Марцадури из Италии — ученый, который занимался обэриутами и творчеством любимого мною режиссера Игоря Герасимовича Терентьева. К сожалению, приехать он не смог, был болен — мы получили от него телеграмму.

Был на фестивале известный переводчик обэриутов из ФРГ Петер Урбан, что для меня явилось полной неожиданностью. Это прелестный скромный человек, который до конца конференции просидел в заднем углу зала молча. И только в конце, убедившись, что наша конференция не фикция, а реальное серьезное дело, он подошел ко мне, поблагодарил, подарил книжки, и я понял, что у нас был ни больше ни меньше как Петер Урбан.

Были приглашены зарубежные театры. К нам приехал Зан-Полло Театр (Западный Берлин) со спектаклем по Хармсу «Глицериновый отец, или Мы не селедки». Театр этот интересен тем, что актеров они принимают по тестированию на текстах Хармса. То есть они сошли с ума на Хармсе. Это профессиональные хорошие ребята, получившие государственную дотацию после своего спектакля. А получить государственную дотацию небольшому театру на Западе — это проблема.

Приехал театр «Под крышей» из Восточного Берлина, привез спектакль «Елизавета Бам». Здесь тоже совершенно обэриутская история, так как оказалось, что, когда мы их приглашали, у них никакого спектакля еще не было. Они его доделывали в Москве и премьеру здесь показали. В спектакле были заняты студенты-выпускники, это были уроки мастерства на основе «Елизаветы Бам». Они как бы продали в актерском исполнении задания обэриутов. Я сам, приступая к преподаванию на своем новом курсе в ГИТИСе, убежден, что должен учить студен-



тов на обэриутах, так как на этом материале оттачивается технология. Обэриуты сами были великолепными артистами, а Хармс — просто великим артистом. Все они очень чувствовали выразительность — слова, ситуаций, позы человека. Там очень много можно почерпнуть.

— А какие спектакли советских театров были показаны на фестивале?

— Кроме двух названных постановок нашего театра, зрители посмотрели спектакль популярного в Москве театра-студии «Человек» «Елизавета Бам на елке у Ивановых».

— В рамках фестиваля проводилась научная конференция. Удивительно, что впервые ее идея возникла не у филологов, а у театрального режиссера. И проводилась она не в Пушкинском доме, не в Публичной библиотеке, не в ИМЛИ, а в театре «Эрмитаж». Вы назвали зарубежных гостей. Кто из наших ученых принял участие в конференции?

— На конференции выступали Владимир Иосифович Глоцер, Анатолий Александрович Александров, Михаил Борисович Мейлах — люди, благодаря которым мы получили возможность познакомиться с обэриутами. Очень интересный доклад сделала Анна Герасимова, серьезный и талантливый литературовед. Были сыновья Олейникова, Заболоцкого, Введенского, была сестра Друскина — все просто поразительные люди.

— В эти же дни ваш театр отпраздновал свое тридцатилетие...

— В 1959 году Владимир Поляков — в то время популярный юморист, как сейчас Жванецкий, — создал Московский театр миниатюр. Создан он был в противовес ленинградскому театру Райкина, Москва должна была иметь свой театр миниатюр. Я не могу сказать об этом театре ничего особенного: на мой взгляд, театральных шедевров там не было. Но зато были шедевры актерские, человеческие. Была труппа, в которой работали Марк Захаров, Зиновий Высоковский, Владимир Высоцкий, Леонид Енгибаров... Мне не надо давать оценки этим людям. И компания интеллигентная, поэтому на первых порах жизнь у них была совершенно особенная. Потом история этого театра, нашего предшественника, сложилась очень скучно и неудачно. И вот мы решили, отмечая тридцатилетие театра в контексте обэриутского фестиваля, пригласить разных людей. И тех, кто работал в этом театре, и тех, кто не работал. И тех, кто нас любит, и тех, кого любим мы. Мы придумали, конечно, подвох обэриутский, решив сделать юбилей силами гостей. Мы просто абсолютно ничего не приготовили и поставили их в очень трудное, нелепое положение. Мы поместили их сначала в немыслимое пространство в малом зале. Затем засунули их всех в «хармсовский сундук» — погрузили во тьму. Мы устроили им экзекуцию. Все это как-то разрядило, освободило людей. Были у нас Юрий Любимов, Олег Ефремов, Анатолий Смелянский, был Дмитрий Покровский — руководитель фольклорного ансамбля, Рудольф Рудин, Зиновий Высоковский, Владимир Дашкевич, Никита Богословский... Были наши зарубежные гости, участники конференции. Было очень много людей, когда-либо работавших со мной, с театром, с кем я был как-то связан. Я сказал бы, что юбилей был на грани провала, так как не был срепетирован. В фойе шла бурная игра — в каждом углу что-то происходило. Вообще я поражаюсь самоотверженности нашей труппы, умению людей выходить из сложных ситуаций, которые я лично

создаю для всех ежедневно и в изобилии, причем радоваться этим сложным ситуациям! И в этот раз, мне кажется, мы с ними справились.

— Кто помогал вам провести этот фестиваль, кто его финансировал? Странно, что в Москве не было видно ни плакатов, ни афиш, ни другой рекламы.

— Ну, мы крупно были подставлены. Что-то у нас не получилось с Союзом театральных деятелей, как-то организационно не сложилось. Мы встретили там непонимание, хотя вначале они нам очень хотели помочь, в частности Смелянский много занимался этой проблемой, понимая ценность фестиваля. То ли денег у них не было? Не знаю. Но в результате фестиваль сделан был в долг. Фестиваль проводился в закрытом для эксплуатации помещении, так как перед самым его началом нам вдруг заявили, что у нас крыша не та. Я до сих пор не знаю, правда ли это. Как полагается, все это сопровождалось какой-то клоунадой. Нашелся странный, мягко говоря, но очень патриотичный человек, по-моему — генеральный директор Мосгороформления, с потрясающей фамилией Ключкин. И этот самый Ключкин, посмотрев на наш плакат «ОБЭРИУ в Эрмитаже», заявил, что слово «ОБЭРИУ» — сигнал, который мы пытаемся послать неизвестно кому, что такого слова в русском языке нет, и он категорически запрещает вывешивать какую-либо рекламу, с ним связанную. Пришлось звонить в разные места, и только в первый или во второй день фестиваля нам удалось вывесить несколько афиш. Вот такой казус — совершенно в обэриутском стиле...

Беседовала Ирина ОЗЕРНАЯ.



Олег Ефремов

ЖЮСТИНА

de C. A. D.

Из книг, подготовленных
к изданию редакцией «Странника»



Имя Донасьена Альфонса Франсуа де Сага (1740—1814) давно уже стало общеизвестным символом, что в равной мере обусловлено скандальностью славой книг и биографией автора. Правда, следовало бы учесть, что в XVIII веке он вовсе не был патологическим исключением. Жизнь и книги легендарного маркиза — это скорее последовательная реализация и развитие до логического финала общих тенденций. Да, он охотно и с неизменным азартом участвовал в политических играх эпохи (как водится, кровавых), да, он, казалось бы, не признавал никаких нравственных запретов, но... У этого эталонного развратника, узника тюрьмы Людовика XV и Людовика XVI, лишь королевской милостью спасаемого от смертных приговоров (за преступления против морали), были хоть и весьма своеобразные, но вполне отчетливые

Роман, написанный в 1787 году, повествует о злоключениях героини, которая стремится быть добродетельной в мире разврата. Волею случая Жюстина оказывается свидетельницей многих преступлений и, желая помешать преступникам, претерпевает муки и унижения. Ее избивают, клеймят раскаленным железом и т. п. После долгих лет разлуки Жюстина встречается со своей сестрой, но они не узнают друг друга. Назвавшись вымышленным именем, Жюстина рассказывает о себе. Вниманию читателя предлагается один из эпизодов этой исповеди.

Я вышла из Осера 7 июня; никогда не забуду этой даты. После примерно двух лье пути зной стал нестерпим. На лесистом холме, слева, чуть поодаль от дороги, можно было отдохнуть в тени и поспать. Это много безопаснее, нежели расположиться возле дороги, и не надо платить, как на постоялом дворе. Я села у подножия дуба и после скромной трапезы, состоявшей из хлеба и воды, сладко задремала и проснулась только через два часа. Передо мной открывался прелестный пейзаж: вдаль, посреди леса, простиравшегося, пожалуй, на три лье, возвышалась скромная колоколенка.

«Сколь желанно теперь для меня блаженное уединение! Вот, должно быть, приют святых отшельников, которые, всецело предавшись вере, удалились от бесчеловечного мира, где властвует порок и унижается добродетель. В этой обители, — подумалось мне, — должно процветать благочестие».

Пока я так размышляла, передо мной предстала юная пастушка. Удовлетворяя мое любопытство, она рассказала, что это — монастырь францисканцев и что в нем спасаются четыре отшельника, с которыми никто не может сравниться в подвигах веры, поста и добродетели.

— Раз в год, — продолжала она, — сюда приходят на поклонение чудотворному образу Девы Марии, и по молитвам исполняются все желания верующих.

Мне захотелось тотчас отправиться молить Богоматерь о заступничестве: я предложила девушке пойти вместе со мной. Она не согласилась, поскольку ее дома ждала мать, но показала дорогу в монастырь. По ее уверениям, отец настоятеля, пользующийся уважением и отличающийся истинной святостью, не только допустит меня к образу Пречистой, но и в случае нужды окажет помощь.

— Его зовут преподобный Рафаэль, он из Италии, но всю жизнь прожил во Франции. Дорожа своим уединением, отказался от многих выгодных предложений папы римского, с которым состоит в родстве. Он знатного рода, приятен в обхождении, предупредителен, полон усердия и веры. Ему за пятьдесят, и все почитают его святым.

Рассказ пастушки укрепил во мне решимость отправиться в монастырь и покаяться в своих прегрешениях. Немногие деньги, собранные подаяниями, были отданы девушке, и вот я уже на до-

представления о границах дозволенного. Став секретарем, а затем президентом Секции пик в Париже, он категорически отказывался подписывать смертные приговоры, прекрасно понимая, чем это грозило ему — бывшему офицеру, аристократу, родственнику эмигрантов. И дело тут не в храбрости.

Книги де Сага тоже нельзя трактовать однозначно. Его герои так или иначе ищут ответа на «проклятые» вопросы. Есть ли в мире место для добродетели? Если человек — сумма материалистически объяснимых страстей, то существуют ли ограничения в их утолении? А если ограничения все же существуют, то, может быть, человек не сводится только к плоти и к плотским устремлениям? Богом или безразличными в нравственном отношении космическими законами управляется жизнь?

роге к Сэнт-Марк-де-Буа — так назывался монастырь. Колокольни теперь не было видно, и только лес служил ориентиром в пути. Расстояние до монастыря оказалось большим, чем мне вначале представлялось. Я подошла к опушке леса и, так как до наступления темноты оставалось еще достаточно времени, решила идти дальше, думая, что доберусь засветло. По едва протоптанной тропинке наугад я прошла по крайней мере пять лье вместо трех, так ничего и не обнаружив. Солнце уже готово было скрыться за горизонт, когда до моего слуха наконец донесся колокольный звон. Ускорив шаг, я пошла на звук: тропинка стала немного шире... Спустя час показалась ограда, а за ней и монастырь. Вряд ли можно было найти место более дикое и уединенное: ближайшее селение находилось более чем в шести лье, и по крайней мере на три лье вокруг простирался лес. Монастырь был в низине, и чтобы попасть в него, пришлось довольно долго спускаться. Вот почему во время пути я потеряла из виду колокольню. Прежде чем войти в монастырь, нужно было обратиться к привратнику, лагуа которого стояла у монастырской стены. Я попросила у святого отшельника разрешения поговорить с настоятелем. Он пожелал узнать, зачем тот нужен мне.

— Я хочу сказать ему, что христианский долг... что обет привел меня в эту священную обитель, и я буду вознаграждена за трудности, которые довелось испытать, если смогу припасть к стопам Пречистой и поклониться настоятелю, хранящему чудотворный образ.

Монах тотчас отправился в монастырь, предложив мне немного отдохнуть, поскольку уже ночь, святые отцы ужинают и понадобится некоторое время, прежде чем кто-либо придет. Вернулся он в сопровождении еще одного священнослужителя.

— Это отец Клемент, мадемуазель, эконома монастыря, он и посмотрит, стоят ли ваши желания того, чтобы беспокоить настоятеля.

Отцу Клементу было лет сорок пять. Гигантского роста, невероятной толщины, со взглядом свирепым и мрачным. Его грубый, хриплый голос скорее пугал, чем успокаивал. Охваченная невольным трепетом, я вспомнила все свои прежние несчастья.

— Что вы хотите? — весьма грубо начал он. — Время ли сейчас приходить в церковь? Ваш вид внушает подозрения.

— Святой отец, — сказала я, склоняясь перед ним, — я думала, что в храм Божий можно приходить в любое время. Вера и благочестие привели меня, и, чтобы попасть сюда, мне пришлось проделать долгий путь. Я прошу об исповеди, если это возможно, и когда вы узнаете, что у меня на душе, вы решите, достойна я или нет предстать пред чудотворным образом, хранящимся в вашей церкви.

— Но для исповеди уже слишком поздно, —



смягчившись, сказал монах. — И где вы проведете ночь? Нам негде разместить вас. Лучше приходите утром.

В ответ я назвала причины, препятствующие этому, и, не расспрашивая меня более, он пошел докладывать настоятелю. Несколько минут спустя я услышала, как открыли церковь, и сам отец настоятель, подойдя к лачуге садовника, обратился ко мне и пригласил войти в храм. Отец Рафаэль (мне хочется, чтобы вы сразу представили его себе) был того самого возраста, какой мне назвали, но ему вряд ли можно было дать и сорок лет. Худощавый, довольно высокого роста, с лицом приятным и умным, он очень хорошо говорил по-французски, хотя и с небольшим итальянским акцентом, и был настолько же внешне вежлив и предупредителен, насколько в душе груб и мрачен.

— Дитя мое, — сказал мне ласково священник, — хотя сейчас не положенное для исповеди время и обычно мы никого не принимаем в этот час, я все же исповедую вас, и мы постараемся, чтобы вы спокойно провели ночь и завтра смогли поклониться святому образу.

Он зажег несколько лампад вокруг исповедальни, впустил меня туда и, заперев все двери, предложил мне начать исповедь, уверив, что мне ничто не угрожает. Оказавшись рядом с человеком на вид столь ласковым, я сразу же избавилась от страха, который мне внушил отец Клемент. Я припала к стопам моего духовника и затем с моей обычной наивностью и искренностью открылась ему во всем, что произошло со мною, не утаив ничего. Я призналась во всех своих ошибках, рассказала о всех несчастиях, ничего не было мною

упущено, даже позорное клеймо, выжженное ненавистным Роденом.

Отец Рафаэль слушал внимательно и участливо, даже просил вернуться к некоторым эпизодам. Но я заметила, что почти все его вопросы так или иначе сводились к следующему:

1. Действительно ли я странница и иду из Парижа;
2. Точно ли у меня нет ни родственников, ни друзей, ни покровителей, никого, к кому я могла бы обратиться;
3. Сказала ли я пастушке, что собираюсь возвратиться из монастыря, и не назначила ли ей свидание по возвращении;
4. Правда ли, что я все еще девственница и мне только двадцать два года;
5. Уверена ли я, что за мной никто не следил и никто не видел, как я вошла в монастырь.

Полностью удовлетворившись ответами на эти вопросы, он произнес с видом самым наивным:

— Ну что ж, — сказал он, поднимаясь и беря меня за руку, — пойдем, дитя мое, уже слишком поздно для того, чтобы вы могли увидеть образ Святой Девы Марии. Завтра я предоставляю вам счастливую возможность поклониться ему, но сначала следует вас накормить и уложить спать. Сказав это, он повел меня к ризнице.

— Как, — промолвила я в невольном смущении, — как, святой отец, войти к вам в дом?

— А куда же еще, прелестная странница, — отвечал монах, открывая одну из дверей ризницы, так что мы, пройдя в нее, сразу же оказались внутри дома... — Почему вы боитесь провести ночь с четырьмя отшельниками? О, вы увидите, ангел мой, что не такие уж мы ханжи, как это может

показаться, и сумеем развлечься с прелестной послушницей.

Эти слова, которые монах произнес, стискивая мне... — скромность не позволяет сказать что — повергли меня в трепет. «О, Господи, — подумала я, — неужели придется вновь стать жертвой добрых чувств своих, и желание, заставившее прийти сюда и почитаемое церковью наиболее благочестивым, будет вновь наказано как преступление?»

Мы продвигались в темноте. Дыхание монаха стало прерывистым, и он останавливался время от времени, чтобы возобновить свои грязные притязания. Окрыленный столь легким исполнением замыслов, он запустил руку мне под юбки, обнимая другой так, что я не могла вырваться. Эти бесстыдные прикосновения и отвратительные поцелуи, которые я была вынуждена сносить, привели меня в ужас.

— О, Господи, я пропала, — проговорила я.

— Боюсь, что да, — отвечал негодяй, — но времени на размышление уже нет.

Мы продолжали наш путь, он — еще более распалившийся, я — в почти обморочном состоянии. Наконец сбоку от нас оказалась лестница. Рафаэль пропустил меня вперед и, так как я попыталась сопротивляться, грубо толкнул, обрушив поток отборных ругательств и повторив, что колебаться поздно.

— О, черт возьми, ты скоро увидишь, что, возможно, было бы лучше попасть в воровской притон, чем оказаться в обществе четырех францисканцев, которые позабываются с тобой сегодня.

Страшные события разворачивались столь быстро, что я не успела встревожиться, услышав эти слова. Их смысл потряс мое сознание позже, как только к ним добавились новые переживания. Дверь отворилась, и я увидела сидящих вокруг стола трех монахов и трех девиц. Все шестеро имели вид самый неприличный. Две девицы совершенно голые, третью раздевали, да и монахи были едва одеты.

— Друзья мои, — сказал Рафаэль, входя, — нам не доставало одной, так вот она. Разрешите представить вам настоящий феномен: эта Лукреция носит на своем плече клеймо преступницы, которое, — продолжал он, сопровождая свою речь жестом столь же выразительным, сколь и неприличным, — которое она получила, отстаивая невинность.

Взрывы хохота потрясли своды зала, и отец Клемент, уже полупьяный, вскричал, что надо в этом удостовериться...

Необходимость описать тех, в чье общество я попала, вынуждает прервать рассказ. Впрочем, я постараюсь, насколько возможно, не томить долго неведением. Думаю, критическая ситуация, в которую я попала, заинтересовала вас. С Рафаэлем и Клементом вы уже познакомились, и, пожалуй, можно перейти к остальным. Антонину, третьему монаху, было лет сорок. Маленький, щуплый, сухощавый, с лицом сатира и волосатый, как медведь, он отличался огромным темпераментом, необузданным распутством, беспримерным лукавством и жестокостью. Отец Жером, старожил монастыря, распутник лет шестидесяти, был таким же грубым и жестоким, как Клемент, но еще большим пьяницей. Пресытившийся наслаждениями, он оживлял свои чувства способами самыми изощренными. Флоретте, самой юной из девиц, шатенке с прекрасными глазами и приятными чертами лица, едва исполнилось четырнадцать. Родившаяся в семье богатого дижонского буржуа, она была похищена приспешниками Рафаэля, который, пользуясь богатством и могуществом ордена,

не пренебрегал самыми гнусными средствами для удовлетворения своих страстей. Корнелия, блондинка лет шестнадцати, очень привлекательная, с кожей ослепительной белизны и стройной фигурой, была дочерью торговца из Осера. Ее соблазнил и похитил сам Рафаэль. Миловидная тридцатилетняя Омфала обладала прекрасными формами, великолепной шеей и глазами такими нежными, какие только можно представить. Она была похищена Жеромом с помощью самых невероятных обольщений в возрасте шестнадцати лет накануне свадьбы с человеком, который должен был составить ее счастье. Вот общество, в котором мне предстояло жить, — омерзительнейшая клоака. И здесь я льстила себя надеждой найти благочестие, подобающее монастырю. Вскоре стало понятно: единственное, что оставалось в этом вертепе, — подражать послушанию товаров.

— Вы, конечно, отдаете себе отчет в том, — сказал Рафаэль, — что попытки сопротивления бесполезны в этом пустынном месте, куда привела вас несчастливая звезда. Вы говорите, что испытали много горестей, и, судя по всему, это действительно так. Но, согласитесь, наибольшего несчастья для целомудренной девушки еще не хватает в вашем списке. Нормально ли в вашем возрасте быть девственницей, не настало ли время избавиться от этой добродетели? Вот эти девицы так же, как и вы, жеманились, когда их принуждали оказать нам услуги, но так же, как вскоре поступите и вы, подчинились, убедившись, что сопротивление ведет к еще большему страданию. Как вы надеетесь защитить себя, Софи? Посмотрите, вы же всеми оставлены, по вашим собственным словам, у вас нет ни родителей, ни друзей, вы без всякой помощи и поддержки находитесь в руках четырех развратников, которые, конечно же, вас не пощадят. Кого же вы здесь позовете на помощь? Бога, которого вы молили с таким усердием и который за это привел вас в западню. Бога, которого мы оскорбляем ежедневно, нисколько не опасаясь его могущества. Видите, что ни человек, ни Бог не вырвет вас из наших рук. Никакое чудо не сохранит уже девственность, предмет вашей гордости; ничто не убережет от бесчинного разврата, которому мы все предадимся. Ну что ж, раздевайтесь, Софи, и полной покорностью заслужите наше расположение, иначе предстоят испытания еще более суровые и постыдные. Сопротивление лишь сильнее возбудит нас, но не защитит вас от распутства и необузданности.

Мне стало ясно, что спасения нет. Но можно ли упрекнуть меня в том, что я попыталась воспользоваться средствами, которые еще оставляла природа и подсказывало сердце? Бросившись к ногам Рафаэля, проливая самые горькие слезы, я молила это чудовище пощадить мою невинность. Но я еще тогда не знала, что слезы лишь распалют развратников, увеличивая сладость распутства. Рафаэль поднялся в гневе и сказал, нахмури брови:

— Займись этой потаскухой, Антонин, раздень на наших глазах, доказав, что мы вовсе не те люди, к которым можно взывать о сострадании.

Сопровождая свои действия страшными проклятиями, Антонин сухими нервными руками в две минуты сорвал с меня одежду, и я предстала обнаженной взорам всей компании.

— Прекрасное создание, — сказал Жером, — пусть монастырские стены раздавят мои кости, если за последние тридцать лет я видел женщину столь восхитительную.

— Погодите, — воскликнул настоятель, — сначала упорядочим наши действия. Вспомним, друзья



мой, правила посвящения: пусть она изведает все без исключения, в то время как другие женщины будут упреждать или возбуждать наши желания.

Образовался круг, меня поместили в центр, и более двух часов негодяи ощупывали мое тело, изрекая похвалу или критику. Позвольте же мне скрыть некоторые непристойные подробности той церемонии. Пусть воображение подскажет вам все, что развращенный ум может изобрести в подобных случаях, пусть рисует, как они переходили от моих товаров ко мне, сопоставляли, противопоставляли. Но эти первые оргии были еще безобидны по сравнению с предстоявшими ужасами.

— А теперь, — сказал Рафаэль, уже не в силах сдерживать похоть, — пришло время перейти к делу, и пусть каждый позабавится с нею излюбленным образом.

И, приказав Антонину и Клементу удерживать меня на софе в позе, для него удобной, итальянец Рафаэль, монах и развратник, не лишив меня девственности, удовлетворил свою страсть самым оскорбительным образом. О, венец разврата, каждый из этих гнусных распутников почитал за честь оскорбить природу в выборе своих недостойных удовольствий. Настала очередь Клемента, который был возбужден зрелищем изощренных надругательств настоятеля, а еще более тем, что проделывал сам, созерцая их. Он заявил, что окажет честь той части моего тела, выбор которой представляет ничуть не большую опасность для девственности, нежели выбор Рафаэля. И, поставив меня перед собой на колени, он удовлетворил свою гнусную похоть тем способом, при котором



я даже не могла произнести слова жалобы. За ним последовал Жером. Его храм был тот же, что и Рафаэля, но он не проникал в само святилище, довольствуясь созерцанием портика...

— Счастливые приготовления, — сказал Антонин, принимаясь за меня, — иди сюда, курочка, и я закончу принесение в жертву добродетели, которую изысканность моих братьев оставила мне.

Но каковы подробности, великий Боже... невозможно их передать. Этот монах был наиболее распутным из всех четырех, хотя, казалось, он был наименее удален от законов естества. Не нарушая установлений природы, он лишь разнообразил свой культ, для того чтобы восполнить меньшую извращенность всем тем, что могло еще более оскорбить меня.

Увы, если когда-либо радости любви и занимали мое воображение, то представлялись такими же чистыми, как Создатель, который дал их людям, рожденным для любви и нежности, в утешение. Я была далека от мысли, что человек, уподобившись зверю, может получать наслаждение, доставляя страдания ближним. Но именно это я испытала в такой степени, что само лишение девственности оказалось ничтожной болью по сравнению с муками, перенесенными вслед за этим. Антонин завершил истязание криками столь ужасными, столь страшным терзанием моего тела и наконец укусами, столь похожими на кровавые ласки тигров, что на миг показалось, будто я нахожусь в лапах хищника, который не успокоится, не разорвав меня. Мучения закончились, я упала на алтарь, на котором была принесена в жертву, почти без сознания и без движения...

Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут.

Ф. М. Достоевский.

Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник — самый свободный человек на земле... Русский тип странника нашел себе выражение не только в народной жизни, но и в жизни культурной, в жизни лучшей части интеллигенции. И здесь мы знаем странников, свободных духом, ни к чему не прикрепленных, вечных путников, ищущих невидимого града. Повесть о них можно прочесть в великой русской литературе.

Н. А. Бердяев.

Только то путешествие заслуживает своего имени, которое не просто — внешний процесс, а выражает собою идеальную подвижность, искания духа, нравственную динамику.

Ю. Айхенвальд.





Софья Калашникова:
«Смертная казнь должна быть безусловно и безоговорочно отменена» (стр. 3)



Иосиф Бродский:
«Петербург, он действительно находится на краю... Зачастую кажется, что воздух там пахнет европейским бензином или европейскими духами. Или облака носят на себе отпечаток неоновых вспышек Европы» (стр. 35)

Евгений Замiatин:
«В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком» (стр. 11)



Лев Шестов:
«передают, что и Ленин даже публично заявил, что большевики устроили «сволочную революцию». Но так ли это, произносил ли он такие слова, мне проверить не удалось» (стр. 47)

